

ANNALES INSTITUTI PHILOGOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

SLAVICA

I.

ADIUVANTIBUS

E. ANGYAL, E. IGLÓI, F. PAPP

REDIGIT

BÉLA SULÁN

ANNO DC. ILLIUS EVENTUS
CUM DEBRECEN CIVITAS DECLARATA ERAT

DEBRECEN, 1961

СОТРУДНИКИ НАШЕГО ТОМА

АНДРЕЙ АНДЯЛ
научный сотрудник АН Венгрии, прикрепленный к кафедре Славянской филологии Дебреценского университета.
Дебрецен 10

ГАЛИНА ГОЛОТИНА
ассистент при кафедре русской филологии Дебреценского университета.
Дебрецен 10

ЙОСИФ ДОМБРОВСКИЙ
старший преподаватель кафедры славянской филологии Дебреценского университета.
Дебрецен 10

ЭНДРЕ ИГЛОИ
доцент, заведующий кафедрой русской филологии Дебреценского университета.
Дебрецен 10

ЗОЛТАН КАДАР
доцент при кафедре классических языков Дебреценского университета. Дебрецен 10

ЛАСЛО КАРАНЧИ
старший преподаватель кафедры русской филологии Дебреценского университета.
Дебрецен 10

ШИМОН ОНДРУШ
доцент Братиславского университета им. Я. Коменского. Чехословакия. Братислава, Шафариково нам. 12

ФЕРЕНЦ ПАП
старший преподаватель кафедры русской филологии Дебреценского университета.
Дебрецен 10

ЗОЛТАН УЙВАРИ
ассистент кафедры этнографии Дебреценского университета. Дебрецен 10

ИШТВАН ЧАПЛАРОШ
доцент кафедры венгерской филологии университета в Варшаве. Польша. Варшава, 22., Вавелска 26. т. 1

ЗОЯ ХАУПТОВА
научный сотрудник института Славяноведения АН Чехословакии. Чехословакия. Прага, Валентинска 1

БЕЛА ШУЛАН
профессор, заведующий институтом славянской филологии Дебреценского университета. Дебрецен 10

ANNALES INSTITUTI PHILOGIAE SLAVICAE
UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS
DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE

SLAVICA

I.

ADIUVANTIBUS

E. ANGYAL, E. IGLÓI, F. PAPP

REDIGIT

BÉLA SULÁN

DEBRECEN, 1961

От редакции

В Университете им. Л. Кошута занятия по славистике имеют за собой сравнительно недолгое прошлое. Начиная с 1938/39 учебного года, в Дебрецене проводилась подготовка преподавателей словацкого, а с 1939/40 — украинского языка и литературы; в составе преподавателей находился, между прочим, академик Иштван Книежа, заведующий Кафедрой славянской филологии в Будапеште, и Ласло Сиклаи, исследователь словацкой литературы. В 1944 году, из-за надвинувшихся военных событий, эта подготовка специалистов по славистике была прервана. После освобождения страны работа эта медленно восстанавливалась в рамках Семинария по славянской филологии. К числу пионеров этого дела относится Ференц Ковач, научный сотрудник Института языкознания Венгерской Академии Наук, а также Дюла Бенигни, ставший впоследствии профессором индоевропеистики в нашем университете. Все же, несмотря на первые трудности, в основном уже в 1946 году началась подготовка преподавателей русского языка и литературы для средних школ. Из этого Семинария у нас выросла потом, в 1949 году, Кафедра русской филологии. Начиная с этого же года, большой шаг вперед был совершен преимущественно благодаря содействию советских профессоров (В. Н. Покровского, В. И. Чагишевой, И. С. Дубининой и В. К. Богомолец), которые трудились совместно с преподавателями-венграми (Э. Андял, Й. Домбровский, Э. Иглои, Л. Киш, Ф. Пап и др.) над подготовкой молодых кадров.

Итак, в 1958 году, на почве таких предварительных условий, в нашем университете были заложены основы Кафедры славянской филологии. В 1959 году у нас был создан Институт славянской филологии, соединяющий в себе две кафедры — Кафедру славянской филологии и Кафедру русской филологии. Директор Института и вместе с тем заведующий Кафедрой славянской филологии — профессор Бела Шулан, заведующий Кафедрой русской филологии — доцент Эндре Иглои. В Институте, т. е. на обеих кафедрах, работают 15 сотрудников, либо как преподаватели, либо как исследователи. С 1959 года, в качестве преподавателя-гостя работает у нас также Шимон Ондруш, доцент братиславского университета.

Работа преподавателей в Институте многогранна. Они занимаются подготовкой будущих преподавателей русского языка и литературы (на 5-и курсах всего около 150 студентов), обучением русского языка всех слушателей историко-филологического факультета, а также обучением остальным славянским языкам как своих, так и других желающих слушателей. Наконец, наш Институт принимает участие в чтении лекций по мировой литературе.

Научная работа Института проводится в четырех направлениях. Согласно резолюции IV Международного съезда славистов в Москве, при поддержке Венгерской Академии Наук у нас проводятся поиски, соби́рание и каталогизация славянских рукописных и ранних печатных памятников, встречающихся в архивах и библиотеках Восточной Венгрии. В соответствии с другой резолюцией Съезда, наш Институт участвует в соби́рании материалов славянских говоров, имеющихс́я в нашей стране. Также, по поручению и при поддержке Академии, в настоящее время проводится работа по изысканию говоров словацких селений в Ниршейге (ком. Сабольч—Сатмар). Было предусмотрено и уже начато исследование украинской этники в Северо-восточной Венгрии. Ведется и структурно-типологическое описание русского языка, а также исследования в области славянских литератур — в тесной связи с преподавательской работой в Институте.

После своего двухлетнего существования, наш коллектив решил издавать — с 1961 года регулярно — ежегодник. Этот наш проект встретил полную поддержку со стороны руководства университета.

Изданием ежегодника мы хотим поощрять научно-исследовательскую работу прежде всего в нашем университете. Темами для нашего сборника служит преимущественно разработка вопросов, касающихся нашей страны. В эту работу мы хотели бы привлечь и заграничных ученых, занимающихся вопросами венгерско-славянских отношений. Мы хотим вступать в контакт, устанавливать связи с заграничными учреждениями: кафедрами университетов, исследовательскими институтами и журналами. Этим же путем мы хотим ориентировать, по возможности регулярно, славянскую общественность о работе, результатах и дальнейших планах нашего Института.

Сотрудниками нашего ежегодника являются в первую очередь члены Института, а также работники других кафедр Университета. Кроме того, мы публикуем и труды других авторов нашей страны, соответствующие нашей научной программе. Разумеется, мы охотно принимаем и от заграничных авторов работы, связанные с венгерско-славянскими историческими, литературными, языковыми, этнографическими и проч. отношениями. — Публикации печатаются на любом славянском языке, а также на французском, немецком или английском языках.

Выпуская первый том ежегодника, мы считаем, что это первый шаг для осуществления поставленных перед нами целей. Надеемся, что наш сборник будет принят с интересом, наши цели — с пониманием, что наши коллеги поддержат нас критикой, а также своими замечаниями, предложениями и статьями. И в этом случае, мы верим, нам удастся осуществить наши цели.

Дебрецен, февраль 1961 года.

Редакционная коллегия

Préface

A l'Université Lajos Kossuth, les études slaves ne remontent pas à un passé très lointain. C'est depuis 1938 que Debrecen forme des professeurs de slovaque et, depuis 1939, on y enseigne aussi l'ukrainien. Parmi les anciens professeurs, relevons le nom de M. István *Kniezsa*, actuellement directeur de l'Institut de Philologie slave à Budapest, membre de l'Académie et celui de M. László *Sziklay*, historien de la littérature slovaque. En 1944, à la suite de la guerre, l'enseignement de la philologie slave a été interrompu. Après la libération du pays, le travail a repris dans les cadres du Cercle de Philologie slave, grâce aux initiatives de M. Ferenc *Kovács* qui travaille actuellement à l'Institut des recherches linguistiques de l'Académie Hongroise des Sciences et de M. Gyula *Benigny*, devenu plus tard professeur de linguistique indo-européenne à notre Université. Ce furent là les débuts d'où sortit plus tard la Chaire de Philologie Russe, destinée à former des professeurs de langue et de littérature russes. Plus tard, la formation des professeurs de russe est devenue régulière, grâce, surtout, à des professeurs invités de l'Union Soviétique (MM. V. N. Pokrovski, V. I. Tchagicheva, I. S. Doubinine et V. K. Bogomoletz) qui ont collaboré avec leurs collègues hongrois (MM. A. Angyal, J. Dombrowszky; E. Iglói, L. Kiss, F. Papp et d'autres).

Après ces antécédents, en 1958, la fondation d'une Chaire de Philologie slave devint possible. 1959 est l'année de la fondation de l'Institut de philologie slave, qui comprend aujourd'hui deux chaires (philologie slave et philologie russe). Le directeur de l'Institut et en même temps le titulaire de la Chaire de Philologie slave est M. Béla *Sulán*. La Chaire de Philologie russe est placée sous la direction de M. Endre *Iglói*. L'Institut occupe en tout quinze spécialistes travaillant en qualité d'enseignants ou de chercheurs; parmi eux, Šimon *Ondruš* maître de conférences à l'Université de Bratislava, qui travaille chez nous depuis 1959 en tant que professeur étranger.

Les activités de l'Institut s'étendent sur plusieurs domaines de l'enseignement: formation des futurs professeurs de russe (cinq ans d'études, à peu près 150 étudiants), enseignement du russe aux étudiants des autres spécialités et enseignement facultatif des autres langues slaves. Enfin, nos professeurs assurent, à l'intention des étudiants des autres spécialités, des cours sur les littératures des pays slaves.

Nos travaux de recherches portent également sur plusieurs domaines. Conformément aux décisions du 4^e Congrès International des Slavistes qui a eu lieu à Moscou, en 1958, nos chercheurs s'appliquent à retrouver, à réunir, à classer et à dépouiller les manuscrits et imprimés qui se trouvent dans les collections de la Hongrie de l'Est. Toujours conformément à une résolution

du Congrès, nous poursuivons des recherches concernant les dialectes slaves de la Hongrie, travail qui se poursuit avec le soutien de l'Académie Hongroise des Sciences. Actuellement, nous sommes en train d'étudier les dialectes parlés dans les agglomérations slovaques de la région de Nyiregyháza. De plus, nos spécialistes ont déjà commencé l'étude de l'ethnie ukrainienne du Nord-Est. D'autres chercheurs essaient de donner une description structurale et typologique de la langue rase, tandis que les historiens de la littérature s'occupent des problèmes des littératures slaves.

Deux ans après sa fondation, notre Institut a décidé de publier régulièrement ses Annales: projet auquel la Direction de notre Université a bien voulu donner son appui.

Par la publication de nos Annales, nous voudrions favoriser spécialement le progrès des études slaves dans notre Université, surtout dans le domaine des questions relatives à notre pays. Nous voudrions obtenir la participation de ceux parmi les savants étrangers qui s'occupent de ces mêmes problèmes. Nous espérons que nos Annales nous assureront une prise de contact avec nos collègues de tous les pays et aussi avec les institutions et revues spécialisées dans la philologie slave. Enfin nous désirons informer régulièrement, au moyen de nos Annales, les slavistes de tous les pays des travaux, des résultats et des projets de notre Institut.

Les collaborateurs de nos Annales se recrutent, en premier lieu, parmi les membres de notre Institut, ce qui n'exclut pas la collaboration d'autres chercheurs travaillant en Hongrie. Nous serions en outre très heureux de publier des travaux dus à des auteurs étrangers, pourvu que leurs recherches touchent aux rapports historiques, littéraires, linguistiques et ethnographiques entre la Hongrie et les pays slaves.

Nos publications seront rédigées dans n'importe quelle langue slave ou bien en français, en allemand ou en anglais.

En présentant au public le premier volume de nos Annales, nous croyons faire le premier pas vers la réalisation de nos projets. Nous espérons qu'il trouvera un accueil favorable auprès de ses lecteurs, que nous prions dès maintenant de seconder nos efforts par leurs critiques, leurs suggestions et aussi par leur collaboration active.

Debrecen, février 1961.

La Rédaction

Contribution à l'étude de la genèse des aspects verbaux slaves*

J. DOMBROVSKY

I. Histoire de la question**

1. «Temps verbal», «aspect verbal» et «Aktionsart».

Les trois temps fondamentaux de la grammaire — le présent, le passé et le futur — avaient été distingués avec précision, dès l'antiquité, par PLATON et aussi par ARISTOTE: *ὁ ἐνεστώς, ὁ παρεληλυθώς, ὁ μέλλον χρόνος* (PLATON: Sophistes p. 262; ARISTOTE: De interpret. c. 2, 3, et passim); ARISTOTE va jusqu'à chercher dans la catégorie de temps le critérium le plus caractéristique du verbe (*ῥήμα*), et son absence devient chez lui le critérium négatif du nom (*ὄνομα*) (De interpret., 2, 3). Il est donc surprenant que les Grecs qui avaient réfléchi sur tant de choses n'aient pas remarqué d'une manière explicite qu'il y avait dans leur langue, auprès d'une seule forme de présent et d'une seule forme de futur, à la fois trois et même quatre formes de passé — aoriste, parfait, imparfait et plusqueparfait, ce qui était en contradiction évidente avec la conception philosophique des trois temps de la grammaire.¹

Les stoïciens, puis les grammairiens d'Alexandrie ont été les premiers à chercher une systématisation des différents temps du verbe grec. Les six temps sont répartis en deux groupes: temps *définis* — *χρόνοι ὠρισμένοι* — et temps *indéfinis* — *χρόνοι ἀόριστοι*. Dans le groupe des temps définis on distingue encore les temps dits *χρόνοι παρατατικοί* et *χρόνοι συντελικοί* c'est-à-dire les temps d'étendue (sens premier du verbe *παρατάσσω* 'placer une chose près d'une autre dans l'espace') et les temps achevés. Tout cela témoigne déjà d'une perspicacité surprenante. Il est très juste aussi d'avoir classé ensemble le présent — *ὁ ἐνεστώς παρατατικός* — et l'imparfait — *ὁ παρωχημένος παρατατικός* — dans le sous-groupe des temps d'étendue. Par contre, on ne voit pas assez clairement, pourquoi le futur se trouve rangé avec l'aoriste, dans le groupe des temps indéfinis. Je pense qu'ils ont été jugés indéfinis parce que tant l'aoriste que le futur nous rappellent le mouvement progressif du temps, c'est-à-dire: *ce qui est passé n'est plus* (aoriste) et *ce qui vient après n'est pas encore* (futur). Par contre, le présent, l'imparfait et le parfait se trouvent placés dans un même groupe parce que ce n'est pas la progression du temps qu'ils expriment, mais plutôt l'état quelconque du sujet dans le présent (présent,

* Thèse présentée par l'auteur à la faculté des lettres de l'Université Lajos Kosuth. Debrecen 1959.

** La thèse comprend deux parties: I. «Histoire de la question» et II. «Les notions d'espace et de temps dans la formation du système aspecto-temporel de l'indo-européen.» Ici est publiée seulement la première section de l'«Histoire de la question»; la deuxième est «La question d'origine» qui contient un exposé et une critique brefs des vues de G. K. ULJANOV, A. MEILLET, N. van WIJK, J. KURYLOWICZ, C. G. REGNÉLL, V. V. BORODIČ, I. NĚMEC, JU. I. MASLOV, T. MILEWSKI, H. KØLLN.

¹ Cf. G. HERBIG, *Aktionsart und Zeitstufe*, IF. 6, 1896.

parfait) ou dans le passé (imparfait).² C'est pour cela aussi que ces temps peuvent être conçus comme indéfinis, car il est plus facile de définir ce qui est dans l'état que ce qui est dans le mouvement, et que ce qui n'existe plus ou pas encore. Mais ce ne sont là que des suppositions, car les grammairiens grecs se taisent sur les détails. Voici le système grec présenté par J. HOLT (*Études d'aspects, Acta Jutlandica, XV, 2, 1943*) dans le tableau suivant:

		<i>χρόνοι ὁρισμένοι</i>		<i>χρ. ἀόριστοι</i>
		<i>παρατατικοί</i>	<i>συντελικοί</i>	
<i>ὁ ἐνεστώς</i> <i>ὁ μέλλων</i>	présent		parfait	futur
	imparfait		plusqueparfait	aoriste
<i>ὁ παρῳχημένος</i>				

Ici aussi, les grammairiens latins n'ont fait que calquer le modèle grec, c'est-à-dire transplanter les termes grecs dans leur langue. Chez VARRON (de *Lingua Latina*) nous retrouvons les termes grecs *χρόνοι παρατατικοί* et *χρόνοι συντελικοί* dans la forme de «tempora infecta» et «tempora perfecta.» Chose curieuse, cette bipartition des temps grecs correspondait mieux au système des temps latins qu'à celui de l'original, car en latin il n'y avait pas d'aoriste, et le *futurum perfectum* s'y adaptait parfaitement:

	Infectum	Perfectum
passé	pungēbam	pupugeram
présent	pungō	pupugī
futur	pungam	pupugerō

En latin la corrélation infectum: perfectum était donc complète: à chaque forme d'«aspect de présent» (infectum) correspondait une forme d'«aspect de passé» (perfectum). C'était là une coïncidence heureuse, mais il est à regretter que Varron n'ait pas été suivi par ses successeurs. Dans ce domaine aussi l'influence opprimante de la scholastique médiévale s'est fait sentir: on s'est évertué à faire entrer, comme dans un lit de Procuste, le riche système de temps des langues classiques dans le cadre rigide des trois temps fondamentaux (philosophiquement concevables). Le même sort attendait les grammaires des nouvelles langues nationales qui poussaient de l'avant, mais dont les traits spécifiques ne pouvaient s'exprimer que par la terminologie latine imposée de toutes pièces. Seuls les temps modernes ont apporté des changements profonds, et l'on est revenu, en partie, au système de VARRON, c'est-à-dire

² Cf. la deuxième partie de ce travail.

qu'on a cherché à prendre en considération non seulement le temps verbal, mais de plus en plus librement l'aspect verbal aussi.³

Ce que les stoïciens et VARRON n'avaient que présumé, à savoir la distinction des catégories de temps et d'aspect, a été éclairci par les philologues des temps modernes au cours du XIX^e siècle. Les philologues slaves, en particulier les tchèques et les russes, avaient déjà attiré l'attention sur les aspects du verbe slave dans les grammaires de leurs langues maternelles, depuis la «Grammatica bohémica» de BENEDIKT VAVŘINEC NUDOŽERSKY (1603) jusqu'à la «Русская грамматика» de A. СТР. ВОСТОКОВ (1831).⁴ Dans la seconde moitié du XIX^e siècle ce processus d'éclaircissement s'est poursuivi encore avec plus d'intensité, d'un point de vue comparatif déjà, depuis le travail de S. NAVRATIL: «Beitrag zum Studium des slavischen Zeitwortes in Vergleichung mit den klassischen und modernen Sprachen» (Wien 1856) jusqu'à l'oeuvre fondamentale de FR. MIKLOSICH: «Vergleichende Syntax der slavischen Sprachen» (Wien 1874). Au tournant du siècle, la première grande monographie, traitant aussi des problèmes génétiques, a été entreprise par G. K. UL'JANOV: «Значение глагольных основ в литовско-славянском языке (ч. I. Варшава 1891, ч. II. — 1895); F. F. ФОРТУНАТОВ en a rendu compte dans son «Критический разбор...» (СПб. 1897), étendu et plein de précieuses observations. L'oeuvre capitale de B. DELBRÜCK: «Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen» (Strassburg 1897) conclut la première période des recherches sur le temps et l'aspect, en utilisant et évaluant les résultats obtenus.

Nous pourrions nommer la première phase de ces recherches leur crise de croissance, ou, plus exactement leur période de «Sturm und Drang.» En effet, les exagérations n'y sont pas rares; ainsi, p. e., M. J. LOMONOSOV dans sa «Российская Грамматика» (1755), sous l'influence des langues classiques et occidentales, distingue dans le système verbal russe dix «formes de temps»; par contre, N. P. НЕКРАСОВ dans son travail: «О значении форм русского глагола» (1865), suivant les tendances nouvelles, nie tout simplement l'existence de la catégorie de temps dans la langue russe, et n'y reconnaît que la catégorie d'aspect. La confusion des catégories de temps et d'aspect est caractéristique de cette période, et l'importance de ces recherches consiste plutôt dans la discussion des problèmes et le rassemblement des matériaux. Il est donc aisé de comprendre pourquoi les chercheurs font assez rarement appel aux résultats scientifiques obtenus dans ce domaine pendant cette phase préparatoire.

Toutefois, grâce aux recherches intenses et variées de cette première période, la nouvelle catégorie verbale a été fixée, réglée par un nouveau terme. Ce fut G. CURTIUS qui, prenant aussi en considération les données des langues slaves, a distingué le premier, dans ses travaux: «Griechische Schulgrammatik» (1852) et «Erläuterungen zu meiner griechischen Schulgrammatik» (1863), par

³ Cf., p. e., le système de VARRON et les explications suivantes de MEILLET: «Si évolué que soit le latin, les deux thèmes principaux de son verbe sont des thèmes d'aspect: l'*infectum* indique le développement d'un procès, le *perfectum* l'achèvement d'un procès; et ce n'est qu'à l'intérieur de chaque thème que sont marquées les différences de *temps* proprement dit: *dico* est un présent de l'*infectum*, et *dixi* un présent du *perfectum* (*dixi* signifie 'j'ai dit', donc 'j'ai fini de dire de ce que j'avais à dire'); *dicoebam* est un prétérit de l'*infectum* et *dixeram* un prétérit du *perfectum*, etc... (Des innovations du verbe slave, REFL. II, 1922, p. 44).

⁴ Cf. A. MAZON: L'aspect des verbes slaves (principes et problèmes), Moscou 1958, p. 4, et s.; et, en général, le premier chapitre du travail de C. G. RÆGNÉLL: Über den Ursprung des slavischen Verbalaspektes, Lund 1944.

les termes *Zeitart* (aspect) et *Zeitstufe* (temps). les deux catégories verbales indo-européennes. Comme il a déjà été souligné plusieurs fois: CURTIUS a fait un pas décisif pour fixer la notion d'aspect; bien que ce nouveau terme reflète encore, dans sa composition, l'incertitude, avec laquelle elle se séparait de la notion de temps (*Zeitart* — *Zeitstufe*): Aussi K. BRUGMANN l'a-t-il changé par un autre terme: *Aktionsart* ou simplement *Aktion* qui est resté pendant longtemps le seul terme pour désigner la notion d'aspect dans la linguistique indo-européenne. Ayant subi une restriction de sens, il n'a été remplacé que plus tard par le terme d'*aspect*; des causes et des circonstances de cette restriction nous reparlerons ailleurs. Au sujet de la provenance du terme russe *вид* et du terme français *aspect* je cite les paroles du professeur A. MAZON, prononcées au IV Congrès International des Slavistes à Moscou (L'aspect des verbes slaves, p. 3—4): „Mais jusqu'à la fin du XVIII^e siècle le mot *видъ* n'a pas eu d'autre sens que celui de «catégorie, espèce», dans le langage des grammairiens comme dans celui des naturalistes. C'est en 1828 que pour la première fois le Suisse CH. PHILIPPE REIFF le traduit par *aspect* dans l'édition française de la grande «Grammaire raisonnée de la langue russe» de GREÛ; il n'avait parlé dans sa «Grammaire russe précédée d'une introduction sur la langue slavonne» (1821), que des «branches» des verbes russes et non point de leur aspect. Cette innovation lui avait-elle été suggérée par BOLDYREV qui, dès 1812, classait les verbes d'après leur «apparence extérieure» (по внешнему их виду), ou bien par l'auteur qu'il traduisait: Nicolas GREÛ? Le fait est que, voulu ou non, le mot n'a pas été discuté et qu'il signifie désormais l'aspect sous lequel un verbe présente l'action qu'il exprime, en un mot l'aspect de l'action verbale plutôt que celui du verbe lui-même.»

Ainsi, à la fin du XIX^e siècle, par suite d'études approfondies, en particulier sur le système verbal des langues grecque et slaves, il a été démontré ce que les stoïciens avaient présumé, à savoir qu'il existe dans ces langues, auprès de la catégorie de temps, une autre catégorie, plus importante, plus primitive que celle-là, et que les philologues russes ont nommé *вид*, le Suisse Ph. REIFF — *aspect*, CURTIUS — *Zeitart*, BRUGMANN — *Aktionsart*. Cette catégorie verbale, nouvellement découverte, a été largement acceptée pour l'époque dans la linguistique ainsi que le prouve le «Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen» de BRUGMANN-DELBRÜCK (1885—1900), qui résume les résultats des recherches linguistiques d'alors et consacre une partie considérable aux «Aktionsarten». Dans l'introduction au chapitre «Tempora und Aktionen» (Gr., B. IV., Kap. XVI, § 3) DELBRÜCK cite un passage de la thèse de W. STREITBERG «Perfektive und imperfektive Aktionsart im Germanischen» (1889) pour montrer les changements radicaux qui se sont produits dans la théorie de temps verbal de l'indo-européen (STREITBERG, op. cit., S. 116): «Die Formenklassen, die wir Tempora zu nennen gewohnt sind, haben an sich mit der relativen Zeitstufe nicht das Geringste zu schaffen. Zeitlos sind vielmehr alle Präsensklassen, alle Aoriste, alle Perfekta in allen ihren Modis und sie unterscheiden sich von einander nur durch die Art der Handlung, die sie charakterisieren. Gegenüber dieser Fülle von Formen, die zur Unterscheidung der Aktionsarten dienen, nehmen sich die Mittel, die das Idg. zur Bezeichnung der Zeitstufen in Anwendung brachte, bescheiden, ja ärmlich genug aus. Für die Gegenwart war eine besondere Bezeichnung überhaupt nicht vorhanden, hier genügte die zeitlose Handlung vollauf. Die Vergangenheit aber ward durch ein zur Verbalform tretendes temporales Adverbium ausgedrückt: das

Augment é. So entstanden die Indikative des Imperfekts, Aorists, Plusquamperfekts.» DELBRÜCK y ajoute encore (§ 4): «Die im-Vorstehenden dargestellte Ansicht kann als die unter den Sprachforschern jetzt herrschende gelten.»

Au cours de la première moitié du XX siècle, plus exactement — jusqu'au IV Congrès International des Slavistes (Moscou 1958), l'intérêt pour la question d'aspect n'a pas diminué, elle est restée à l'ordre du jour de tous les congrès, de toutes les conférences importantes des slavistes. Pendant cette période les recherches se sont poursuivies dans trois directions: a) du point de vue de la question d'aspect on soumet à l'examen les autres langues indo-européennes non slaves, c'est-à-dire on continue les initiatives de STREITBERG (germanique) et d'UL JANOV (baltique); b) un nombre croissant de langues slaves, anciennes et modernes, sont l'objet d'une analyse détaillée; ces recherches remontent parfois — bien rarement d'ailleurs — aux résultats du siècle précédent, en particulier à ceux de MIKLOSICH; c) enfin, surtout le nombre des hypothèses sur la genèse et la formation de la catégorie d'aspect augmente.

Mais dans les langues indo-européennes non slaves les recherches sur la catégorie d'aspect n'ont pas abouti, à proprement parler, à des résultats sûrs et concrets:⁵ ni dans le germanique (v. l'article de Ju. S. MASLOV, récemment paru: Категория предельности — неопредельности глагольного действия в готском языке. ВЯ № 5, 1959, стр. 69—80), ni dans le lituanien (v. le travail de J. SAFAREWICZ: Stan badań nad aspektem czasownikowym w języku litewskim. — Sans date ni lieu), ni dans le latin (v. J. SAFAREWICZ: O wyrażaniu dokonaności i niedokonaności w języku łacińskim. Wrocław 1947), pas plus que dans le français, l'anglais, l'allemand et autres. En effet, ces langues n'ont pas la catégorie d'aspect, morphologiquement exprimée dans toutes les formes verbales, semblable aux langues slaves. Le latin, les langues néo-latines, l'anglais, en particulier, morphologiquement ne peuvent exprimer, en général, que dans les formes du prétérit des fonctions (imparfait: passé simple ou passé composé) qui ressemblent à la corrélation perfectif: imperfectif des langues slaves, et, pour les rendre, elles doivent recourir à des moyens tantôt lexicaux, tantôt syntaxiques, ou bien tout simplement à la situation, au contexte. Ainsi, il n'y a pas lieu de parler ici d'une *catégorie grammaticale* d'aspect. On peut donc comprendre que les recherches dans cette direction aient perdu leur premier élan.⁶

⁵ Bien entendu, l'ancien grec fait exception, et le néo-grec aussi; v. le travail de H. SEILER: L'aspect et le temps dans le verbe néo-grec. Paris 1952.

⁶ Toutefois, cf. l'article de G. IVĂNESCU «Le temps, l'aspect et la durée de l'action dans les langues indo-européennes» (Mél. Ling., publ. à l'occ. du VIII Congrès Intern. des Linguistes à Oslo, Éd. de l'ac. de la RPR, Bucarest 1957, p. 23—61) où il essaie de prouver dans le roumain contemporain, et, par extension, dans d'autres langues indo-européennes non slaves, l'existence de la catégorie d'aspect. A mon avis, l'auteur n'a réussi qu'à souligner, une fois de plus, que la corrélation imparfait: passé simple ou passé composé dans ces langues modernes ressemble, à une certaine mesure, à la corrélation perfectif: imperfectif des langues slaves. C'est incontestable que la corrélation mentionnée peut exprimer des nuances aspectuelles, mais ce n'est que dans le passé, et l'on est encore très loin d'un système d'aspect slave qui s'exprime dans toutes les formes verbales, même dans l'infinitif et l'impératif. Aussi pensons nous que la corrélation imparfait: parfait est d'un caractère plutôt temporel, car l'emploi de l'imparfait ainsi que celui du plusqueparfait n'est pas tout à fait libre d'un point de vue syntaxique, il se restreint plutôt au relatif qui est une conception de temps et non pas d'aspect. Le fait que ces corrélations ne sont pas d'un caractère identique est prouvé, d'ailleurs, aussi par le système du verbe néo-bulgare où auprès de l'opposition imparfait: aoriste existe également et en pleine mesure l'opposition perfectif: imperfectif. (V. plus bas.)

Par contre, l'attention s'est concentrée de plus en plus sur l'étude détaillée du système d'aspect des langues slaves. C'est bien naturel, car, comme il est connu, dans toutes les langues slaves, sans exception, il y a un système d'aspect, morphologiquement exprimé et d'une sémantique riche et variée. Dans toute langue slave, ancienne et moderne, l'aspect perfectif: imperfectif est une des principales catégories du verbe.⁷

Son importance n'est point du tout diminuée par la présence du riche système de temps qu'on trouve dans le vieux-slave ou bien dans le bulgare et le macédonéen contemporains. Mais en même temps chaque langue slave a, dans son propre système d'aspect, des particularités dont la connaissance et la comparaison sont utiles pour comprendre et éclaircir de manière approfondie les fonctions aspectuelles d'une langue donnée.

Je ne parlerai ici que des travaux qui m'étaient accessibles et que j'ai jugés importants du point de vue plus étroit de mon travail. Dans leur discussion, de même, je partirai toujours du point de vue de mon travail. Ainsi, je n'aspire pas à être complet ni ici, ni ailleurs. L'ordre des langues qui suivent dépend aussi plutôt du sujet.

Polonais:

Dans son travail «Aspektänderung und Aktionsartbildung beim polnischen Zeitworte» (Lund 1908) S. AGRELL donne une analyse fine et détaillée du verbe polonais. Mais le mérite d'AGRELL, dans le domaine des recherches d'aspect, est d'avoir distingué, purgé le premier la notion grammaticale d'aspect de la notion lexicologique des différentes modalités de l'action verbale (Aktionsarten) qui s'y attachent très étroitement. Voici ce qu'il dit à ce sujet: «Unter *Aktionsart* verstehe ich... nicht die beiden Hauptkategorien des slavischen Zeitwortes, die unvollendete u. die vollendete Handlungsform (das Imperfektivum u. das Perfektivum) — diese nenne ich *Aspekte*. Mit dem Ausdrucke Aktionsart bezeichne ich bisher fast gar nicht beachtete — geschweige denn klassifizierte — *Bedeutungsfunktionen* der Verbalkomposita (sowie einiger Simplicia u. Suffixbildungen), die genau ausdrücken wie die Handlung vollbracht wird, die Art u. Weise ihrer Ausführung markieren.» (op. cit., S. 78). Les exemples suivants d'AGRELL illustrent bien ce qu'il entend par «Aspekt» et par «Aktionsart»: 1) *ukończył swoją pracę w domu* — 'il a achevé son travail à la maison'; le préfixe *u* non seulement rend le verbe perfectif, c'est-à-dire en change la relation grammaticale (impf. → pf.), mais de plus, il modifie aussi le sens lexical («le sens concret») du verbe *kończyć*: 'il a achevé — à savoir qu'il ne s'est occupé que de cela tout le temps' — selon AGRELL: *modalité durative de l'action*; 2) *do-kończył swoją pracę w domu* — cette proposition se distingue de la première par ce que le sujet a commencé son travail ailleurs, non à la maison (p. e. à l'école), mais le reste il l'a achevé à la maison' — *modalité finale*; 3) *zakończył swoją pracę w domu* — 'c'est à la maison qu'il a donné le dernier coup de lime à son ouvrage commencé ailleurs' — *modalité définitive*; 4) *skończył swoją pracę w domu* — 'cette fois il ne s'agit pas ici d'autre chose que du fait qu'il a vraiment achevé son travail', c'est-à-dire qu'en raison de la préfixation le sens concret du verbe *kończyć* n'a nullement été modifié, élargi par un plus

⁷ Cf. A. MEILLET, des Innov., p. 44: «Néanmoins l'aspect est la principale catégorie du slave commun».

lexical. Il s'agit donc exclusivement du changement de la *relation grammaticale* du verbe *kończyć* — *aspect perfectif!*

Dans le système du verbe polonais AGRELL fait ressortir vingt modalités de l'action, mais quant aux aspects, il n'en distingue que deux: perfectif et imperfectif.⁸

Autant la séparation du temps verbal et de l'aspect (alors: aspect + modalité de l'action) a été décisive pour poser la question d'aspect dans la seconde moitié du siècle dernier, autant la distinction de l'aspect et des modalités de l'action a été significative pour les recherches ultérieures au cours de la première moitié de ce siècle. A juste raison on a élevé cette distinction au rang de critérium pour les nouvelles recherches sur l'aspect. Néanmoins, il a fallu un demi-siècle tout juste pour que la distinction d'Agrell soit généralement acceptée. Depuis le forum du IV Congrès International des Slavistes à Moscou le professeur A. MAZON a déclaré: «Une question préalable est désormais résolue: l'aspect ne devra plus être confondu avec les modalités de l'action verbale, les Aktionsarten. Toutes ces modalités, dont le regretté Sigurd AGRELL a si bien fait ressortir en polonais les multiples nuances, sont et doivent rester du domaine de la sémantique et du vocabulaire: duratif, itératif, fréquentatif, distributif, inchoatif, ingressif, momentané, semelfactif, résultatif, finitif, terminatif, etc.» (op. cit., p. 5). Et à la même page, un peu plus bas: «Il n'y a que deux aspects: le perfectif et l'imperfectif.»

Le travail de W. DOROSZEWSKI «O znaczeniu dokonanym osnów czasownikowych (słownych) w języku polskim» (PF. 10. 1925) contient de précieuses observations au sujet des fonctions aspectuelles du verbe polonais. Il est tout à fait remarquable, p. e., que dans la *Biblija Szaroszpatacka* la forme de présent perfectif s'emploie assez souvent pour désigner un passé (aoristique).⁹

⁸ Avant AGRELL, aussi ПОВЕВНА avait déjà jugé nécessaire de délimiter la catégorie de l'aspect perfectif: imperfectif de toutes les autres catégories verbales: «Говоря о делении глаголов по видам, мы предполагаем, что это деление имеет одно основание, именно вид. Но под видом до сих пор разумеют две совершенно различные категории: совершенности и несовершенности — с одной [стороней], и степени длительности — с другой. Таким образом, деля по виду, под покровом этого слова вносят двойственность деления. Во избежание сбивчивости, было бы желательно оставить название *вида* за чем-нибудь одним: за совершенностью и несовершенностью или за степенью длительности...» (Из записок., т. IV., стр. 62).

Après AGRELL, mais tout à fait indépendamment de lui, H. JACOBSON sépare aussi l'aspect de l'«Aktionsart»; en distinguant le premier de l'«Aktionsart» à caractère *objectif*, il le nomme «forme de perception *subjective*» (subjective Anschauungsform). Il est intéressant de remarquer que Jacobson, allant plus loin qu'Agrell, classe aussi la signification causative parmi les modalités de l'action. (H. JACOBSON: Wackernagel, «Vorlesungen über Syntax». *Gnomon* Bd. 2. 1926.) — Après lui, d'autres linguistes ont distingué l'aspect de l'«Aktionsart» d'une manière semblable, à savoir le fait objectif (objektiver Tatbestand) de la perception subjective (v. ED. HERMANN: Objektive und subjektive Aktionsart. *IF.* 45, 1927; VAN WILK: «Aspekt» en «aktionsart». De Nieuwe Taalgids, 22, 1928; et beaucoup d'autres.). Ajoutons tout de suite que l'application des notions philosophiques d'«objectif» et de «subjectif» n'a pas contribué à éclaircir les différences entre l'aspect et l'«Aktionsart», au contraire, elle a prêté à confusion, elle a désorienté les chercheurs. Les faits linguistiques sont, en général, objectifs et subjectifs à la fois: ils reflètent la réalité objective d'une manière subjective (humaine). Tout au plus, peut-on dire ici que l'aspect, en tant que catégorie *grammaticale*, est plus abstrait, plus général, mais il exprime des rapports non moins objectifs que les «Aktionsarten» de caractère lexical, donc plus concret.

⁹ Je m'étendrai sur cette question dans la III^e partie de mon travail: „De la formation du système aspecto-temporel slave”.

De même, j'estime très convaincant ce que dit DOROSZEWSKI sur les principales fonctions syntaxiques des aspects perfectif et imperfectif, à savoir la «coexistence» (aspect ipf.) et la «succession» (aspect pf.) dans le temps: «Czas terażniejszy zwykły oznacza współistnienie i trwanie bez ograniczenia w czasie. Czas terażniejszy dokonany ma znaczenie kolejności, następności, jednorazowości, które razem dają się sprowadzić do znaczenia *zakończonego przejawu cechy na tle całości zdania.*» (op. cit., str. 280). Il fait preuve d'un esprit d'observation subtil en constatant que l'aspect imperfectif fournit l'arrière-plan (tło) des situations sur lequel les événements se déroulent l'un après l'autre — aspect perfectif. Ces termes de «tło» et de «następ» sont utilisés aussi par E. KOSCHMIEDER (Nauka, str. 100, et passim).

E. KOSCHMIEDER l'un des aspectologues les plus connus et les plus féconds, traite aussi les questions d'aspect du verbe polonais, et donne la synthèse de ses vues dans sa «Nauka o aspektach czasownika polskiego w zarysie. Próba syntezy» (Wilno 1934). D'après sa conception aussi l'aspect, de même que le temps, exprime des rapports temporels. Entre ces deux catégories verbales il n'y a qu'une différence de relation. Quant à la catégorie temporelle la détermination du temps grammatical dépend de la valeur relative du temps (Zeitstellenwert) qui existe entre l'action et celui qui parle, selon que l'action s'est produite, se produira, se produit avant, après, ou simultanément avec le discours. Par contre, pour la catégorie d'aspect ce n'est pas la relation de l'action et du discours qui est décisive, mais bien la «relation de la direction de temps» (Zeitrichtungsbezug) entre l'action (Tatbestand) et le sujet (ich). En rapportant l'action à soi-même le sujet peut se la représenter comme venant de deux directions opposées: 1) du passé vers l'avenir (→), c'est-à-dire que ce qui est derrière lui c'est le passé, et ce qui est devant lui c'est l'avenir; 2) au contraire: de l'avenir vers le passé (←). Dans le premier cas (→) le sujet envisage l'action comme se produisant (geschehend — aspect ipf.), dans le dernier (←) — comme s'étant produite (geschehen — aspect pf.). Il est à remarquer que dans sa théorie de «Zeitrichtungsbezug» KOSCHMIEDER est parti de l'état actuel du système d'aspect sans considérer la question d'origine ni celle d'évolution historique: «Dabei muss von vorherein betont werden, dass es sich hierbei lediglich um den heutigen Stand der Sprache handelt, nicht aber um die geichtliche Entwicklung, dass also «Grundlage» hier nicht als Herkunft, sondern als heutiges Differenzierungsprinzip zu verstehen ist.» (Studien, S. 80).

Je suis d'accord sur cette importante constatation de KOSCHMIEDER qu'entre l'aspect verbal et le temps verbal il n'y a, pris dans leur essence, qu'une différence de relation: et l'«action aspectuelle» et l'«action temporelle» se réalisent sur une même base — dans le temps; mais sur la question de relation nos vues diffèrent (v. la IIe partie). Je suis aussi totalement d'accord avec lui sur cette idée que l'aspect imperfectif exprime toujours, à proprement parler, le présent, aussi bien dans le passé que dans le futur: «Dargestellt also drückt Imperfektivität stets eine Gegenwart aus, auch wenn sie in die Vergangenheit oder Zukunft vom Standpunkt des Sprechenden verschoben wird.» (Studien, 82).

Je doute cependant que KOSCHMIEDER ait raison lorsqu'il prétend qu'en partant de leur état actuel, on peut expliquer le mécanisme intérieur des aspects verbaux slaves. Je partage l'avis que ce qui est le résultat de l'évolution historique ne peut être compris, éclairé que par la reproduction de ce processus lui-même, à travers le temps. Et quant à la théorie de «Zeitrichtungsbezug», elle me semble totalement subjective, psychologique, abstraite des faits lin-

guistiques à un tel point qu'on ne peut même pas l'aborder sous cet angle, et que par conséquent elle n'est pas réfutable non plus. Selon moi KOSCHMIEDER a omis d'expliquer la nécessité impérieuse qui seule objective les faits psychiques en faits linguistiques. Ne serait-il pas plus simple et par conséquent plus réel de supposer qu'originellement (dans l'indo-européen primitif) il n'y avait que deux aspects-temps: de *présent* et de *passé*; l'aspect imperfectif est l'*aspect de présent*: présent dans le passé (imparfait), et beaucoup plus tard (p. e. dans le russe moderne) présent dans l'avenir (futur ipf.); par opposition l'aspect perfectif est l'*aspect de passé*: passé dans le présent (parfait et aussi aoriste indoeuropéen), et plus tard (dans le slave commun) passé dans l'avenir (futur pf.)? Il semble que cela soit appuyé par les faits linguistiques et justifié aussi par l'évolution historique des langues indo-européennes.

KOSCHMIEDER a bâti sa théorie sur le critérium connu de MIKLOSICH, selon lequel à la question «que fais-tu là?» on ne peut répondre que par un verbe imperfectif. C'est là qu'il voyait le lien essentiel de l'aspect et du temps. Puis il a généralisé ce critérium de l'aspect imperfectif, s'est-à-dire qu'il l'a appliqué aussi à des langues non slaves: «W Jednym tylko punkcie panuje daleko idąca zgodność nie tylko w językach słowiańskich, ale i niesłowiańskich, mianowicie na pytanie: *co tam robisz ? nie można odpowiedzieć czasownikiem dokonanym*. W tym zjawisku dopatruje się związku istotnego czasu i aspektu.» (Nauka, str. 26). Mais, dans sa critique (KOSCHMIEDER, *Zeitbezug und Sprache*, IF. 48) A. DEBRUNNER a détruit la base de cette même théorie: l'aspect perfectif peut aussi exprimer un présent concret, actuel, p. e. dans les expressions hébraïques comme *bēraxti'ōpō* 'je le bénis par l'acte présent' on emploie la forme dite *perfectum*. De même en slave, dans le présent dit *coïncident*, p. e. en polonais: *poproszę o bilety* 'vos billets, s'il vous plaît' — mot à mot: 'je demande les billets' (c'est ainsi que le receveur invite les passagers à prendre leurs billets) — on emploie le présent perfectif.¹⁰

Mais il n'est pas question pour autant d'amoindrir le grand mérite de KOSCHMIEDER dans l'histoire des recherches d'aspects. Surtout entre les années vingt et trente, par ses nombreux articles, riches en idées et en faits, il a éveillé et soutenu en beaucoup de chercheurs un vif intérêt pour ce problème. L'importance de KOSCHMIEDER réside dans la gamme étendue de ses recherches, dans l'analyse approfondie des notions de temps et d'aspect, ainsi que dans ses observations multiples sur les aspects du verbe polonais.

Russe:

«Emplois des aspects du verbe russe» (Paris 1914), thèse complémentaire d'ANDRÉ MAZON, n'est pas seulement un des plus précieux travaux dans ce domaine, mais la lecture en est fort intéressante, voire même passionnante. Ses exemples, magistralement choisis, sont tombés depuis dans le domaine public des chercheurs. C'est A. MEILLET qui en a écrit une critique courte, mais très riche d'idées (BSL. 19. 1914, p. 118—120). Tout en appréciant les bons côtés de ce travail, MEILLET y trouve aussi un défaut: «Néanmoins on peut regretter que, dans ses formules, M. MAZON n'ait pas mis en évidence l'unité de valeur de chaque aspect. Il enseigne (ainsi p. 101) que l'aspect imperfectif

¹⁰ V. encore: E. KOSCHMIEDER, *Zu den Grundfragen der Aspekttheorie*, IF. 53. 1935.

exprime soit une action unique qui se développe, soit une action réitérée; on pourrait croire ainsi que l'imperfectif a deux valeurs. Mais à la réflexion, on voit de suite qu'il n'en est rien et que les deux valeurs indiquées se réduisent à une seule: l'action considérée comme durant; le fait qu'il y a développement continu en répétition tient uniquement au sens concret des verbes; la valeur grammaticale qui seule est à considérer par le grammairien, est la même dans les deux cas. *La notion de répétition ne doit jouer aucun rôle dans l'étude de l'aspect.*» (Souligné par moi. — J. D.). Comme nous l'avons vu plus haut, A. MAZON a reconnu le bien-fondé de cette critique.

Il importe de remarquer encore que dans son travail MAZON part des fonctions aspectuelles de l'infinitif et de l'impératif, puisque ces formes, en tant que «formes non temporelles du verbe», ont pu le mieux conserver les fonctions originelles de l'aspect: «...les formes *non temporelles* du verbe, à savoir l'infinitif et l'impératif. C'est en elles en effet que la notion d'aspect apparaît à l'état pur, exempte de tout alliage avec la notion de temps, et c'est en elles, par suite, qu'on est en droit de chercher les divisions et subdivisions essentielles entre lesquelles peuvent être répartis divers emplois de l'aspect.» (op. cit., Intr. IX). Pourtant, à la fin de son travail, tirant des conclusions de son étude, il souligne que c'est bien dans les formes temporelles que l'aspect trouve son expression optima: «L'aspect peut en quelque mesure s'affranchir du temps et cependant, si souvent qu'il manifeste son indépendance, *c'est dans le temps que l'aspect paraît avoir son appui le plus sûr.* Là où le temps disparaît, à l'infinitif et à l'impératif, l'aspect faiblit: les oppositions s'atténuent: les nuances s'estompent; l'instinct même du sujet parlant, tout averti qu'il soit, se surprend à hésiter» (p. 240).

Il n'y a pas de doute, l'aspect et le temps sont deux catégories grammaticales différentes. Cependant elles ont, en fin de compte, une source commune: une des formes fondamentales de l'être — le *temps objectif*. Or, les catégories grammaticales expriment d'une manière subjective (humaine) des relations avec les phénomènes de la réalité objective. — Je pense donc que la catégorie d'aspect exprime la relation avec le temps objectif d'une manière *absolue* entre l'action verbale et l'agent, par contre la catégorie de temps reflète cette même relation d'une manière *relative* entre l'action verbale et le moment de celui qui parle.

Ainsi, de la source commune de ces deux catégories verbales résulte ce fait précieux, observé par Mazon dans son étude synchronique sur les aspects russes, que «*c'est dans le temps que l'aspect paraît avoir son point d'appui le plus sûr.*» Dans les recherches d'aspect il est donc plus justifié de partir des formes temporelles, et avant tout des formes de présent, car dans le slave, selon toute apparence, c'est là que s'est renouvelée cette catégorie très ancienne de l'indo-européen. Les formes non temporelles, l'infinitif et l'impératif, ne se sont enchaînées au système d'aspect que lorsque dans les formes temporelles la corrélation d'aspects perfectif: imperfectif s'est constituée complètement; bien mieux: ce n'est que sur les reflexes de la corrélation perfectif: imperfectif des formes temporelles que s'ébauche, de manière assez incertaine, la polarisation aspectuelle dans les formes de l'infinitif et de l'impératif. C'est ce qui semble prouver aussi l'évolution historique des langues slaves.

La thèse de S. KARCEVSKI: «Système du verbe russe (Genève, Prague 1927) et son article «Remarque sur la psychologie des aspects en russe» (Genève 1939) contiennent beaucoup d'intéressantes et subtiles observations sur notre

sujet. Dans cette partie-ci nous nous contentons d'en signaler une concernant la signification essentielle du prétérit perfectif russe qu'il détermine comme «résultatif»; mais ce qui est plus important pour nous c'est que ce résultat exprimé est un fait qui persiste jusqu'à présent: «Пушкин родился в 1799 году, le prédicat ne nous dit qu'une seule chose, à savoir que Puškin est venu au monde à telle date, et c'est autrement que par le contexte que nous savons qu'il n'est plus là. Grammaticalement parlant, le résultat exprimé par ce prétérit est un fait demeurant jusqu'ici» (Système, p. 152). KARCEVSKI fait remarquer qu'une conception analogue du prétérit perfectif se trouve déjà chez РОТЕВНЈА, mais qu'il la fait porter surtout sur le prétérit perfectif vieux-russe lequel exprime un «факт, совершившийся и пребывающий донныне» (Из записок, т. II, стр. 257, М. 1956). Comme nous voyons, KARCEVSKI étend la fonction de passé actuel du prétérit perfectif vieux-russe à celui de la langue moderne aussi.¹¹

Tchèque:

E. SEIDEL a enrichi de deux intéressants articles la littérature sur l'aspect «Zu den Funktionen des Verbalaspekts» (TCLP. 6, 1936) et «Zur Futurbedeutung des Praesens perfectivum im Slavischen» (Slavia, 17, 1939—40). Dans le premier SEIDEL soumet à l'analyse les nuances multiples des aspects verbaux tchèques.¹² Dans son second article, par ses exemples empruntés à la langue

¹¹ Il est bien vrai que les chercheurs du XX^e siècle remontent assez souvent aux observations de РОТЕВНЈА, très riches en idées et en faits. Il est dommage que РОТЕВНЈА n'ait pas coordonné dans un système cohérent ses vues relatives à la genèse des aspects verbaux slaves. De toute façon, dans les volumes de «Из записок по русской грамматике» on trouve beaucoup de matériaux, actuels aujourd'hui encore, pour l'étude de la question d'aspect.

De même que les écrits de РОТЕВНЈА, il peut être utile d'étudier, bien qu'il ne soit, que d'un point de vue synchronique, le travail d'un autre auteur russe du XIX^e siècle celui de P. L. RAZMUSEN: О глагольных временах и об отношении их к видам в русском, немецком и французском языках (ЖМНП, 1891, июнь, июль и сентябрь). Sa définition des aspects perfectif: imperfectif de la langue russe semble avoir beaucoup influencé, dans son essence, celles des chercheurs ultérieurs: «Глагол совершенного вида, мне кажется, означает первоначально действие как достигающее своей цели (своего предела), а затем вообще действие рассматриваемое как одно целое (начало, середина и конец — совокупно). Глагол несовершенного вида означает первоначально действие как приготовление к достижению цели, а затем вообще действие рассматриваемое только со стороны вещественных (знаменательных) своих признаков, без обозначения цельности действия». (стр. 379).

¹² Voici un de ses exemples qui illustre bien les nuances subtiles des fonctions aspectuelles des langues slaves: «Jak může kapitalismus odstraniti (pf.) anebo jen odstraňovati (ipf.) ... krizi? (§ 17). 'Comment le capitalisme peut-il supprimer ou seulement supprimer par degrés la crise?' Puis SEIDEL nous montre que ce caractère succinct de l'aspect slave ne peut être traduit en allemand que par une périphrase: «Wie kann der Kapitalismus die Krise beseitigen (pf.) oder nur beseitigen? (ipf.). Die Wiedergabe mit deutschen Worten ist sinnlos, solange nicht der ipf. Aspekt durch Einführung eines „teilweise“ umschrieben wird.» En hongrois, de même, il serait difficile de faire ressortir d'une manière adéquate ce qui vient d'être exprimé avec tant de facilité en tchèque, quoique la dérivation verbale soit beaucoup plus souple en hongrois qu'en allemand ou en français: «Hogy tudja a kapitalizmus megszüntetni vagy legalábbis „megszüntetgetni“ a válságot,» — nous ne tardons pas à remarquer que le verbe «megszüntetgetni» est inexact ici, car il exprime non seulement une modalité itérative, mais, en outre, par sa nuance affective, diminutive il fait perdre le «ton sérieux» du verbe «megszüntetni»; tout cela n'existe pas dans l'aspect imperfectif slave, c'est-à-dire dans la fonction don-

tchèque courante, SEIDEL essaie de démontrer, en polémisant avec KOSCHMIEDER, que le présent perfectif peut être employé non seulement en fonction de futur, mais aussi en fonction de présent actuel. En voici un exemple qui peut être intéressant pour nous: «Am günstigsten läge der Fall, wenn ich aus einem slavischen Texte die Frage und eine Antwort darauf im perfektiven Aspekt anführen könnte. In dieser Form habe ich bisher kein Beispiel gefunden, aber es steht fest, dass wenigstens in der Umgangssprache des Alltags im Čech. Perfektiva in solchen *Situationen* vorkommen. Mit den Worten: *Vy už přijdete* (pf). *pro ty šaty?* [Sie kommen (pf.) schon wegen der Kleider?] empfing mich in Prag ein nicht Deutsch verstehender Schneider. Und ein Budweiser Uhrmacher, der anscheinend völlig zweisprachig ist, behauptet, dass die Ausdrucksweise: *Pán si přide* (pf.) *již pro ty hodinky?* — *Ne, já si vyberu brýle* — [Der Herr kommt (pf.) schon wegen der Uhr? — Nein, ich will (werde) mir eine Brille aussuchen] — in dieser Situation durchaus sprachüblich sei. Man mag derartige Ausdrucksweisen für nicht mustergültiges Čechisch ansehen, aber man kann sie keinesfalls als Hörfehler und damit als nichts beweisend abtun. Sie beweisen, dass im Čechischen in Situationen, die die KOSCHMIEDER-MIKLOSICH Präsenfrage nahelegen, im perfektiven Aspekt geantwortet werden kann» (Zur Futurbed., S. 16).

Quant à l'emploi du type *přijdete*, deux hypothèses s'imposent: a) soit qu'il s'agit vraiment de l'influence allemande, comme F. MICHALK l'a supposé pour le haut-sorabe dans son article récent: «Unter deutschem Einfluss aber sind einige Verben in diese Sondergruppe [il s'agit du groupe des *dualia*] abgewandert (oder sind sogar hinsichtlich des Aspekts merkmalllos geworden), die in allen anderen slavischen Sprachen aspektpaarig sind: l.přině... — Hier haben wohl die deutschen, man könnte fast sagen Antonyme *kommen* (přině) — *gehen* (hiě) und *bringen* (přinjesě) — *tragen* (njesě) den Schwund der Aspekt-paarigkeit dieser Verben im Sorbischen gefördert.» (»Über den Aspekt in der obersorbischen Volkssprache«, Zeitschr. f. Sl., B. IV, 2, 1959, S. 251—252) — comme on le voit, il est question du même verbe dans le sorabe populaire (přině) que dans le tchèque parlé (přijíti); b) ou bien cet emploi est à expliquer par l'évolution propre au slave, de sorte que le présent perfectif apparaît ici en fonction de perfectum-praesens: *Vy už přijdete pro ty šaty?* — 'Vous êtes déjà venu chercher ces habits?' C'est cette dernière supposition qu'appuie aussi l'exemple suivant de SEIDEL: «Ein echtes Präsens im Sinne von Nicht-futurum ist zweifellos das Perfectum-Präsens, insofern es den aktuellen Zustand hervorhebt... Und das čech. *znáti* — der Bildung nach ein formales ipf. Präsens, zeigt in seinem pf. Aspekt *poznáti* einen Wert, wie er ähnlich durch die Entwicklung, die die idg. Perfecta-Präsentia durchgemacht haben, sich ergeben

née du verbe tchèque *odstraňovati*. Ainsi, de même qu'en français et en allemand, nous sommes obligés de recourir à des moyens lexicaux pour nous approcher de l'original slave: 'Hogy tudja a kapitalizmus megszüntetni vagy legalábbis fokozatosan megszüntetni a válságot?' La différence grammaticale du slave *odstraniti*: *odstraňovati* ne peut être exprimée en français, en allemand et en hongrois que par des moyens de vocabulaire. Les verbes hongrois *szüntet-megszüntet* ne constituent pas non plus des couples grammaticaux aspectuel, mais tout simplement des *Aktionsarten*, c'est-à-dire des modalités de caractère lexical — selon la terminologie d'AGRELL: *szüntet* — modalité durative, *megszüntet* — modalité définitive; de même *szüntetget* — duratif-itératif-diminutif, *megszüntetget* — définitif-itératif-diminutif. Par conséquent dans la langue hongroise il y a des *Aktionsarten* très variées, mais l'expression morphologique des aspects perfectif: imperfectif y manque totalement. Cela vaut également pour le système verbal du français et de l'allemand.

hätte. Ein Priester fragte mich: *Tábor teké poznáte* (pf.)? (Tabor kennen Sie auch?). Ich stellte, um mich über den Tempuswert des Verbs zu vergewissern, die für ihn anfangs verwunderliche Frage, was er damit meine, einen stattgefundenen oder noch ausstehenden Besuch dieses Ortes. Er antwortete, dass er natürlich an einen früheren Besuch gedacht habe, aufgrund dessen ich ihn jetzt kenne, und erklärte mir, im Laufe des sich anschließenden Gesprächs, dass sich diese Form *ebenso gut auf die Vergangenheit wie auf die Gegenwart beziehen könne.*» (Zur Futurbed., S. 17—18). (Soulligné par moi. — J. D.). Ainsi, selon l'information de SEIDEL, le présent perfectif se rencontre en fonction de perfectum-*praesens* dans le tchèqu courant.

Haut-sorabe:

Le système d'aspects des deux dialectes sorabes (et du macédonien) est le moins exploré. Mais dernièrement, comme nous l'avons déjà mentionné plus haut, F. MICHAŁK a publié un article, très intéressant pour nous, sur l'emploi des aspects dans le langage populaire du haut-sorabe. MICHAŁK n'est pas d'accord avec ŠČERBA qui, dans son travail «Восточнолужицкое наречие» (Петроград 1915), s'était exprimé plutôt négativement au sujet du système d'aspects haut-sorabes: «Мне кажется, что совершенность в том виде, как мы её представляем в русском, вовсе не существует в лужицком. Префиксы прежде всего придают глаголам значение однократности, которая подчёркивается параллельным итеративным глаголом; а затем они сообщают тот или другой налёт совершенности, соответственно их собственному смыслу.» À l'opposé de ce point de vue, MICHAŁK insiste sur le fait que dans le haut-sorabe l'aspect perfectif : imperfectif est une catégorie vivante même aujourd'hui, et que l'influence allemande, contrairement aux opinions émises jusqu'à présent, n'a pas atteint le système d'aspects lui-même, sinon que par suite des calques, le nombre des verbes réimperfectivés commence à diminuer (Über den Verbalaspekt, S. 253).

Il est pour moi très important de noter cette observation de MICHAŁK que dans le haut-sorabe le présent perfectif est employé en fonction de prétérit. Il est seulement regrettable que le texte de MICHAŁK ne nous apprenne pas si cet emploi du présent perfectif se rapporte également à l'«indicatif syntaxique» et au «relatif syntaxique». Voici un passage de son enquête (op. cit., S. 242):

3. F. : Übersetzen Sie *Die Katze kriecht auf den Baum.*

A. : Ta kóčka lězo na bom.

F. : abo zalězo.

A. : To rěka ist gekrochen.

F. : Ja myslu ist gekrochen rěka jo zalězła?

A. : To tež.

F. : Was heisst *Die Katze wird gleich auf den Baum kriechen?*

A. : Ta kóčka budžo glajch zalězc na bom.

F. : Was heisst *Siehst du, wie die Katze auf den Baum kriecht?*

A. : Widziš, kak ta kóčka hórjej lězo?

F. : abo zalězo?

A. : To rěka *Sie wird kriechen.* (N).

MICHAŁK y ajoute la remarque suivante: «Die Präsens-unfähigkeit des perfektiven Verbs tritt bei der hier durchgeführten Vertauschbarkeitsprobe

deutlich zutage. Interessant ist am 3. Gespräch, dass die Präsensform eines perfektiven Verbs in ihrer Bedeutung sowohl als Zukunft als auch als Vergangenheit empfunden werden kann, nicht aber als Gegenwart» (Souligné par moi. — J. D.).

*Puisque, outre les cas connus de présent historique, l'emploi du présent perfectif en fonction de prétérit semble être attesté au moins par deux langues slaves contemporaines, on peut se voir justifié à poser la question de l'origine de cette fonction.*¹³

MICHAŁK signale qu'en haut-sorabe le présent perfectif se rencontre souvent en fonction de présent coïncident qui, comme nous le pensons, peut être mis en relation avec l'emploi précédent. En voici quelques exemples: «Ja so dopow-nju, zo som tebje hižnoć widźela, (N.). Ja Was *pręprošu* na Nawkec kwas (R.). Z tym přepodam słowo bratrej N. (Chr.) (S. 243).

Slovène:

Dans son article «Zum Gebrauche der Verba perfectiva und imperfectiva im Slovenischen» (Asl Ph., 25, 1903) S. ŠKRABEC pose la question de présent coïncident dans le slovène qu'il désigne encore comme «présent effectif». Le présent effectif se distingue des autres fonctions de présent perfectif en ce qui ici le discours et l'action coïncident entièrement: «...Praesens, das die Handlung nicht nur bezeichnet, sondern eben durch das Aussprechen des betreffenden Verbums zugleich vollzieht» (op. cit., S. 555). Selon ŠKRABEC le présent coïncident est un phénomène ancien et assez fréquent dans le slovène, il est déjà connu dans les *Brižinski spomemiki* (de la fin du X. siècle).

ŠKRABEC donne des exemples intéressants pour illustrer cet emploi du présent perfectif dans le slovène contemporain: «Sagt ein Kaufmann zum erschienenen Kauflustigen den Preis einer Ware und der Kauflustige antwortet: «*kupim*» (pf.) ich kaufe, so ist der Kauf abgeschlossen. «*Kupujem*» (ipf.) dagegen wäre nur entweder vor Abschluss des Kaufes als referierendes Praesens: «ich bin bestrebt zu kaufen», oder von öfteren Kaufen zu gebrauchen» (S. 555) (Souligné par moi. — J. D.). A ce qu'il semble le présent perfectif *kupim* remplit ici une fonction qui nous rappelle celle de perfectum-praesens. De même dans les exemples suivants de ŠKRABEC: «So sagt man auch ganz gewöhnlich: «Na, to ti *dam* na spomin,» das gebe ich dir zum Andenken, wenn das Geben mit diesen Worten *vollzogen* wird; «*dajem*» wäre ein referierendes Praesens: Videte, kaj mu *dajem*, pa se brani» (S. 555).¹⁴

Serbo-croate:

Dans son article intitulé «O upotrebi vremena u srpskohrvatskom jeziku» (JužFil. VI. Beograd 1926—27) A. BELIĆ présente une analyse originale des

¹³ A plus forte raison — puisque ladite fonction du présent perfectif est attesté aussi par le vieux-polonais: cf. l'article de St. SZOBER dans *Język Polski* R. VI (1921), 2, str. 33—41, ainsi que W. DOROSZEWSKY — dans son travail mentionné ci-dessus; et, à mon avis, aussi par le vieux-russe: cf., p. e., le passage de Nestor (7) qui trouve ici une explication: «Двина ис тогоже лѣса *потечеть* ('потекла и течет'). а идеть на полунощѣ и *внидетъ* ('впала и впадает') в море...» (Souligné par moi. — J. D.).

¹⁴ Cf. encore: FR. RAMOVŠA, «Morfologija slovenskega jezika» (Skripta po predavanjih v l. 1947/48, 48/49, Ljubljana): «Prezent perfektivnih glagolov izraža sedanjost (trenutni glagoli: zahvalim, isповem se, odpustim...)» (str. 129).

temps verbaux serbo-croates. En partant de l'emploi des temps verbaux, il les divise en deux grandes catégories générales: l'indicatif syntaxique et le relatif syntaxique (sintaksički indikativ i sintaksički relativ). L'indicatif syntaxique est la catégorie des temps du style *direct* qui se rapportent toujours au *présent* de celui qui parle. Par contre, le relatif syntaxique est la catégorie du *style narratif* dont les temps se rapportent toujours au *passé*. BELIĆ fait ici une constatation très importante, à savoir que l'indicatif syntaxique est la catégorie des temps grammaticaux fondamentaux et directs où sont représentées dans le serbo-croate littéraire contemporain toutes les formes de temps: présent imperfectif, imparfait, aoriste, parfait, plusqueparfait, excepté le *présent perfectif* et le parfait dit «tronqué» (krnji perfekat — à savoir: le parfait sans copule). Voici le critérium de l'indicatif syntaxique: peut-on employer dans la proposition donnée le présent perfectif ou non? Dans le relatif syntaxique, outre les formes de temps nommées ci-dessus, peut donc figurer aussi le présent perfectif, on l'y retrouve même souvent, surtout en fonction de présent historique et de présent gnomique, c'est-à-dire en fonction du temps présent, comme du temps abstrait, général. Je pense que ces distinctions de BELIĆ sont très significatives et que leur utilité ne s'étend pas seulement au serbo-croate; mais qu'entend BELIĆ lorsqu'il dit que dans le relatif les différentes formes de temps ont exclusivement une fonction *aspectuelle*? — cela revient à dire qu'elles sont exemptes de toute fonction temporelle. Selon BELIĆ, p. e., dans le relatif le présent imperfectif désigne une action qui dure dans le passé, le présent perfectif signifie, par contre, une action achevée de même dans le passé, c'est-à-dire qu'ils désignent ce qu'est leur contenu aspectuel: «U pripovedanju, koje pretstavlja radnje koje pripadaju u potpunosti prošlosti, radnje koje se ne odmeravaju prema sadašnjosti i koje nemaju nikakve veze sa sadašnjošću, — prezent imperfektivnih glagola znači radnju koja traje u prošlosti, a prezent perfektivnih glagola — radnju svršenu u prošlosti. Oni znače ono što znači njihov glagolski vid» (op. cit., str. 109).

Je pense que BELIĆ est allé trop loin en séparant à un tel point la catégorie d'aspect de celle de temps. Il ne faut pas oublier que la forme aspectuelle dans le slave apparaît de rigueur dans certaine forme temporelle, quant aux formes non temporelles, l'infinitif et l'impératif, nous avons déjà parlé de leurs flottements aspectuels, de l'ambiguïté de leurs valeurs aspectuelles. Il n'est pas indifférent, même dans le relatif, d'employer le présent imperfectif et perfectif ou bien l'imparfait et l'aoriste. Les formes de présent gardent dans le présent historique (et même dans le gnomique!) leurs fonctions temporelles propres; en employant le présent imperfectif au lieu de l'imparfait, le présent perfectif au lieu de l'aoriste, je ne fais qu'actualiser, très vivement, les faits du passé, de sorte que le présent imperfectif désigne, ici aussi, une action — reproduite pour nous — qui se développe, à savoir un *présent* pur et simple; le présent perfectif marque, par contre, une action — reproduite de même — qui vient de passer, c'est-à-dire un *passé sur le plan du présent* (perfectum-praesens).¹⁵

¹⁵ Voici un passage de la grammaire serbo-croate de BRABEC-HRASTE-ŽIVKOVIĆ (Gramatika hrvatskoga ili srpskoga jezika, Školska Knjiga, Zagreb 1958, str. 241): «Historijski prezent svršenih glagola upotrebljava se neobično često u narodnim pripovijetkama, gdje je gotovo istisnuo ostala vremena, kojima se izriče prošlost. Ono obično počinju nekim prošlim vremenom. Po njima se zna, da događaji, koji se zatim kazuju prezentom, padaju u prošlost: *U nekoga čovjeka bio čobanin, koji ga je mnogo godina vjerno služio. Jednom idući za ovacama začuđe neku pisku.* Od česte upotrebe stao se napo-

Je suppose donc que la fonction de présent historique et gnomique du présent perfectif ne résulte nullement d'une notion aspectuelle pure, indépendante de toute notion temporelle, mais de la fonction originellement aoristique (temps passé proprement dit) de la forme de présent perfectif.

Bulgare:

Parmi les langues slaves d'aujourd'hui c'est le bulgare et le macédonien qui ont le mieux conservé, même dans la langue parlée, les temps simples du slave commun, l'aoriste et l'imparfait, dont l'emploi dans le serbo-croate et les deux dialectes sorabes se limite de plus en plus à la langue littéraire, prise dans un sens plus étroit, et à certains dialectes de moindre importance. En outre, le bulgare (et le macédonien à un certain degré) a élargi, de formes et de fonctions nouvelles, le système slave des formes de temps composés; en même temps il a conservé dans sa totalité l'héritage du slave commun — le système d'aspects perfectif: imperfectif, et il l'a même systématisé mieux que n'importe quelle langue slave contemporaine. Il est donc évident que le système aspecto-temporel du bulgare moderne mérite une attention toute particulière.

Dans son travail «Категорие значениоуе конјугаци булгарскиј» (Kraków 1938) L. ANDREJČIN s'occupe aussi, bien que dans ses grandes lignes, de la corrélation des systèmes d'aspects et de temps du néo-bulgare. D'après lui le système d'aspects s'entrelace sans doute avec le système de temps, mais il s'en délimite aussi. En effet, du tableau suivant, qui donne une vue d'ensemble sur le système aspecto-temporel bulgare, il ressort que les deux systèmes coïncident d'une part (p. e. dans le bulgare littéraire le temps présent ne se forme que de verbes imperfectifs), mais, d'autre part, ils s'opposent l'un à l'autre jusqu'à un certain point (p. e. l'aoriste peut se former également de verbes perfectifs et imperfectifs, mais avec des fonctions bien distinctes).

Voici les formes aspecto-temporelles du verbe *правя*: *направя* faire' (op. cit., str. 7—8):

1. praesens: (ipf.) *правя* (: le pf. *направя* s'emploie plutôt dans les propositions subordonnées, en fonction de futur ou bien d'itératif; plus rarement dans les propositions principales aussi, en fonction de présent historique ou d'itératif: — de même que dans les autres langues slaves du sud).

2. perfectum praesentis: (ipf.) *правил съм*: (pf.) *направил съм*.

3. aoristos: (pf.) *направих* [: l'ipf. ne se rencontre que rarement: il désigne l'action elle-même dans son accomplissement — non pas dans son développement comme l'imparfait formé de verbes ipf. —, sans égard au fait, au résultat, à la conséquence résultant de l'action: *Днес идвах* (allé et retourné) *да те търся* 'je t'ai cherché aujourd'hui': *Донасяха ли днес нещо за мен?* 'a-t-on apporté (en général) quelque chose pour moi?' (str. 39)].

4. imperfectum: (ipf.) *правех* (: le pf. *направех* ne s'emploie qu'au sens itératif).

5. perfectum praeteriti (soit: plusquamperfectum): (ipf.) *бях правил*: (pf.) *бях направил*.

6. futurum: (ipf.) *ще правя*: (pf.) *ще направя* le futur perfectif périphrasique, comme dans les autres langues slaves du sud.

kon prezent svršenih glagola sam po sebi shvaćati kao prošlo vrijeme. To dokazuju pripovijetke, koje počinju njime: *U nekakvom selu pođu žene u planinu da traže ljekovita bilja.*»

7. perfectum futuri (soit: futurum exactum): (ipf.) *ще съм (бъда) правил*: (pf.) *ще съм (бъда) направил*.

8. futurum praeteriti: (ipf.) *щях да правя*: (pf.) *щях да направя*.

9. perfectum futuri praeteriti (soit: fut. ex. praet.): (ipf.) *щях да съм (бъда) правил*: (pf.) *щях да съм (бъда) направил*.

Comme nous le voyons par ces exemples, dans le bulgare contemporain la dualité *formelle* du système aspecto-temporel est complète: à chaque forme imperfective correspond une forme perfective. Ici une question se pose: est-ce qu'à la dualité des formes répond toujours la polarisation des fonctions? Il est facile de répondre: l'opposition régulière des formes n'est pas suivie dans tous les cas par celle des fonctions.

Ce qui nous intéresse le plus c'est la corrélation du présent perfectif et imperfectif: ils sont opposés quant aux formes, mais pour leurs fonctions ils ne le sont pas, tout au moins dans l'usage courant, car la forme de présent perfectif ne désigne pas *le présent perfectif*, comme on serait en droit de l'attendre mais bien au contraire: il remplit la fonction de futur, et cela même avec restriction (ne concernant que les langues du sud) — seulement dans les propositions subordonnées. Pourtant, en certain cas, les présents perfectif et imperfectif peuvent s'opposer l'un à l'autre dans leurs fonctions, même si ce n'est pas sur le plan du présent actuel, mais bien sur le plan du passé projeté dans le présent, c'est-à-dire dans le présent historique (et gnomique): là, comme nous l'avons déjà dit, le présent imperfectif remplit, en général, la fonction de l'imparfait¹⁶, le présent perfectif par contre — celle de l'aoriste.

Je pense donc que c'est ici, dans la corrélation formelle, et non en même temps fonctionnelle, que réside le problème essentiel de la question d'aspect. Nous devons supposer, dans la formation du système aspecto-temporel du slave commun, une période où les présents imperfectif et perfectif s'opposaient en forme ainsi qu'en fonction, et voici comment: le présent imperfectif désignait *l'action elle-même qui se développe*, le présent perfectif par contre — *l'action qui vient de s'accomplir dans le présent*.

Dans son travail ANDREJČIN constate simplement que l'aspect, pris dans son essence, n'est pas une catégorie de temps, elle exprime une certaine manière d'envisager l'action: «Zasadniczo aspekt nie jest kategorią czasową. — Kategoria aspektu wyraża pewien sposób ujęcia czynności.» (op. cit., str. 8). Il est regrettable qu'ANDREJČIN ne soit pas allé plus loin dans ses recherches de corrélation entre ces deux catégories grammaticales, il avait pourtant toutes les chances de son côté.¹⁷ Et cela aurait valu la peine car c'est ici qu'est la clef de tout le système verbal slave.

Mais avec le secours d'ANDREJČIN nous avons réussi à fixer encore un autre fait important: c'est qu'un système de temps aussi simple que celui du russe contemporain, et aussi compliqué que celui du néo-bulgare ne change rien au mécanisme essentiel de la catégorie d'aspect, puisqu'elle remplit avec la catégorie de temps, essentiellement, les même fonctions aspecto-temporelles

¹⁶ A son tour l'imparfait, quant à son origine, n'est pas autre chose que le présent projeté sur le plan du passé (v. la IIe Partie).

¹⁷ ANDREJČIN le remarque lui-même: «Dla aspektologii słowiańskiej język bułgarski jest o tyle ciekawy, że jako posiadający szeroko rozbudowany system czasowy, może dostarczyć dokładniejszego materiału, rzucającego światło na kwestię stosunku między aspektami a czasami (str. 8).

en russe et en bulgare: les fonctions du présent, du futur et du prétérit perfectif: imperfectif.

Dans son article «О своеобразии морфологической системы глагольного вида в современном болгарском языке» (Кр. сообщ. Ин-та славянов., вып. 15, 1955) Ю. S. MASLOV nous donne une vue d'ensemble très instructive sur le système morphologique du bulgare moderne. En comparant l'expression morphologique du système d'aspects bulgare MASLOV souligne le fait qu'entre toutes les langues slaves contemporaines c'est le bulgare qui a réalisé de la façon la plus conséquente la réimperfectivation des verbes perfectifs. Dans le bulgare de tels verbes ont leurs couples imperfectifs, exactement de même contenu sémantique, qui dans le russe (et d'autres langues slaves) apparaissent comme *perfectiva tantum*, p. e. le type de verbes momentanés *рухнуть* (bulg. *рухна*: *рухвам*), les verbes dits finitifs *отшуметь* (bulg. *отшумя*: *отшумявам*), les inchoatifs comme *зареветь* (bulg. *зарева*: *заревавам*), même le type dit perduratif *посидеть* (bulg. *поседа*: *поседавам* — «глаголы со значением охватыва длительности») et les verbes dits «sommaires» («суммарные глаголы») *исходить* (bulg. *изпочупя*: *изпочупвам*, *изходя*: *изходвам*) etc. De même, dans le bulgare moderne aussi les couples dits «sémantico-grammaticaux» se sont grammaticalisés, tels que *напиша*: *написвам*, *онемя*: *онемявам*, etc. Il est intéressant de noter qu'en même temps les verbes dits «imperfectifs primaires» comme *пиша*, *немея*, *белея*, etc. s'isolent, deviennent *imperfectiva tantum*: *пиша* 'j'écris' (en général), ou bien: 'je sais écrire'. — Tout cela prouve, une fois de plus, que les couples purement grammaticaux perfectif: imperfectif, exempts de toute nuance de caractère lexical, ne sont possibles que par l'intermédiaire de la réimperfectivation (dati → dajati, ubiti → ubivati, etc.), toute autre opposition d'aspects est donc croisée d'une des modalités de l'action, et cela même pour les soi — disants «préfixes vides» aussi.

Comme résultat de l'intéressant et précieux article de MASLOV, la justesse de l'initiative d'AGRELL a été démontrée de façon indubitable: il faut d'une manière stricte et conséquente délimiter l'aspect verbal des modalités de l'action verbale. Je cite les paroles de MASLOV: «По сути дела мгновенность, начинательность, «финитивность» и т. д. не могут рассматриваться здесь как «подвиды» внутри одного из видов. Это — «способы действия», лексико-грамматические разряды глаголов.» Et à la fin de ce passage il conclut: «Таким образом, вид глагола и способ глагольного действия выступают здесь как независимые друг от друга категории: способ действия не преопределяет вида» (стр. 35). Dans le bulgare contemporain, prouve MASLOV, on peut donc parler de l'unification des formes perfective et imperfective dans un seul paradigme, de même que les thème de présent, d'aoriste, de parfait de l'ancien grec et ceux d'inflecta et de perfecta appartiennent à un même paradigme.

Vieux-slave:

Du point de vue de l'aspect c'est cette langue morte qui a été scrutée le plus en détail. Et cela s'entend, car la langue slave disposant des plus anciens manuscrits (dès le X. s) pourrait donner, pensait-on, les réponses le mieux fondées aux questions palpitantes de la genèse et de la formation du système d'aspects slaves. — Pour éviter autant que possible les répétitions dans la

seconde section de cette partie de mon travail (elles sont, hélas, inévitables!), je ne parlerai ici que de deux études parmi les plus importantes.

Dans ses «Etudes sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave» (Paris 1902) A. MEILLET comparant les textes d'Évangile vieux-slaves avec l'original grec, arrive à une constatation capitale: quant à ses *fonctions grammaticales*, le système d'aspects perfectif: imperfectif du slave correspond en gros au système de présent: aoriste de l'ancien grec. Puis il continue: «Or, comme l'aoriste et le présent du grec répondent à l'aoriste et au présent de l'indo-iranien et de l'arménien dont les thèmes expriment l'aspect et non le temps, de même que les formes grecques (mais avec moins de netteté), on peut dire que le perfectif et l'imperfectif slaves sont en gros synonymes de l'aoriste et du présent indo-européen, ceci ne signifie pas que le perfectif et l'imperfectif continuent d'une manière quelconque les distinctions exprimées par l'aoriste et le présent indo-européen, et la question de la substitution de l'un des procédés à l'autre reste entière» (op. cit., p. 6—7). Plus bas, MEILLET, souligne encore: «L'équivalence du présent grec et de l'imperfectif slave d'une part, de l'aoriste grec et du perfectif slave de l'autre est purement sémantique» (p. 89).

Pour ce qui est de l'étroite correspondance des deux systèmes sémantiques, il faut donner totalement raison à MEILLET: la comparaison des textes vieux-slaves et grecs le prouve d'une manière éclatante. A. DOSTAL ne lui donne pas tort non plus en cela — sinon expressis verbis, du moins dans ses données — qui, d'ailleurs, le critique constamment.

Comme on le voit, MEILLET est circonspect, il n'accorde pas la priorité à l'un des systèmes sur l'autre quant à leur origine indo-européenne: «...la question de la substitution de l'un des procédés à l'autre reste entière.»

Toutefois, ici et dans ses travaux ultérieurs, en particulier dans le *Slave Commun* (Paris 1924) il ne renonce pas à motiver, jusqu'à un certain degré, le système d'aspects slaves du point de vue morphologique aussi, sur la base des thèmes de présent:aoriste indo-européens²⁸.

Quant au mécanisme morphologique des aspects slaves, beaucoup de chercheurs ont répété depuis la juste constatation de MEILLET que ce système est fondé,

²⁸ Cf., p. e., le paragraphe 314 du *Slave Commun*: «Les thèmes indo-européens de type athématique, qui ne sont représentés en slave que par des débris, laissent entrevoir l'une des origines des différences d'aspect des verbes simples, comme on l'a noté à propos de *pad-* (cf. § 222). Les racines qui fournissent des thèmes radicaux de ce genre donnent les uns des présents, c'est-à-dire des formes exprimant un procès qui dure et se développe, ainsi **ed-* dans skr. *ádmi* 'je mange', ou **es-* dans skr. *ásmi*, gr. *εἰμί* 'je suis', les autres des aoristes, c'est-à-dire des formes exprimant un procès pur et simple, ainsi **dō-* dans skr. *ádāt* 'il a donné', arm. *et*, gr. (*ἔδωκε*), *ἔδομεν*. Les racines à valeur durative n'ont pas d'aoriste radical; et, pour **ed-* par exemple, on a recouru à des formes supplétives: skr. *ághah*, gr. *ἔφαγε*, arm. *keraw*; **es-* n'a pas d'aoriste; presque partout on se sert de formes de la racine **bhews-* 'pousser, devenir': skr. *ábhūt*, lat. *fuit*, lit. *būvo*, et de même en slave *by*, *bystū*. Quant aux racines de caractère «aoristique», le grec et l'indo-iranien ont recouru à des artifices pour leur donner un présent. L'un de ces artifices a consisté à créer des présents radicaux à redoublement, c'est-à-dire que la durée est exprimée par le redoublement grammatical de l'élément radical; on a ainsi skr. *dádāmi*, gr. *δίδωμι* 'je donne'. Le slave a conservé les anciens présents *jesmi* 'je suis' et *ēmī* 'je mange', avec la valeur imperfective qu'ils ont toujours eue; quant à *da-* 'donner', l'infinifit *dati* et toutes les formes qui s'y rattachent ont conservé leur ancienne valeur «aoristique» et sont perfectifs en slave; et comme le présent *damī*, *dastū*, *dadetū*, qui est une ancienne forme à redoublement, ne laisse plus reconnaître son caractère de présent à redoublement du radical, et qu'il s'est contaminé avec un présent radical simple perfectif, comparable à lat. *dat* (ou, pour la forme, à v. h. a. *tōm* 'je fais', v. § 205), il a la valeur perfective: *damī* signifie en slave 'je donnerai'.»

à proprement parler, sur le rôle perfectivant des préfixes et sur la réimperfectivation de ces formes préfixées au moyen du suffixe -ā - (-ja-, -va-, -ova-, -iva-, -yva-) d'origine indo-européenne: «Le rôle» perfectivant» des préverbes et la constitution des «itératifs» sont les deux faits sur lesquels repose le système de l'aspect en slave» (Le Slave Commun, p. 251). Ainsi, dès qu'un verbe simple est perfectivé par un des préfixes (sъ -bljusti), il est soumis à la dérivation suffixale (sъ-bljud-a-ti) et il redevient imperfectif. Autrement dit, par ce dernier procédé, la divergence de nuance — surajoutée par la préfixation et appartenant au vocabulaire — entre le simple et sa forme composée (bljusti × sъ-bljusti) vient d'être écartée: sъ-bljusti : sъ-bljudati ne diffèrent plus que par leurs fonctions grammaticales — aspectuelles. C'est pourquoi «L'existence d'un itératif est le seul critérium essentiel du caractère perfectif d'un verbe donné» (Études, p.8.).

Toutefois, il me semble que le noeud du problème n'est pas là, il faut le chercher dans la coexistence des formes perfectives simples, et c'est là qu'on rencontre le plus de difficultés. MEILLET suppose que les perfectifs simples ne se sont incorporés que plus tard au système d'aspects slaves. Il cherche à fonder cette opinion sur le fait que ces perfectifs simples ont, en général, des pendants imperfectifs d'une formation irrégulière: *dati*: *dajati-dajq*, *jeti*: *jmati-jemljq* (mais *pasti*: *pada-tipadajq* est régulier) etc. Il voit donc le point de départ du système d'aspects slaves dans la préfixation des verbes simples, alors qu'il explique son évolution ultérieure par la dérivation de plus en plus régulière des formes composées. Il cherche à appuyer son point de vue du côté de la sémantique aussi: «Enfin il importe de noter que le caractère perfectif de *damb* est lié au sens de 'donner' et que, au sens figuré, de 'permettre', *damb* est imperfectif... Cette remarque fournit une importante confirmation de ce qui a été dit précédemment: la fixation de l'aspect des verbes simples est chose relativement tardive; on voit que le sens propre du verbe y a joué un rôle décisif» (Études, p. 18).

Mais c'est sur ce point-là que je ne peux me mettre d'accord avec MEILLET. Puisque ces verbes simples, par la seule entremise de leur contenu sémantique: *dati-damb* 'donner', *jeti-jemq* 'prendre, attraper', *pasti-paq* 'tomber', etc., s'approchaient de la notion du perfectif — qui devait exister dans le slave commun comme héritage de l'aoriste indo-européen, on peut se figurer plus aisément que c'est en eux au contraire que s'est renouvelée cette notion très ancienne. La préfixation des verbes, en elle-même, n'est par contre qu'un moyen (des plus souples et des plus expressifs!) pour suppléer au besoin de former de nouveaux mots, pour enrichir le vocabulaire. Ce moyen est bien connu dans cette fonction, et là seulement, dans toutes les langues indo-européennes, dès les temps reculés. Et cela vaut aussi pour le slave. L'évolution du bulgare contemporain, présentée par MASLOV dans son excellent article, démontre d'une manière éclatante qu'il n'y a pas de «préfixes vides», c'est-à-dire dénués de sens concret. D'autre part, MEILLET lui-même souligne le fait qu'il y a même dans le slave des verbes que les préfixes ne rendent pas toujours perfectifs; ce sont surtout les verbes en — *ěti*: *itъ* — *nastojati*, *prisěđeti*, *naležati*, etc., c'est-à-dire ceux qui expriment l'état, puis il conclut: «Donc, en slave commun, l'adjonction d'un préverbe ne rendait nécessairement perfectifs que les verbes dont le sens se prêtait à cet aspect» (Le Slave Commun, p. 253).

Or la notion d'état s'oppose à la notion de mouvement. Plus ce mouvement est dynamique, se précipitant vers son point final, c'est-à-dire vers sa

réalisation en action *passée*, plus il se prête à la notion perfective, aoristique. C'est bien le cas des perfectifs simples du type le plus ancien. Mais le mouvement d'action verbale, moins dynamique, peut être accéléré par les préfixes qui expriment tous une direction de mouvement vers un point à atteindre dans l'espace et dans le temps: *biti* 'battre' → *u-biti* 'battre quelqu'un jusqu'à ce qu'il soit tombé' (v. le pf. russe: у-пастъ), c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il soit mort. Cependant, cette accélération du mouvement de l'action verbale vers son déroulement résultatif n'est pas le privilège exclusif des préfixes, l'infixe nasal *-n- sěsti-seđo* 's'être assis'¹⁹ — et le suffixe *-ne : no-* — *dvignōti-dvignō* 'avoir mû' —, dont les sens primitifs sont peu clairs, semblent pouvoir le faire aussi; mais, à eux seuls, ils ne suffisent pas non plus à rendre un verbe perfectif, p. e. *grěsti-grěđo* 'aller' et *vyknōti-vyknō* 's'accoutumer', *sbchnōti-sbchnō* 'sécher' sont imperfectifs.

Ainsi, je pense que, outre une nécessité impérieuse provenant des changements du système verbal indo-européen dans le slave²⁰, c'est le sens concret du verbe qui a joué un rôle décisif dans la constitution du système des aspects verbaux slaves, et ce sont les perfectifs par eux-même qui s'y prêtent les premiers. Il me semble donc que MEILLET accentue trop leurs flottements aspectuels, ce qui l'amène à en tirer des conclusions peu rassurantes: «au fond les seuls verbes dont l'aspect perfectif soit absolument constant sont ceux qui ont un préverbe; si net que soit l'aspect des verbes perfectifs par eux-mêmes, il est rare qu'il n'y ait pas dans quelque détail de l'emploi un flottement» (Études, p. 77).

En effet, dans les langues slaves on rencontre des flottements dans le groupe des perfectifs simples; cependant il convient de souligner aussi que malgré cela le nombre de ces verbes n'a point diminué: il y en a une cinquantaine en vieux-slave ainsi qu'en russe contemporain. Pour la bonne raison que les perfectifs simples appartiennent, en leur majorité, aux couches les plus anciennes et les plus vitales du vocabulaire slave, on peut aussi comprendre ces fluctuations dues aux premiers tâtonnements dans la formation du système d'aspects lors de la recherche des moyens de perfectivation et de réimperfectivation. De là s'explique aussi le caractère très archaïque de ces premiers imperfectifs: *dajō*, *jemljō* — tirés directement de la racine plus le thème de présent par excellence *-je : jō-*; *padajō*, par contre, se forme déjà au moyen du suffixe *-a-* qui est le thème de l'infinitif: *pada-ti*. Les perfectifs simples pouvaient encore s'employer dans les deux fonctions, leur fixation relative, dans la fonction perfective ne s'est réalisée que lentement, à mesure de la consolidation de la forme imperfective; bref: c'est l'état primitif, incertain du commencement qui se reflète encore en eux. Au contraire, les perfectifs composés, sur le modèle des simples, pouvaient apparaître déjà dans des corrélatifs équilibrés. Pour résumer, je citerai les paroles convaincantes de DOSTÁL au sujet du type archaïque de ces verbes: «Přezítkem velmi

¹⁹ Dans son «Elementar-Grammatik der Kroatischen (Serbischen) Sprache» (Zagreb 1916) M. REŠETAR remarque très justement qu'il serait plus convenable de traduire en allemand l'infinitif perfectif serbo-croate par l'infinitif passé: «... noch am ehesten lässt sich bezüglich des Infinitivs der Unterschied auf die Weise dem deutschen Sprachgefühl näher bringen, dass man die imperfektive Form mit dem Infinitiv der Gegenwart und die perfektive mit dem Infinitiv der Vergangenheit ausdrückt, z. B. *kupovati* 'kaufen', *kúpiti* 'gekauft haben' ... (104).»

²⁰ Ce problème sera traité dans la IIIe partie du travail.

starobylého stavu je předně *skupina jednoduchých perfektiv*. Jejich počet se patrně ani v dalším vývoji slovanských jazyků nezmenšuje, ani nezvětšuje, srov. též počet jednoduchých perfektiv v staroslověněštině jako v ruštině atd. Příčina jejich vidové stálosti tkví, jak se zdá, v tom, že patří z větší části k *základnímu lexikálnímu fondu jazyka*, nehledíme-li k některým případům zvláštním, jako jsou na př. některá slovesa z náboženské terminologie, stabilizována později přesně vymezeným, nábožensky zavazným, věcným obsahem. Důležité je, že v této skupině jednoduchých perfektiv jsou především slovesa, která znamenají *rychlý, krátký pohyb*. Lze se domnívat, že lexikální obsah těchto sloves byl velmi vhodný k tomu, aby byl chápán jako celek. Jsou to slovesa většinou primární, proto se pak slovesa k nim sekundárně odvozená, dostala do opačného, nedokonavého vidu. Takto vytvořené vidové dvojice mohly být základem k vytváření vidových dvojic jiných, prvním základem principu, který se pak podle zásad produktivnosti rozšířil na ostatní slovesa» (Studie, str. 619).

L'autre travail fondamental qui s'occupe du système d'aspects en vieux-slave est la grande monographie d'ATONÍN DOSTÁL: «*Studie o vidovém systému v staroslověněštině*» (Praha 1954). Cette étude détaillée embrasse non seulement les textes de l'Évangile, comme celle de MEILLET, mais tous les textes importants du vieux-slave. Néanmoins, malgré ses bases plus larges, DOSTÁL n'arrive pas, à réfuter les thèses principales de MEILLET, il les justifie plutôt.²¹ Ainsi, p. e. la grande correspondance fonctionnelle des systèmes aspecto-temporels du grec et du slave est confirmée aussi par les données de DOSTÁL: «*To ukazuje, že v překladatelské technice evangelního textu jeví se jako pravidlo (sic! — J. D.), že řecký aorist se překládal staroslověnským aoristem*» (op. cit., 66). Ceci est vrai aussi pour l'imparfait et le présent.

DOSTÁL de même sépare la catégorie d'aspect de celle de temps; selon lui les deux catégories grammaticales sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Il va même plus loin. Il pense que l'indépendance de ces deux catégories est primaire dans le slave, et que leur corrélation ou coordination (součinnost) dans les langues slaves contemporaines doit être regardée comme le résultat de développements ultérieurs: «*Těž v slovanských jazycích je nezávislost obou kategorií primární, kdežto onen vztah nebo součinnost mezi nimi je teperve sekundární, jak zdůrazňuje HAVRÁNEK*» (op. cit. str. 29). Notons seulement que DOSTÁL semble n'avoir bâti sa conception de l'indépendance primaire des deux catégories que sur leur rapport dans les formes du *passé*, c'est-à-dire sur le fait que l'aoriste et l'imparfait peuvent se former chacun sur les deux aspects — quoique avec de grandes restrictions déjà dans le vieux-slave, mais pour le slave commun il suppose un emploi tout à fait libre. Soulignons donc, une fois de plus, notre conviction que pour une théorie d'aspects verbaux slaves il faut partir non pas des formes de passé, mais, au contraire, des formes de présent, car, du point de vue des aspects, c'est là que se sont produits les plus grands changements, et là seulement que la forme et la fonction sont entrées en contradiction. — Néanmoins, ce que Mazon a constaté pour le russe contemporain: «*c'est dans le temps que l'aspect paraît avoir son point d'appui le plus sûr*» trouve une confirmation nouvelle aussi chez DOSTÁL pour le vieux-slave, car c'est dans les formes non temporelles, l'impératif et l'infinitif, qu'on rencontre le plus de divergences entre les emplois d'aspects vieux-slaves

²¹ Cf. A. MAZON: *L'aspect des verbes slaves*, Moscou 1948, p. 29.

et ancien-grecs: «V překladatelské technice nacházíme právě v Imp nejvíce odchylek (podobně jako v Inf), a to proto, že mnohé činnosti lze chápati obojím způsobem, a nelze jich tudíž vždy přesně vřaditi mezi ty, které se konávají pravidelně nebo obvykle nebo jen ojedinele» (str. 596).

Ici une autre question se pose: pourquoi la catégorie d'aspect a-t-elle pu pénétrer, si faiblement que ce soit, dans les formes non temporelles aussi, à savoir l'impératif et l'infinitif grecs et slaves?²² Cela s'explique, je suppose, par ce que dans la catégorie d'aspect la relation de temps se détermine entre l'action verbale et l'agent, c'est-à-dire que cette relation est plus intimement, directement liée à l'action verbale. Elle se réalise soit à l'intérieur de l'action (ipf.), soit *immédiatement après* (ou bien *avant* — déjà dans le slave commun, et dans le néo-grec) l'action (pf.); ainsi, la conception aspectuelle s'étant entrelacée si étroitement avec l'action verbale, peut aisément se répandre dans toutes les formes d'action verbale, y compris les non temporelles, c'est-à-dire l'impératif et l'infinitif. Par contre, la relation entre l'action et le moment de celui qui parle est indirecte, se réalise toujours *en dehors* de l'action verbale, par conséquent, cette conception de temps ne pourra pas fusionner aussi étroitement avec les formes verbales.²³

Ainsi donc, nous ne sommes pas convaincus par DOSTÁL quand il définit les fonctions corrélatives fondamentales de l'aoriste et de l'imparfait vieux-slaves, d'une part, et celles des aspects perfectif: imperfectif, de l'autre: «... Aor je tím, že vyjadřuje hotovnost děje, přece příhodnější pojetí dokonavému, t. j. celkovému, naopak zase Impf proto, že takový odstín nevyjadřuje, je bližší pojetí necelkovému, nedokonavému. Avšak ani Aor, ani Impf nejsou formy vidové» (str. 600). Mais le concept du «prêt» ('terminé' — aoriste) et celui du «global» (asp. pf.) n'est pas grammatical, il est, au contraire, de caractère lexical. La différence entre «prêt» et «non prêt» (aoriste: imparfait) ainsi que celle entre «global» et «non global» (pf.: ipf.) ne peut se construire, d'une manière exclusive, sur une relation pure, tout abstraite, grammaticale, car, dès qu'on les oppose l'un à l'autre, «le global» au «non global», «le prêt» au «non prêt», ils en modifient simultanément leur attribut concret. Voici, d'ailleurs, un exemple quotidien de la langue russe contemporaine: я писал (ipf). *письмо* et я написал (pf.) *письмо* — à proprement parler dans toutes les deux propositions il s'agit d'actions «prêtes» ('terminées') et même «globales» — s'il est permis de nous exprimer ainsi, il n'y a donc entr'elles qu'une différence de relation: *писал* (ipf.) — l'agent concentre l'attention sur *l'action elle-même*, en se replaçant dans son action passée (il est «ensemble avec l'action») il aspire à nous la rappeler, à nous la faire parcourir — s'arrêtant aux détails ou dans son entier; *написал* (pf.) — cette fois l'agent se trouve «hors de son action», ce qui revient à dire: il est immédiatement après son action, et pour cela l'attention se porte plutôt sur *l'objet*, sur le *résultat*, sur la *conséquence* de l'action.²⁴

²² Comme on le voit, le parallélisme des systèmes d'aspects du slave et du grec se poursuit même dans ces détails.

²³ Il est intéressant de remarquer que dans le cas bien rare où le moment de celui qui parle coïncide avec l'action verbale, c'est-à-dire quand la relation entre le moment du discours et celui de l'action est directe, dans le cas du présent coïncident, on emploie non pas le présent imperfectif, mais bien au contraire le présent perfectif. C'est ainsi qu'on veut souligner que le parlant — qui est à la fois aussi l'agent — est entré en ce moment dans une relation directe avec l'action.

²⁴ A quel point les concepts du «prêt» et du «non prêt», du «global» et du «non global» expriment des modalités de l'action verbale, et non pas les aspects peut être prouvé aussi par la langue hongroise. Prenons pour exemple le couple sémantique lexical du type

Le travail de DOSTÁL est une source profonde et très précieuse pour l'étude du système verbal slave, j'y ai beaucoup puisé, mais sa théorie d'aspect, en général, ne me paraît pas vraisemblable.

ancien et productif: *csinál* : *megcsinál* 'faire'. Le présent *csinál* exprime une action qui se développe 'je fais, je m'occupe de quelque chose en ce moment' — modalité durative (mais seulement au présent; par contre, au passé, avec un objet indéfini, ce même verbe acquiert une nuance terminative: *csináltam egy széket* 'j'ai fait une chaise'; cependant, avec un objet défini, il redevient duratif: *csináltam a széket, amikor...* 'je faisais la chaise lorsque...') *megcsinál* signifie avant tout qu'on est décidé à exécuter, à mener à bien quelque chose: si le préfixe précède le verbe, alors c'est le terme de l'action qui est envisagé (mais cela provient tout simplement du sens concret du préfixe sous l'accent), et la forme de présent s'emploie plutôt (pas exclusivement) pour désigner le futur immédiat: *megcsinálom a széket* 'je vais faire (exécuter le travail de) la chaise' — modalité terminative; si, par contre, c'est le verbe qui précède (il est sous l'accent) le préfixe, l'action est considérée en vue de son développement vers son point final: *csinálom meg* (dans le peuple plutôt et mieux: *megfele*) *a széket* 'je suis en train de faire (d'exécuter le travail de) la chaise' — modalité durative-terminative. Avec le verbe duratif *csinálja*, *csinálta* 'il le fait, il le faisait' on ne doit pas employer les adverbes *egészen* 'entièrement' ou *teljesen* 'complètement', mais seulement avec le verbe terminatif: *egészen megcsinálja* 'il le fera entièrement', *teljesen megcsinálta* 'il l'a fait complètement'. Sur ce sens premier du verbe *megcsinál* viennent s'ajouter ensuite les autres nuances: *megcsinál* 'réparer' ('remettre en état prêt') ou bien 'faire en effet' — modalité effective, etc. Ainsi le préfix *meg-* peut donner au verbe simple le sens du „prêt” ou du „global”, de même qu'en latin le préfixe *con-* (*conficere*), en allemand le préfixe *er-* (*erkennen*), etc., qu'expriment tous des modalités de l'action, et non pas l'aspect.

Slovanské etymológie IV—V.¹

Š. ONDRUŠ

Svoje etymologické výklady okrem sémantických zákonitostí budujeme hlavne na historicko-porovnávacej hláskoslovnej teórii, podľa ktorej indoeurópsky prajazyk mal pôvodne iba jednu likvidovú fonému (označujeme ju *R*). Táto likvidová fonéma *R* mala dva varianty: *r*, *l*.

Naša teória o jednej likvidovej fonéme v indoeurópeine sa opiera predovšetkým o tieto okolnosti:

1. Indoeurópsky prajazyk ani jednotlivé indoeurópske jazyky v starších fázach svojho vývinu nepoznali korene typu *rel-* ani *ler-*. Toto zistenie je v súlade so zákonitostami kombinatoriky indoeurópskeho koreňa: na začiatku a na konci trojhláskovej stavby indoeurópskeho koreňa nemohla stáť tá istá spoluhláska. Tak, ako nebolo indoeurópskych koreňov typu *pep-*, *beb-*, *tet-*, *ses-* atď., nebolo ani koreňov typu *rel-*, *ler-*, pretože pôvodne fonologicky *r = l*, čiže *rel-* aj *ler-* = *rer*.

2. Tak ako pozná indoeurópeina v reziduálnom stave v heteroklitických útvaroch alternáciu *r/n*, známa je aj alternácia *l/n*.

3. Odvodzovacie morfémy *r*-ové a *l*-ové sú funkčne paralelné, porov. napr. grécke *πιαλέος* : *πιαρός*, *ὕδαλεος* : *ὕδαρός* a pod.

4. V indoeurópskych koreňoch je veľmi častý výskyt striedania *r/l* v geneticky totožných morfémach.²

Pretože likvidy *r*, *l* boli fakultatívnymi, nie kombinatívnymi variantmi jednej likvidovej fonémy *r*, ich postupná fonologizácia ako dôsledok diferenciacných sémantických potrieb prebiehala nepravidelne. V jednej oblasti indoeurópeiny sa ustálil v niektorých slovách pôvodný variant *r*-ový, v inej oblasti *l*-ový. Dôsledkom tejto nerovnomernej, „nepravidelnej“ fonologizácie likvid *r*, *l* je pomerne veľmi časté striedanie likvid v indoeurópskych geneticky totožných morfémach. Ide pritom o striedanie likvid v takých slovách, ktoré majú iba jednu likvidu, takže striedanie nemohlo vzniknúť disimiláciou ani asimiláciou, ako predpokladal napr. K. BRUGMANN.³

¹ Slovanské etymológie I. — III., a to I. *sluga*, II. *cholpъ* > (*chlapъ*, *chlopъ*, *cholopъ*), III. staroruské *Stribogъ* boli uverejnené v Sborníku Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, *Philologica*, roč. X, str. 79—92. Bratislava 1958.

² Obširný výklad o probléme likvid v indoeurópeine pozri v štúdiu Striedanie likvid *r/l* v indoeurópskych jazykoch. *Jazykovedný časopis SAV*, roč. X, č. 2. Bratislava 1958.

³ K. BRUGMANN, *Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen*², I, str. 425, § 464, str. 449, § 495.

IV. Liat, rinúť sa, linúť sa

Význam 'liat' je v kauzatívnom vzťahu k významu 'tiecť'. 'Liat' znamená 'spôsobovať, aby niečo tieklo, spôsobovať tečenie: fließen machen, faire couler'. Pretože slovesá s významom 'tiecť' sú pomerne často v jazykoch iba špeciálnym prípadom všeobecnejšieho významu 'utekať, pohybovať sa' (napr. praslovanské *tekō, tekti* znamenalo aj 'utekám' aj 'tečiem'; podobne latinské *meo, meare* znamenalo nielen 'gehen, ziehen', ale aj 'fließen, strömen'), liat je často v kauzatívnom vzťahu aj k slovesám uvedeného všeobecnejšieho významu. 'Liat' znamená 'spôsobovať tečenie, utkanie, pohyb vody'.

O kauzatívnej povahe významu 'liat' svedčí medziiným aj to, že niekedy jeho hláskové vyjadrenie je geneticky totožné s iným kauzatívom, so slovesom významu 'hádzať'. Napr. gótske *giutan*, starohornonem. *giozan* 'liat' má genetický pendant v staroislandskom *gióta* 'hádzať' = 'spôsobovať, aby niečo letelo, padalo, pohybovalo sa'. Podobne i grécke *βαλλω* 'hádzať' má pendant v sanskritskom *galayati* 'leje' < *gvel-/gvl-*. Obidve sú vo faktitívnom pomere k sanskritskému *galati* 'tečie, uteká, kvapká' (BOISACQ, DEG 114).

Je pomerne veľa takých slovies v indoeurópskych i neindoeurópskych jazykoch, ktoré pri svojej genetickej totožnosti v jednom jazyku fungujú ako prechodné slovesá (faktitíva) s významom 'liat', v inom jazyku, prípadne aj v tom istom jazyku ako neprechodné základné pohybové sloveso s významom 'tiecť', resp. 'utekať, pohybovať sa'.

Z neindoeurópskych jazykov o kauzatívnom vzťahu medzi významom 'liat' a významom 'tiecť' svedčí jednoznačne maďarčina, ktorá tvorí kauzátiva morfológicky derivačne veľmi priezračne, systémovo. Každé maďarské sloveso významu 'tiecť' má príslušné kauzatívum významu 'liat', resp. 'dať tiecť'. Oproti *ömlik* 'tečie' je kauzatívum *ömleszt* 'leje', oproti *csorog/csurog* 'tečie, zurčí' je *csorgat/csurgat* 'vylieva', oproti *folyik* 'tečie, ide, plynie, uteká, mňa sa' je kauzatívum *folyat* 'dáva tiecť, leje'.⁴

V indoeurópskych jazykoch nemá tvorenie kauzatív taký systémovo priezračný ráz. Iba stará indičina používa pomerne pravidelne morfému *-ya-* na tvorenie kauzatív. V ostatných indoeurópskych jazykoch je obyčajne situácia taká, že geneticky ten istý slovesný koreň má v jednom jazyku význam kauzatívny, v inom jazyku význam základného deja.

Litovskému *pilu, pilti* 'liat, sypať' rodovo zodpovedá lotyšské *pilu, pilet* 'kvapkať, tiecť' (W—P, Vergl. Wört. II, 54). Koreň *pel-/pl-*. Podobne aj litovskému *pludau, plusti* 'pretekať, tiecť' je príbuzensky najbližšie lotyšské *plustu, plust* 'prelievať' (TRAUTMANN, BSW 224). Koreň *pleud-/plud-*.

Staroindické *galati* 'kvapká, steká, tečie' má faktitívum v podobe *galayati* 'leje' (W—P, Vergl. Wört. I, 690. BOISACQ, DEG 114). Obdobný morfológický a sémantický rozdiel je medzi staroindickým *ardati* 'tečie' a *ardayati* 'macht fließen' (W—P, Vergl. Wört. I, 139). V tomže sémantickom vzťahu je staroindické *sarati* 'tečie, uteká' a príponou *-g-* odvodené *srjati, sarjati* 'leje'. Genetická totožnosť základov s významom 'liat' a základov významu 'tiecť', resp. 'utekať' dovoľuje geneticky stotožniť aj staroindické *javate* 'uteká' a *juhōti* 'leje (do ohňa), obetuje', hoci v prvom prípade ide o neaspirovaný základ *g'eu-*, v druhom prípade o aspirovaný *g'heu-*. Pretože základ *g'eu-* je

⁴ Porov. J. HVOZDZIK, Zovrubný slovník slovensko—maďarský a maďarsko—slovenský, zv. II, Košice 1933, str. 651, 115, 242.

obmedzený na oblasť indoiránsku, treba stratu aspirácie oproti *g'heu-* pokladať za druhotný jav vyvolaný disimiláčnými alebo inými činiteľmi.

S anglosaským a starosaským *risan* 'hýbať sa, dvíhať sa' je geneticky totožné starohornonemecké *rerjan* 'herablaufen machen, vergiessen' (W—P, Vergl. Wört. I, 140).

Na základe uvedených etymologických rovníc, ako aj na základe poznatku o častom striedaní likvid *r/l* v geneticky totožných indoeurópskych morfémech môžeme pri určovaní príbuzenských vzťahov slovesa *liať*, resp. praslovanského *lějo*, *lĵati* postaviť túto pracovnú zásadu: praslovanské sloveso *lějo*, *lĵati* s najbližšími paralelami litov. *lieju*, *lieti* 'liať' a lotyš. *leju*, *liet* 'liať' je geneticky príbuzné s tými indoeurópskymi slovesami základného významu 'tiecť, utekať, pohybovať sa', ktoré majú koreň buď *lei-* alebo *rei-*.

Základ *rei-* v uvedenom význame, ako aj v blízkych sémantických a formálnych odvodeninách je pomerne široko zastúpený v slovančine i v ostatných indoeurópskych jazykoch.

V slovančine je základ *rei-* v starších slovesných formách *ri-ŋo-ti* a *rĵati* využitý jednak **A.** ako základné pohybové sloveso s významom 'tiecť, plynúť, letieť', jednak **B.** ako kauzatívum s významom 'spôsobovať pohyb, dávať do pohybu' s variantmi **B₁** 'tlačiť, strkať, hnať', **B₂** 'hádzat'.

A.: české *rinouti*, slovenské *rinúť sa*, ukrajinské *rynuty*, ruské (knižné) *rejaty*, *reju* 'plynúť, vznášať sa, letieť'.

B₁: staroslovienske *rinoti*, *rĵati* 'trudere' (MIKLOSICH, Lexicon 800; 813), staroruské *rĵati* 'tolkať, rastalkivať, otgonjať' (Preobraž. II, 203).

B₂: ruské *rinutj* 'vrhať, hádzat', *rinut'sja* 'hodiť sa', bieloruské *rinuc*, bulharské *rina* 'hádzem, kydám(hnoj)'. Medzi ruským *rinutj*, bieloruským *rinuc* a bulharským *rina* na jednej strane a českým, slovenským *rinúť sa* na strane druhej je taký istý sémantický pomer ako medzi gréckym *βαλλω* 'hádzam' a staroindickým *galati* 'tečie'.

Základ *rei-* s uvedenými významami A i B pozná stará indičina: *rinati* 'necháva, dáva tiecť', *ni-rinati* 'ženie (nepriateľa)', *riyate* 'rozteká, rozlieva sa' a iné (PREOBRAŽ. II, 203. W—P Vergl. Wört. I, 139—140. MACHEK, 436).

Ovodený príponou *-s-* zastúpený je základ *rei-s-* v staroslovienskom *ristati* 'bežať, utekať', anglosaskom a starosaskom *risan* 'hýbať sa, dvíhať sa' (MIKLOSICH, Lexicon 800. FEIST, EWG 400—401).

Arménske *ari* 'vstávam', latinské *orior* 'dvíham sa, vstávam', grécke kauzatívum *ὀρίνω* 'dávam do pohybu, ženiem, pudím' svedčia o tom, že základ *rei-* nebol pôvodne v indoeurópeine koreňom, ale derivátom od prvotnejšieho koreňa *er-/or-*, resp. pred zánikom laryngál *Her-*. Derivát *Her-* + *-ei-* mal buď podobu *her-ĭ-* > *eri-*, *ori-* (latinské *orior*, grécke *ὀρίνω*, arm. *ari*), alebo podobu *Hrei-* > *rei-* (slovanské *ri-ŋo-ti*, staroindické *ri-na-ti* atď.).

Uzáver: Slovanské *lějo*, *lĵati*, resp. *lijo*, *liti* nie je v príbuzenskom pomere iba s litovskými slovesami *lieju*, *lieti* 'liať', *lija lytu* 'pršať' a lotyšskými *leju*, *liet* 'liať', *lija lit* 'pršať', ako sa v slovanských etymologických slovníkoch obyčajne uvádza (BRÜCKNER² 289, HOLUB—KOPEČNÝ 208, VASMER II 47, MACHEK 272). Na základe genetickej totožnosti slovies s významom 'liať' so slovesami s významom 'tiecť' a na základe poznatkov o striedaní likvid *r/l* v indoeurópskych jazykoch treba dať praslovanské *lei-/lēi-* 'liať' do príbuzenského pomeru s praslovanským *ri-ŋo-ti*, *rĵati* a s ich genetickými paralelami v iných indoeurópskych jazykoch. Tak, ako základ *lei-* mal striedanie *lei-/lēi-*,

aj základ *rei-* mal striedanie *rei-/rēi-*. V oboch prípadoch ide o základy sufixom *-ei-* odvodené od prvotnejšieho koreňa *er-/el-*, resp. pred zánikom laryngál *Her-/Hel-* 'pohybovať sa, utekať, tiecť'.

O tom, že striedanie *r/l* v základe *rei-/lei-* bolo zdedené z indoeurópy aj v praslovančine, svedčí skutočnosť, že popri podobe *ri-ŋo-ti* existovala aj podoba *li-ŋo-ti*, ktorá sa zachovala v starej poľštine ako *linać*, dnešné poľské *linać* (BRÜCKNER 303) a v slovenských nárečiach i v spisovnom jazyku ako *linút sa*⁵ popri podobe *rinút sa*. Slovenské slovesá *rinút sa*, *linút sa* a *liať* majú teda geneticky totožný koreň *rei-/lei-*. Výskyt striedania likvid v tomto koreni ako aj v mnohých iných prípadoch je dedičstvom fonologickej povahy likvid v indoeurópe.

V. Zdravý

Výklad pôvodu tohto všeslovanského slova (poľské *zdrow*, *zdrowy*, ruské *zdorov*, *zdorovyj*, bulharské *zdrav*, srbochorv. *zdrāv*, slovinské *zdrāv*, staroslovienske *sz dravz*), resp. jeho začlenenie v rámci príbuzných slov indoeurópskych jazykov prešlo v doterajšom vývine slavistiky viacerými metamorfózami. Ani jeden z doterajších výkladov úplne nezostarol. Všetky si zachovali v slovanských etymologických slovníkoch svoje „oprávnenie“. Pri dôkladnom kritickom rozbere sa však ukazuje, že ani jeden z doterajších výkladov úplne neuspokojuje. Všetky majú závažné nedostatky rázu sémantického, hláskoslovného alebo morfológického.

Najstarší a čiastočne ešte aj v novej dobe uznávaný etymologický výklad adjektíva *zdravý* nachádzame v slovníku MIKLOSICHOM pod heslom *dorvz* (MIKLOSICH, EWS 49). Druhú časť staroslovienskej podoby *sz-dravz* spája so staroindickým slovesným koreňom *dhar-* 'držať, upevňovať', a so substantívom *dharma* 'stálosť, pevnosť, norma, zákon'. S uvedenými staroindickými slovami súvisí podľa Miklosicha aj latinské adjektívum *firmus* 'pevný, silný'. Tento význam pokladá aj pri adjektíve *zdravý* za prvotný. Uvedeného výkladu sa pridrižoval aj A. MEILLET,⁶ avšak prvú časť *sz-* nepokladal za slovanský ekvivalent staroindického a gallského *su-*, gréckeho a avestského *hu-* 'dobré, veľmi', ale za perfektivizujúcu predponu praslovančiny: Obdobne na inom mieste⁷ konštatuje, že *sz-* v adjektíve *sz-dravz* označuje skončenosť, perfektívnosť deja, resp. slovesa, od ktorého je adjektívum utvorené. Poznomenáva však, že celá forma adjektíva nie je jasná, pretože sa nezachovalo nijaké sloveso, ktoré by dokazovalo deverbatívny morfológický postup pri vzniku tohto tvaru.

Podľa iného, dnes v slovanských etymologických slovníkoch najrozšírenejšieho, ale podľa nášho názoru najmenej pravdepodobného výkladu druhá

⁵ Porov.: „...a sladký mier i povzbudenie k ďalšiemu zápasu *linuly* z neho do môjho srdca.“ O. Kalina, *Sobrané práce*, zv. II, 1922, str. 6. „Odkiaľsi zhora, z druhého či z tretieho poschodia veže svätyně, akoby z nebies *linie sa* v skúpych lúčoch, vymoká, kvapká sivé, rozptylené svetlo.“ D. Tatarka, *Človek na cestách*, str. 230.

⁶ Mémoires de la société de linguistique de Paris, IX, str. 142. Podobne ERNOUT—MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris 1932, str. 337.

⁷ „... dans *sz-dravz* *νγυήσα* on M. Pedersen a proposé, sans raison décisive, devoir le correspondant de skr. *su-* "bien"; on entrevoit le sens: *sz-* marque ici encore l'achèvement, mais la formation n'est pas claire non plus, car aucun verbe n'est conservé qui en rende compte“. *Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave*. Paris 1902, str. 88.

časť *-dravz* v staroslovienskej forme *sđdravz* ako reflex predmetatetickej podoby *dorvz* je ablautovým variantom základu *derv-* (*o*). Čiže *sđ-dorvz* podľa tohto výkladu pôvodne značilo 'z dobrého dreva (vzniknutejší, vytvorený)', ergo 'pevný, silný'. Prvýkrát postavil túto etymologickú rovnicu jeden z hlavných predstaviteľov nemeckej mladogramatickej školy H. OSTHOFF (Ety-mologische Parerga. Leipzig 1901, str. 98). Tento Osthoffov výklad adjektíva *zdravý* reprodukováný ako jedine správny E. BERNEKEROM, nadobudol v slavistike skoro všeobecnú platnosť. Stalo sa tak najmä preto, že vyhovoval mladogramatickej požiadavke stavať etymologické rovnice na základe bez-výnimočne platných hláskových zákonov, čiže na pravidelných hláskových rezonanciách, a to aj na úkor významu. Z hľadiska formálne hláskového nemožno totiž tomuto výkladu nič podstatného vyčítať. Preto ho prijal napr. PREO-BRAŽENSKIJ (I, 247), TRAUTMANN (BSW 53), VASMER (REW, I, 450—451), a iní. Nakoniec prijali túto etymologickú rovnicu aj takí autori, ktorých určitú dobu znepokojovala. Napr. A. BRÜCKNER, 650. V konečných dôsledkoch aj MACHEK, 584. Postupuje však opatrne a v zhode s J. ZUBATÝM⁸ uvádza len staroperskú paralelu *duruva*, avestskú *drva-* vo význame 'pevný, zdravý', a staroindické *dhruvá-* 'pevný, stály'. MACHEK však vôbec nespomína, či uvedené indoíranske slová vzniknutejšie z nulového stupňa *drv-*, resp. *dru-* pokladá za geneticky totožné so základmi *derv-*, *dorv-*, *drev-*, *drov-*, *dru-*, využitými v rôznych indoeurópskych jazykoch na pomenovanie dreva, stromu: staroind. *daru*, avest. *dru-*, grécke *δορυ*, *δρυς*, praslovanské *dervo* a iné. Ak však zoberieme do úvahy skutočnosť, že v indoeuropeistike sa indoíranske *duruva-*, *drva-*, *dhruva* pokladajú za derivačné varianty koreňa *der-u-* s významom 'strom, drevo' (WALDE, LEW 414. BOISACQ, DEG 202. J. KURY-LOWICZ, L'apophonie en indoeuropéen, Wrocław 1956, 124), potom je v konečných dôsledkoch Machkova rovnica tá istá ako Osthoffova—Bernekerova. Ba ZUBATÝ na vyššie uvedenom mieste dokonca pričleňuje k tomuto koreňu aj staroindické *dhar-*, *dharma*, čím vlastne zlučuje etymologický výklad Miklosichov a Osthoffov.

Pri vzniku Osthoffovej—Bernekerovej etymológie slova *zdravý* hrali podľa nášho názoru dôležitú úlohu tieto momenty: 1. Staroslovienska grafická podoba *sđdravz*, ktorá priamo zvädzala k stotožneniu domnejšej predpony (?) *sđ-* so staroindickým a staroirským *su-*, gréckym a staroiranským *hu-*. 2. Etymológia gréckeho adjektíva *ὑγιής* 'zdravý'. Rekonštruuje sa totiž ako **suguiēs* s pôvodným významom 'dobře žijúci', ergo 'zdravý'.⁹ 3. Podceňovanie hláskovej podoby etymologizovaného slova v lužickej srbčine: *strowy*. Túto lužickú podobu uvádzali v etymologických slovníkoch aj MIKLOSICH aj BERNEKER, ale iba ako bezvýznamný appendix, predpokladajúc zaiste, že išlo o asimiláciu *sđrowy* > *strowy*. Ani Berneker ani Miklosich nepoznali ešte staropoľskú podobu *strowy* ani staroruskú podobu *storovy* v Novgorodských letopisoch.

Uvedená etymológia, resp. neakceptovanie lužickej podoby *strowy* pútaló pozornosť niektorých slavistov už dávnejšie. Hneď po vyjdení Bernekerovho slovníka BRÜCKNER upozornil¹⁰ pri lužickej podobe *strowy* na jej spojitosť so

⁸ ZUBATÝ J., Studie a články I. Praha 1945, str. 7—8.

⁹ F. DE SAUSSURE. Mémoires de la société de linguistique de Paris, VI, str. 161 n. Podobne Boisacq, DEG 997.

¹⁰ Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, 45, 1914, str. 40.

slovesom *strobíti* 'uzdravovať, liečiť' (porov. napr. slovenské *vystrábiť sa* s významom 'vyzdraviť sa, vyliečiť sa'). Brückner však videl vo forme *strowy* iba analogické vyrovnanie podľa slovesa *strobíti*, pričom nepredpokladal ich rovnaký pôvod. Naproti tomu V. MACHEK medzi adj. *zdravý* a sloveso *storbíti* postavil genetickú rovnicu.¹¹ Osthoffovu etymológiu neprijíma z dôvodov morfológických. Praslovanské kompozitá s prvou zložkou *sz-* majú totiž v základnej časti taký istý ablautový stupeň ako príslušné slová v samostatnom fungovaní: *sz-čestъje* ~ *čestъ*, *sz-ličъnъ* ~ *lice*, *sz-dobъnъ* ~ *podoba*, *sz-bogъje* ~ *bogъ*, *sz-řetja* ~ *řetje*, *sz-mrťъ* ~ lit. *mirtis* atď. Iba predpokladaná paralela *sz-dorvъ* ~ *dervo* oproti ostatným kompozitám daného rázu sa ukazuje ako protirečiaca uvedenej morfológicko-derivačnej zákonitosti. Pre túto nezohodu pomeru *szdorvъ* ~ *dervo* oproti ostatným kompozitám daného druhu zamietá MACHEK Osthoffovu—Bernekerovu rovnicu a rekonštruuje pre toto adjektívum praslovanskú podobu *storb-* > *storvъ*, späťú so slovesom *storbíti* ako kauzatívnu formou od slovesa *sterb-*, resp. *strъbnoti*, doloženú v ruštine: *sterbnuty* 'stvrdnúť', ukrajinčine: *osterbnuty* 'zosilniť'. Predpokladanú zmenu *storb-* > *storvъ* vysvetľuje MACHEK analogickým výrovnaním podľa slova *živъ*, s ktorým sa pomenovanie *zdravý* asocjuje a pomerne často vyskytuje.

Lužickú podobu *strowy* pokladá teda Machek za historicky, chronologicky staršiu a formy so začiatočným *zdr-* (*zdravý*, *zdrowy*, *zdorovy*) za neskoršie. vznikuvsie asimilácii *str-* > *zdr-* a tlakom fonetického začiatku slova *živý*.

Uvedený Machkov etymologický výklad prebrali ako najpravdepodobnejší HOLUB—KOPĚČNÝ, 434. Sám MACHEK sa ho však zriekol, a to pravdepodobne z dôvodov formálnych, hláskových. V svojom Etymologickom slovníku jazyka českého a slovenského sa vrátil k výkladu staršiemu (str. 584). Predpokladaná praslovanská podoba *sz-dorvъ* je genetickým ekvivalentom staroperského *duruva-*, avestského *drva*, staroind. *dhruva* 'pevný'. Nezohodu v ablaute, totiž predpokladaný plný stupeň *-dorvъ* oproti indo-iránskeму pôvodnému nulovému stupňu *dr̥u-*, resp. *dru-* snaží sa Machek vysvetliť tak, že vraj aj praslovančina mala pôvodne *sz-dr̥vъ*, resp. *sz-dr̥vъ*, teda nulový stupeň, ale vplyvom synonymného slova *kojlos* > *čělъ* sa vraj ešte v období existencie diftongu *-oi-* v slove *kojlos* (plný stupeň) aj nulový stupeň *dr̥-* zmenil na plný stupeň *dorv-*. Tento výklad pokladáme za skrz-naskrz umelý, nepravdepodobný.

Formálne i významové nedostatky doterajších etymologických výkladov adjektíva *zdravý* nás pobádajú k pokusu o nový, sémanticky i hláskove, najmä však sémanticky vyhovujúcejší výklad. Z doterajších výkladov, a to najmä Machkových, si ponecháme iba dva poznatky:

1. V staroslovienskej grafike *szdravъ* nejde o skutočnú podobu *sz* < *su-*. V podobe *szdravъ* ide o hypertrofiu vsúvania jeru v dôsledku kombinatórnych ťažkostí.

2. Skupina spoluhlások *zdr-* v dnešných slovanských formách tohto slova je historicky sekundárna. Prvotnou v pomere k uvedeným podobná je začiatočná podoba *str-*.

Dôležitým momentom, ktorý pomáha prísť na správnu stopu genetickej rovnici tohto slovanského adjektíva, je jeho významová dvojčlennosť v staršom období slovanských jazykov, napr. poľštiny. Na základe historických dokladov možno tvrdiť, že toto adjektívum sa okrem významu 'zdravý'

¹¹ Recueil linguistique de Bratislava I, 1948, str. 108 n.

používalo aj vo význame 'celý, neporušený, zachovaný'. S. B. LINDE v bohatom historickom dokladovom materiáli pod heslom *zdrów* uvádza¹² aj významy 'bez szkody, cały, unversehrt, unbeschädigt, unverletzt'. Na uvedený význam má napr. tieto doklady: 1. Noe został od potopu zdrowy. 2. Obiecujemy koronę zawždy całą, zdrową i nie umiejszoną zachować. 3. Żaden ką od pogańskiej s chłopskiej nawały we wszystkiej Rusi zdrowy nie został i cały.

Prítomnosť významu 'celý' v slovanskom adjektíve *zdravý* je v súlade so značne všeobecne rozšíreným javom zistiteľným v indoeurópskych i neindoeurópskych jazykoch: pomerne abstraktný význam 'zdravý' vznikal na základe konkrétnejšieho významu 'celý, neporušený'. Svedčí o tom viacej pomenovaní zdravia nielen v našich, ale aj v neindoeurópskych jazykoch.

Napríklad maďarské *egész* 'celý'. Od tohto adjektíva má maďarčina pomocou sufixu pre abstraktné stavové substantíva *-ság/-ség* odvodené substantívum *egészség* s dnešným významom 'zdravie', ale morfológický postup svedčí o tom, že tu musel byť starší význam 'celosť'. Od substantíva *egészség* je odvodené adjektívum *egészséges*, ktoré má už význam iba 'zdravý'.¹³ Podobne aj maďarské synonymné slovo *ép* má dva základné významy 1. 'totus, perfectus, integer, ganz', 2. 'sanus mente et corpore, gesund, unverletzt' (GOMBOCZ—MELICH, Magyar etymológiai szótár, I. kötet. Budapest 1914—1930, str. 1577).

Aj indoeurópske jazyky potvrdzujú túto sémantickú dvojjednosť. Pri staroslovienskom *цѣль* uvádza MIKLOSICH (Lexicon 1107) dva základné latinské ekvivalenty: 1. 'totus, integer', 2. 'sanus, salvus'. Gótske *hails* znamenalo síce iba 'gesund, heil', ale *ga-hails* malo už význam 'ganz, unverletzt' (FEIST, EWG 171).

V starej indičtine adj. *sarvas* malo význam 'neporušený, celý, všetok', ale substantívum *sarvatatis* malo už dva významy: 1. 'celosť', 2. 'zdravie'. Podobne arménske *olj*, ktorému sa pripisuje ten istý pôvod ako staroind. *sarvas* a latinskému *salvus*, má podľa HÜBSCHMANN¹⁴ i BOISACQA (DEG 699) obidva významy. Iba staroiránsky a grécky pendant týchto indoeurópskych slov má iba starší, konkrétnejší význam. A. FICK¹⁵ má pri avestskom *haruva* a staroperskom *haruwa* iba význam 'all, ganz'. Podobne BOISACQ (DEG 699) pod heslom *δλος* má iba 'entier, intact'. Avšak naproti tomu grécke *σάος* (iného pôvodu) má už obidva významy: 'sain et sauf, intact, bien conservé, sur' (BOISACQ, DEG 852). V etymologickom slovníku latinčiny od autorov ERNOUT—MILLET pod heslom *salvus* figurujú taktiež dva základné významy: 1. 'celý, neporušený', 2. 'zdravý'.

Pre indoeurópske slová staroindické *sarvas*, *sarvatatis*, staroperské *haruva*, grécke *δλος* < *solfos* sa rekonštruuje praindoeurópsky základ *solu-*, resp. pri nulovom stupni koreňa *slou-*, *slu-*.

Vychádzajúc z teórie, že likvidy *r*, *l* boli pôvodne v indoeurópskej variante jednej fonémy, môžeme temer s istotou predpokladať, že aj základ *solu-* 'zdravý' existoval vo variante *soru-*, resp. v jasnom ablautovom timbri *seru-*. Tento náš predpoklad nie je čisto teoretický. Má oporu v indoeurópskom

¹² S. B. LINDE, Słownik języka polskiego, VI, str. 864.

¹³ Porov. BÁRCZI G., Magyar szófajtó szótár, Budapest 1941, str. 58.

¹⁴ Indogermanische Forschungen XIX, 1905, str. 476.

¹⁵ A. FICK, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen, I. Göttingen 1870, str. 320.

slovnom materiáli, konkrétne v latinskom a hetickom, a ako ukážeme, aj v slovanskom.

Na základe temného ablautového stupňa *solu-* pri adjektíve môžeme predpokladať základ s jasným ablautovým stupňom *selu-* pri slovese zodpovedajúcom významove, teda pri slovese s významom 'byť v celosti, byť v zdraví', resp. 'zachovať v celosti, v zdraví'. Existencia tohto základu je konkrétne doložená v latinčine, avšak nie vo variante *selu-*, ale vo variante *seru-*, čo pri veľkom množstve alternácie *r/l* v indoeurópej nemôže prekvapovať. Latinské *servare* znamená skutočne 'zachovať v celosti, v zdraví' ('unversehrt bewahren, assurer le salut').

Lexikálna sémantická zhoda latinského adj. *salvus* s latinským slovesom *servare* svedčí pri uplatnení poznatku o striedaní likví *r/l* v geneticky totožných morfédoch jednoznačne o tom, že doterajšie etymologické spájanie latinského slovesa *servare* so substantívom *servus* 'sluha' je neopodstatnené. Už BRUGMANN odtrhol od seba *servare* a *servus*¹⁶ pri etymologickom výklade subst. *servus* 'sluha' z indoeurópskeho základu *ser-u-* 'utekať'. Podobne aj MEILLET k hľadaniu spoločného významového prvku medzi *servare* a *servus* poznamenáva, že „... les deux mots n'avaient plus rien de commun; les explications, qu'ils donnent pour rapprocher les deux mots sont de fantaisie".¹⁷ K Meilletovmu konštatovaniu však treba dodať, že slová *servus* a *servare* nemali nič spoločného nielen v latinčine, ale nikdy nemali sémanticky nič spoločného, pretože majú úplne iný pôvod.

Spájanie slov *servare* a *servus* je jedným z mnohých a rukolapných dôkazov toho, ako sa v mladogramaticky orientovanom etymologickom bádani preceňovalo formálne kritérium na úkor kritéria významového. Pri uplatnení sémantického hľadiska ako rovnocenne dôležitého nemožno nespájať latinské sloveso *servare* s latinským adj. *salvus*. Spájaniu týchto slov však prekážala nezhoda likví *r/l*, ktorú mladogramatici pre geneticky totožné slová nepripúšťali buď vôbec, alebo len v minimálnej miere, predpokladajúc disimiláciu. Táto alternácia, ako ukazuje veľké množstvo indoeurópskeho jazykového materiálu, nemôže však byť prekážkou pre etymologickú identifikáciu slov, ak tieto slová si sémanticky zodpovedajú.

Ak vychádzame z BENVENISTOVEJ koncepcie⁸ stavby indoeurópskeho koreňa, musíme základy *solu-*, *seru-* pokladať za deriváty, čiže prvok *-u-* pokladať za sufix. Morfológické zloženie základu *solv-* teda bolo koreň *sol-* + sufix *-u-*, resp. pri *servare* *ser-* + *-u-*. O tom, že adjektívum *salvus* je derivátom od koreňa *sol-*, svedčia medziiným aj PORZIGOVE rekonštrukcie rôznych derivačných variantov daného koreňa na indoeurópskom jazykovom území. PORZIG píše, že tento koreň bol všeobecne indoeurópsky: „... das gemein idg. Wort, das in den verschiedenen Formen *solos (it., alb.) *solios (arm., kelt.) *solnos (it.) soluos (ar. gr.) selouos (it.) und toch. A salu B solme allgemein verbreitet ist" (PORZIG, Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebietes. Heidelberg 1954, str. 141—142).

¹⁶ K. BRUGMANN, Zu den Benennungen der Personen des Dienenden Standes in den indogermanischen Sprachen. Indogermanische Forschungen XIX, 1906, str. 383.

¹⁷ ERNOUT—MEILLET, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Paris 1932 Str. 892.

¹⁸ E. BENVENISTE, Origines de la formation des noms en indo-européen. Paris 1935. Ruský preklad Indojevropeskoje imennoje slovoobrazovanije. Moskva 1955, str 178—204.

O tom, že základ *sol-u-/sel-u-* existoval aj vo variante *ser-u-/sor-u-*, svedčí okrem latinského slovesa *servare* aj hetičtina. BENVENISTE pre hetické sloveso *šar-ni-ik-zi* s významom 'necháva v celosti, v zdraví' rekonštruuje základ *ser-k-*, resp. *sr-ek-* s prízneným nosovým infixom *-n- : sr-n-ek-*. V hetickom základe *ser-k-/sr-ek-* ide teda o ten istý koreň ako v latinskom *servare*, iba odvodenie je iné.

Sémantická zhoda latinského *servare*, hetického *šark* < *šerk* < *serk* 'zachovať v celosti, zdraví' s adjektívom *solu-* s pôvodnejším konkrétnym významom 'celý, neporušený' je svedectvom toho, že indoeurópsky základ *solu-/selu-* existoval aj v *r*-ovom variante *soru-/seru-*.

Aký mal osud vo vývine praslovanejiny a slovanských nárečí základ *soru-* ako *r*-ový variant indoeurópskeho základu *solu-* 'celý, zdravý'?

Podľa novších výkladov (porv. napr. F. V. MAREŠ, *Slavia* XXV, 1956, č. 4, str. 456—464) treba vývin praslovanských diftongických skupín *er, el, or, ol* v zatvorených slabikách chápať a vykladať tak, ako sa vykladá vývin diftongických skupín *eĭ... , em... ,* totiž ako monoftongizáciu. Zatvorená slabika *or* napr. v slove *gorǫb* sa v starších fázach vývinu praslovanejiny odstránila tak, že sonóra *r* nadobudla povahu vokalickej fonémy *r̥* a „obložila sa“ vokalickými prvkami nefonologickej povahy takého timbru, aký mala samohláska v danej diftongickej skupine. Uvedené slovo *gorǫb* malo podľa tohto chápania tento vývin: *gorǫb* > *gorǫd̥b*, resp. *gorǫd̥b*.²⁰ Táto zmena, otvorenie slabiky nastalo ešte v staršej fáze vývinu praslovanejiny a bolo na celom slovanskom území rovnaké. Až v mladšej fáze, asi v období 6.—9. storočia, teda až po rozchode Slovanov z pravlasti na jednom (východoslovanskom) území, sa fonologizovali oba vokalickej prvky a sonóra nadobudla spoluhláskovú povahu, čiže *gorǫd̥b* > *gorod̥b*. V inej oblasti (severozápadoslovanskej) sa fonologizoval iba vokál za sonórou, kým predsonórny vokál sa eliminoval: *gorǫd̥b* > *grod̥b*. V tretej oblasti, južnej, sa oba vokalickej prvky skoncentrovali za nosórou, *oo* sa kontrahovalo na *ā*: *gorǫd̥b* > *grod̥āb* > *grǫd̥āb* > *grad̥āb*.

Ak vychádzame z takéhoto výkladu praslovanskej „metatézy“, zdedený základ *soru-* ako *r*-ový variant základu *solu-* 'celý, zdravý' nadobudol po odstránení diftongu *-or-* podobu *soryu-*. Z hľadiska fonologického v základe *soryu-* spiranta *s* a likvida *r* stáli vedľa seba podobne ako napr. v základe *srou-* 'tiecť, tok' (praslovanské *struga, struja, strumenb* 'tok, rieka'). Naproti tomu z hľadiska čisto fonetického medzi spirantou a likvidou bol ešte vokalickej nefonologický prvok *o*. Týmto protirečením medzi fonologickou a fonetickou kombináciou hlások možno vysvetliť ten jav z vývinu praslovanejiny, že v skupinách typu *serr-/sorr*.²¹ po otvorení slabiky, čiže po zmene *serr-* > *serer-*, resp. *sorr-* > *soror-* v niektorých prípadoch nastáva vsúvanie *-t-* do skupiny *serer-/soror-*, čiže vzniká *sterrer-/storor-*, kým v iných prípadoch toto vsúvanie nenastalo.

¹⁹ E. BENVENISTE, *ibid.* 187.

²⁰ Tým, že po otvorení slabiky, resp. po prozodickej vokalizácii likvidy *r* vo vývine *gorǫb* > *gorǫd̥b* dávame sprievodný vokál do vyššej polohy, choeme naznačiť iba to, že nemal fonologickú platnosť riadneho vokálu. Týmto označením vokálu sa vôbec nedotýkame jeho fonetickej povahy, jeho plnej či trochu redukovanej výslovnosti. Kvôli tradícii označujeme patričný vokál ako *o*, hoci ináč súhlasíme s názorom MAREŠA (*Slavia* XXV, 1956, č. 4, str. 446—448), že v praslovanejine nielen indoeurópske *ō, ā* > *a*, ale aj *o, a* > *a*.

²¹ Znakom *T* označujeme hociaký konsonant alebo sonóru okrem *r, l*.

Pretože praslovančina nezdedila z indoeurópciny veľa základov typu *serr-/sorr-* (ide iba o základy s pôvodným indoeurópskym začiatočným *s-*!), nemožno tu uviesť ani veľa príkladov.

Porovnanie litovského slovesa *sergmi* ~ *sergu*, *sergti* 'striect', 'strážiť' (Trautmann, BSW 257—258) so staroslovienským *stręgo*, *stręšti*, staroruským *steregu*, *sterečb* jednoznačne svedčí o tom, že baltoslovanský základ *serg-* 'striect', 'strážiť' mal v praslovančine tento vývin: *serg-* > *seręg-* > *stęreg-* > 1. *stereg-*, 2. *streg-*, 3. *stręg-*.

Obdobný vývin ako základ *serg-* 'strážiť' mal aj základ *sorų-* 'zdravý, celý'. Schematicky možno vývin tohto základu v praslovančine znázorniť takto: *sorų-* > *sořou-* > *storou-* > 1. *storov-* (stará ruština), 2. *strov-* (stará poľština, lužická srbčina) a 3. **strav-* (južné jazyky). Slovanské varianty *storov-*, *strov-* sú konkrétne doložené, kým južná varianta doložená nie je.

Ako uvádza PORZIG, indoeurópsky koreň *sol-* 'celý, zdravý' mal v indoeurópskej jazykovej oblasti rôzne deriváty: *solų-*, *solį-*, *soln-*.²² Niet teda dôvodov nepredpokladať, že aj jeho variant *sor-* mal okrem derivátu *sorų-* aj deriváty iné. Slovančina ukazuje, že skutočne mal. Išlo o derivát *sorb-*, ktorý sa na praslovanskom území vyvíjal obdobne ako derivát *sorų-*, čiže *sorb-* > *sořob-* > *storob-*, z ktorého vznikli pravidelné varianty *storob-* (staroruské *ustorobitisja* 'uzdraviť sa'), *strab-* (slovenské *vystrábiť sa* 'vyzdraviť sa, vyliečiť sa').

Oproti uvedeným prípadom, v ktorých vsunutie *-t-* nastalo, sú aj prípady, v ktorých sa *-t-* nevsunulo. Ide napr. o praslovanský predmetatetický základ *sorg-* 'strašný',²³ ktoré má starosloviensky reflex *sragъ* 'terribilis, φοβερος' (MIKLOSICH, Lexicon 873), poľské *srogi* 'strašný, strach budiaci, prísny'. Poľské *srogi* bolo prevzaté do ruštiny ako *strogij* a z ruštiny do češtiny ako *strohý*. Rozdiel vo vývine základu *serg-/sorg-* 'strážiť, stráž' (litovské *sergiu*, *sargas*, *sarga*, české *střehu*, *ostraha*, ukrajin. *steregu*, *ostoroga*) so vsunutím *-t-* oproti základu *sorg-* 'strašný' bez vsunutia *t* (ruské *strogij* je novšieho dáta!) bol podmienený pravdepodobne nebezpečenstvom homonymie. Polysémantický ráz morfému je totiž často vo vývine „zdrojom“ formálnej diferenciacie daných morfému, zdrojom ich rozdielneho hláskového vývinu.²⁴ Pritom, ako sme uviedli, rozdielnemu vývinu morfému *serg-/sorg-* 'strážiť, stráž' a *sorg-* 'strašný', napomáhala aj protirečenie medzi fonologickou a fonetickou kombinatorikou v uvedených základoch po otvorení slabiky.

Ak tu hovoríme o vývine skupín *serr-/sorr-* v praslovančine, máme na mysli len také základy, v ktorých spiranta *s* bola zdedená z indoeurópciny. V takých prípadoch, keď slovanskému *s* zodpovedá litovské *š*, čiže ak slovanské *s* vzniklo z indoeurópskeho *k*, napr. *kerd-* > *sverd-* > *serd-* 'stred, streda', v praslovančine vsúvanie *t* obyčajne nenastávalo po otvorení slabiky. Svedčilo by to o skutočnosti, že v období, keď v starších fázach vývinu praslovančiny prebiehala monoftongizácia skupín *ei... em... er...*, bol ešte

²² W. PORZIG, Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets, str. 141, 142

²³ Etymológiu praslov. *sorgъ*, resp. starosloviensk. *sragъ* 'strašný' pozri v štúdiu K etymologickému výkladu indoeurópskych pomenovaní strachu. Jazykovedný časopis SAV, X, 1959, č. 1, str. 7—20.

²⁴ Homonymiu ako činiteľa, ktorý navodzuje „nepravidelné“ zmeny vo vývine hláskového zloženia slov, spomína najnovšie V. V. VINOGRADOV v štúdiu Ob omonimii i smežnych javlenijach. Voprosy jazykoznanija, 1960, č. 5, str. 3. Podobne aj J. KURYŁOWICZ: „Le caractère multifonctionnel des morphèmes est une cause constante de leur différenciation formelle” (L'apophonie en indo-européen, str. 12).

v praslovančine fonetický rozdiel medzi pôvodným, z indoeurópejiny zdedeným *s* a starším praslovanským reflexom za indoeurópske palatálne *k̄*. Problém tohto rozdielného vývinu skupín typu *ser-* od skupín typu *sxerr-* < *kerr-* nadhodil už Torbiörnsson (Die gemeinslavische Liquidametathese. Upsala 1901—1903).

Východoslovanská podoba *storovъ* ako reflex indoeurópskeho základu *suru-* 'celý, zdravý' je doložená v starej ruštine. Existuje napr. v Novgorodskej kronike: „Ide křížъ Gjurgi Andrejevichъ съ novgorodci... kyjevu... i stojaše pod Vyšegorodomъ žъ nѣ, i pridoša storovi vsi Novugorodu.” Na inom mieste: „Chodiša na Jemъ molodъci o Vyšatě i pridoša... storovi, dobyvše polona...”²⁵

Podobne aj stará poľština poznala podobu strowy. A. BRÜCKNER uvádza, že „... obók zdrów są postaci z st... nasze wyjątkowe strowie (w 15. wieku), Strowski” (A. Brückner, 650). Podobne aj M. VASMER spomína (Gniazd. kázne) podobu *strowy* (REW, 19. Lieferung, str. 20). V lužickej srbčine je forma *strowy* zachovaná plne dodnes: *strowy, strowe, strowiš* ap.²⁶

Na základe staroruského *stórovъ*, severoslovanského *strovъ* čakali by sme aj v južnej slovanskej oblasti podobu *stravъ*. Tá však doložená nie je. Tak v starej češtine ako aj v južných jazykoch je však doložená forma *sdrav-*. Starosloviencina má podobu *sdravъ*. Ako vykladať rieto podoby?

Slovanský jazykový materiál ukazuje, že vo vývine slovančiny nastávala sporadicky v susedstve likvid asimilácia neznelých spoluhlások na znelé. Prípadov typu praslov. *tvrdъ* oproti litovskému *tvirtas* 'tvrdý' je značný počet (porov. V. VONDRÁK, Vergleichende slavische Grammatik², I, 412—413). Týmto druhom asimilačných zmien možno vysvetliť aj rozdiel medzi staroslovienským *nozdrī* 'Nasenhöcher, Nüster' a litovským *nasrai* t/v. Litovská nárečová podoba *nastrai* (MACHEK 328, heslo *nozdra*) svedčí o tom, že v praslovančine tu prebehol proces *nosri* > *nostri* > *nozdrī*. Obdobný asimilačný proces nastával aj v prebratých slovách. Porov. napr. staroslovienske *chozdroi* oproti *chosroēs* (MIKLOSICH, Lexicon 1093).

Skupina spoluhlások *zdr* ako výsledok asimilácie *-sr-* > *-str-* > *-zdr-* alebo *-sr-* > *-zr-* > *-zdr-* uprostred slova zostala zachovaná. Naproti tomu výsledky asimilácie *str* > *zdr* na začiatku slova majú vo výsledkoch značné nepravidelnosti, vysvetliteľné fonologickou kombinatorikou spoluhlások na začiatku slova. Popri poľskom *strętwiałość, strętwiały* existujú nielen podoby *zdrętwiałość, zdrętwiały*, ale aj *drętwość, drętwić* (Linde, VI, 991). Slovenskému *drevla* zodpovedá české *střeve* (MACHEK 480). Dnešné české *dřez* malo v starej češtine aj podobu *střez* (MACHEK 98). Podobne české *dřeň* je zo staršej podoby *střeň* (MACHEK 478).

Uvedené sporadické striedanie *str-* / *zdr-* / *dr-* súvisí s tým, že slovančina do zániku jerov a určitú dobu aj po zániku jerov nepoznala na začiatku slova fonologickú skupinu spoluhlások *zdr-*. Výsledok asimilačného pochodu *str-* > *zdr-*, ktorý bol javom čisto fonetickým, bol pod tlakom fonologických zákonitostí často odstraňovaný tým, že zo skupiny *sdr-* (alebo už *zdr-*) začiatočná spoluhláska odpadla. V tomto protirečení medzi asimilačným, teda fonetickým procesom a fonologickými zákonitosťami slovančiny pred zánikom

²⁵ I. I. SREZNEVSKIJ, Materialy dlja slovarja drevnerusskogo jazyka po pismennym pamjatnikam, III, str. 521.

²⁶ E. MUKA, Slovar' nižne-lužickago jazyka i jego narečij, tom II, 541—2.

a čiastočne aj po zániku jerov treba hľadať kľúč aj k vysvetleniu rozdielu medzi slovanskými podobami *strov-*, *storov-* na jednej strane a podobami *zdrav-*, resp. staroslovienským *szdravъ* na strane druhej.

Existenciu staročeských podôb *sde*, *tbáti* ap. vykladá J. VACHEK²⁷ tak, že uvedené podoby odrážajú stav, keď síce z hľadiska znelosti už nastala asimilácia, ale z hľadiska napätosti (protiklad *fortis* — *lenis*) zostala zachovaná stará fortisová výslovnosť. Sme toho názoru, že takto možno vysvetliť aj podoby *sdrav-*, resp. staroslovienskej *szdravъ*. Ako?

Staršia podoba *strav-* sa asimilovala na *sdrav-* > *zdrav-*. Pretože však slovančina nepoznala fonologickú skupinu *zdr-* na začiatku slova, asimilácia *sdr-* > *zdr-* zostala „na polceste“. Začiatočná spoluhláska sa znelostne pod tlakom asimilácie (fonetického procesu!) prispôsobila, ale pod tlakom fonologických zákonitostí si zachovala svoju fortisovú výslovnosť, čiže vznikla podoba *szdrav-* (pomocou *ʃ-* podľa Vachka označujeme znelú, ale fortisovú spirantu). Pretože vo fonologickom systéme slovančiny neexistovali znelé fortisové spoluhlásky ako nezávislé fonémy, v grafickom zaznačení podoby *szdrav-* vznikli ťažkosti. Staroslovienska grafika *szdravъ* je odrazom práve týchto ťažkostí. Označenie *ʃ-* ako *s* je podľa nášho názoru rozložením fonetických vlastností spoluhlásky *ʃ-*. Pomocou *s-* sa označila jej fortisovosť, ale pomocou pripojeného *z* jej znelosť. V staroslovienskej podobe *szdravъ* nejde teda o skutočný jer!²⁸

Okolnosť, že aj východná slovančina má *zdorov-* (popri staroruskom variante *storov-*) zdá sa nasvedčovať tomu, že asimilácia *str-* > *szdr-*, resp. *zdr-* nastala ešte v tom vývinovom období slovančiny, keď otvorenie slabiky v procese „metatézy“ bolo v stave *storoŋ-*, čiže keď ešte fonologicky bolo *st-* vedľa nasledujúceho *-r-* na celom slovanskom území. Išlo teda o proces *soroŋ-* > *storoŋ-* > *szdoroŋ-*/*zdoroŋ-*, z čoho konečné varianty *zdorovъ*, *zdrovъ*, *zdravъ*.²⁹

²⁷ JOSEF VACHEK, K znelostnému protikladu souhlásek v češtině a angličtině. Studie ze slovanské jazykovedy. Praha 1958, str. 15—27.

²⁸ Porov. aj konštatovanie V. Machka v Recueil linguistique de Bratislava, 1948, str. 110.

²⁹ V štúdiu sme používali tieto skratky: BOISACQ DEG = BOISACQ ÉMIL, Dictionnaire étymologique de la langue grecque², Paris 1923. BRÜCKNER = BRÜCKNER ALEXANDER, Słownik etymologiczny języka polskiego², Warszawa 1957. FEIST EWG = FEIST SIGMUND, Etymologisches Wörterbuch der gotischen Sprache², Halle 1923. HOLUB—KOPEČNÝ = HOLUB I.—KOPEČNÝ F., Etymologický slovník jazyka českého, Praha 1952. MACHEK = MACHEK VÁCLAV, Etymologický slovník jazyka českého a slovenského, Praha 1957. MIKLOSICH, Lexicon = MIKLOSICH FRANZ, Lexicon palaeoslovenico—graeco—latinum. Vindobonae 1862—1865. MIKLOSICH EWS = MIKLOSICH FRANZ, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen, Wien 1886. PREOBRAŽ. = = PREOBRAŽENSKIJ A., Etimologičeskij slovar ruskogo jazyka I, II 1910—1914, III 1949. TRAUTMANN BSW = TRAUTMANN R., Baltisch—Slavisches Wörterbuch, Göttingen 1923. VASMER REW = Russisches etymologisches Wörterbuch, Göttingen 1950—1958. WALDE LEW = WALDE A., Lateinisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1910. W—P, Vergl. Wört. = WALDE A.—POKORNY I., Vergleichendes Wörterbuch der indo-germanischen Sprachen, I—III, 1927—1932, Berlin—Leipzig.

Дало ли венгерское -ó славянское -ov?*

Б. ШУЛАН

1.

При изучении венгерских лексических заимствований в славянских языках бросается в глаза, что современному венгерскому конечному -ó в славянских языках соответствуют сочетания -ov ~ -ov. Следует заметить, что речь идет о славянских языках, соседних с венгерской языковой территорией.

Приведем несколько примеров.

А. Примеры из словацкого языка:

а) С территории словацко-венгерской языковой границы (Гемерская область): *čákou* (~ в. *csákó*) 'кивер' | *čavargou* (~ в. *savargó*) 'блуждающий, бродяга' | *čikou* (~ в. *csikó*) 'жеребенок' | *čotou* (~ в. *csotó*) 'узел' | *čurgou* (~ в. *szurgó*) 'сток, стечь' | *digóhúzou* (~ в. *digóhúzó*) 'штопор' | *hidegvágou* (~ в. *hidegvágó*) 'холодное зубило, зубило для металла' | *hízou* (~ в. *hízó*) 'откармливаемая свинья' | *hintou* (~ в. *hintó*) 'коляска' | *rindžou* (~ в. *ringyó*) 'распутница' и т. д.

В данном словацком диалекте в окончании некоторых заимствований наблюдается колебание: *bagó* ~ *bagou* (~ в. *bagó*) 'жевательный табак' | *dongó* ~ *dongou* (~ в. *dongó*) 'шмель' | *hajó* ~ *hajou* (~ в. *hajó*) 'корабль' | *húzó* ~ *húzou* (~ в. *hízó*) 'тягловый' | *koró* ~ *korou* (~ в. *koró*) 'собака-ищейка' | *ločogó* ~ *ločogou* (~ в. *loczogó*) 'лейка' | *takaró* ~ *takarou* (~ в. *takaró*) 'одеяло' | *váló* ~ *válo* (~ в. *váló*) 'кормушка'.

Некоторые заимствования имеют конечное -ó, известное из современного общевенгерского языка, например: *čomaktartó* (~ в. *csomagtartó*) 'сетка для вещей, приспособление для вещей (напр. в железнодорожных вагонах)' | *kandaló* (~ в. *kandaló*) 'камин' | *kaparó* (~ в. *kaparó*) 'скребок' | *lopó* (~ в. *lopó*) 'ливер' | *rakodó* (~ в. *rakodó*) 'рампа' | *roló* (~ в. *roló*) 'штора' | *szolgabíró* (~ в. *szolgabíró*) 'исправник' | *tízoltó* (~ в. *tűzoltó*) 'пожарник'.¹

б) Примеры из словацких говоров, находящихся внутри венгерской языковой территории, главным образом из говоров района г. Сарваш: *adó* (~ в. *adó*) 'дань' | *akov* (~ в. *akó*) 'единица меры жидкости: обыкновенно

* Несколько измененный текст доклада, зачитанного автором весной 1959 г. в Славянской секции Венгерского лингвистического общества в Будапеште и летом того же года на заседании Кружка польских лингвистов в Варшаве.

¹ Ср. JOZEF SZABÓ, *Maďarské elementy v slovenských nárečiach v Gemeri*. *Linguistica Slovaca* I, стр. 183—189.

полгектолитра, иногда и 80 литров' | *ásov* (~ в. *ásó*) 'заступ' | *bitov* (~ в. *bitó*) 'виселица' | *cipov* ~ *cipov* (~ в. *cipó*) 'колобок' | *čákov* (~ в. *csákó*) 'кивер' | *depov* (~ в. *depó*) 'кабак', первоначальное значение в венгерском — 'склад' | *dongov* ~ *dongov* (~ в. *dongó*) 'шмель' | *forgov* ~ *forgov* (~ в. *forgó*) 'букет или перо, служащее для украшения головного убора мужчин' | *gubov* (~ в. *gubó*) 'кокон' | *hajtov* (~ в. *hajtó*) 'погонщик' | *hajov* (~ в. *hajó*) 'корабль' | *hálav* (~ в. *háló*) 'сеть, рыболовная сеть' | *hernov* (~ в. *hernyó*) 'гусеница' | *kišbírov* (~ в. *kisbíró*) 'помошник старосты' | *lougov* ~ *lougov* (~ в. *lógó*) 'валек у пристяжки' | *lopov* (~ в. *lopó*) 'ливер' | *ňaklov* (~ в. *nyakló*) 'веревка или ремень, при помощи которого дышло прикреплено к шее коня' | *palov* (~ в. *palló*) 'мостик, перекладка' | *šejtálov* (~ в. *sétáló*) 'маятник у специального рода настенных часов'; (неизвестное в словацком языке *é* обыкновенно субституируется гласным *i*, *e*, или же дифтонгом *ei*) | *šíratov* ~ *šíratov* (~ в. *sirató*) 'плач (при похоронах)' | *sečkavágov* (~ в. *szecskevágó*) 'соломорезка'; (первый компонент данного сложного венгерского слова представляет собой заимствование из славянского **sečьka*, а второй — это форма причастия настоящего времени действительного залога от венгерского глагола *vág(-ni)* 'резать') | *sikšov* ~ *sikšov* (~ в. *széksó* ~ *sziksó*) 'натуральная сода' | *surkalov* (~ в. *[pípa]szurkáló*) 'ковырялка для курительной трубки' | *vontatov* (~ в. *vontató*) 'куча (сена, соломы и т. д.)' | *začkov* (~ в. *zacskó*) 'мешок, фунтик, кулек' и т. д.²

Б. Примеры из закарпатских украинских говоров:

akiv, род. п. *akova* (~ в. *akó*) 'полгектолитр' | *aršiv* род. п. *aršova* (в дальнейшем не приводим форму род. п., которая в открытом слоге сохраняет -o) — (~ в. *ásó*) 'заступ'; (в украинском варианте *r* является анорганическим согласным, развившимся в позиции перед *š*) | *bagiv* (~ в. *bagó*) 'жевательный табак' | *beróv* (~ в. *biró*) 'сельский староста', 'судья' | *čjipiv* (~ в. *cipó*) 'колобок, булка' | *čumiv* (~ в. *csomó*) 'узел' | *forgiv* (~ в. *forgó*) 'букет или перо, служащее для украшения головного убора мужчин' | *hintiv* (~ в. *hintó*) 'коляска' | *kapiv* (~ в. *kapó*) 'род игры с мячом' | *kopiv* (~ в. *kopó*) 'собака-ищейка' | *koporšiv* (~ в. *koporsó*) 'гроб' | *koršiv* (~ в. *korsó*) 'кувшин' | *lopiv* (~ в. *lopó*) 'ливер' | *mošogativ* (~ в. *mosogató*) 'мочалка' | *napliv* (~ в. *napló*) 'дневник' | *ňakravaliv* (~ в. *nyakravaló*) 'кашне', 'галстук' | *sabiv* (~ в. *szabó*) 'портной' | *sakajtiv* (~ в. *szakajtó*) 'корзиночка из камыша' | *samadiv* (~ в. *számadó*) 'чабан' | *sovgabiriv* (~ в. *szolgabíró*) (-v- в конце первого слога украинского варианта находится на месте венгерского диалектного -u-, возникшего вследствие вокализации венгерского -l-: *szolgabíró* > *szougabiró* 'исправник') | *timšiv* (~ в.

² Ср. МЕЛІСН J., *Adatok a szlávtság magyar elemeihez*. [Материалы к венгерским элементам славянства]. *Nyelvtudományi Közlemények* (Лингвистические Сообщения, в дальнейшем Нук.) XXV, стр. 288—303; PAVEL ONDŘUŠ, *Stredoslovenské nárečia v Maďarskej ľudovej republike*. Bratislava 1956, стр. 305—306.

³ Из приведенных примеров явствует, что в украинском языке переход *o* < *i* в закрытом слоге произошел и в венгерских заимствованиях. Как известно, в закарпатских украинских говорах в подобных случаях на месте *o* кроме *i* в настоящее время имеется еще *u* и *ü*. Л. Чопей приводит примеры с *ü*, а А. Бонкало с *i*. Библиографические данные см. ниже. Мы во всех случаях приводим примеры с *i*.

timsó) 'квасцы' | *tistartiv* (~ в. *tisztartó*) 'управляющий имением' | *zački*
(~ в. *zacskó*) 'мешок, фунтик, кулёк' и т. д.⁴

В. Примеры из банатских болгарских говоров:

ašuf — (в болгарском языке звонкий согласный не может находиться в абсолютном конце слова) — (~ в. *ásó*) 'заступ' | *birof* (~ в. *bíró*) 'судья' | *cipof* (~ в. *cipó*) 'колобок' | *čakuf* (~ в. *csákó*) 'кивер' | *čumof* (~ в. *csomó*) 'узел' | *chernof* (~ в. *hernyó*) 'гусеница' | *hintof* (~ в. *hintó*) 'коляска' | *kapof* (~ в. *kopó*) 'собака-ищейка' | *sabof* (~ в. *szabó*) 'портной' | *tistartof* (~ в. *tisztartó*) 'управляющий имением' | *vaguf* (~ в. *vágó*) 'резец' | *жидуф* (~ в. *zsidó*) 'еврей' и т. д.⁵

Некоторые из вышеприведенных венгерских заимствований находим также в болгарских говорах внутри Болгарии или в общеболгарском языке. Таковыми являются: *alov* (~ в. *háló*) 'сеть, рыболовная сеть' | *birovín* (~ в. *bíró*); (-ин представляет собой болгарский словообразовательный суффикс); 'сельский староста' | *intov* (~ в. *hintó*) 'коляска'.⁶

Г. Примеры из сербохорватского языка:

aldov (~ в. *áldó*) 'бескровная жертва' | *ašov* (~ в. *ásó*) 'заступ' | *birov* (~ в. *bíró*) 'сельский староста', 'судья' | *cipov* (~ в. *cipó*) 'колобок, булка' | *dakov* (~ в. *dákó*) 'биллиардный кий' | *hintov* ~ *intov* (~ в. *hintó*) 'коляска' | *hordov* (~ в. *hordó*) 'бочка' | *kankov* (~ в. *kankó*) 'гоноррея' | *kapov* (~ в. *kopó*) 'собака-ищейка' | *korov* ~ *korovina* (~ в. *kóró*) 'сухой стебель' | *koršov* (~ в. *korsó*) 'кувшин'; (по наблюдениям Л. Хадровича данное венгерское заимствование в кайкавском говоре имеет вариант *koršol*; о взаимоотношении этих двух вариантов см. ниже); | кайкавское *Laslov* (~ в. *László*) 'личное имя' [\leftarrow слав. *Ladislav* < *Vladislav*] (Хадрович) | *lopov* (~ в. *lopó*) 'ливер' | *logov* (~ в. *lógó*) 'валек у пристяжки' | *moždov* (~ в. *mozsdó*) 'умывальник' | *šajtov* (~ в. *sajtó*) 'пресс' | *šarampov* (~ в. *sorompó*) 'барьер, застава' | *sabov* ~ *sabol* (~ в. *szabó*) 'портной' | *vagov* (~ в. *vágó[kés]*) 'резец' | *virostov* (~ в. *vírrasztó*) 'бодрствующий'.⁷

Интересно, что подобные венгерские заимствования благодаря посредничеству роли южнославянских языков, встречаются в настоящее время в албанском и турецком языках.⁸

⁴ Ср. CSORÉY L., Magyar szók a rutén nyelvben [Венгерские слова в украинском языке] *Нук.* XVI, стр. 270—294; A. VONKÁLÓ, Die ungarländischen Ruthenen. *Ungarische Jahrbücher* I, стр. 318—341.

⁵ Ср. Стойко Стойков, Унгарски заемки в банатская говор. *Език и литература*, год XIV — 1959, № 3, стр. 176—190, но особенно стр. 182.

⁶ Ср. Gy. DÉCSY, Die ungarischen Lehnwörter der bulgarischen Sprache. *Uralaltaische Bibliothek* VII. Wiesbaden 1959, стр. 29, 33, 39.

⁷ Ср. MUNKÁCSI B., Magyar elemek a déli szláv nyelvekben. [Венгерские элементы в южнославянских языках] *Нук.* XVII, стр. 66—126; L. HADROVICS, Neki problemi mađarskih elemenata u srpskohorvatskom jeziku. *Beogradski međunarodni slavistički sastanak* — 15—21. IX. 1955. Beograd 1957, стр. 503—510. Поскольку в статье Л. Хадровича (повидимому, незнакомого со статьей Б. Мункачи), по сравнению с материалом упомянутой статьи Б. Мункачи имеется сравнительно мало нового материала, свои примеры мы приводим непосредственно по работе Б. Мункачи, а на статью Л. Хадровича ссылаемся только в том случае, когда речь идет о данных, которые Б. Мункачи еще не были известны.

⁸ См. NORBERT YOGL, Die ungarischen Bestandteile des albanischen Wortschatzes. *Ungarische Jahrbücher*, VII. 1927. стр. 46—84; VÁMBÉRY A., Magyar és török-tatár

2.

Как явствует из вышеприведенных примеров, в конце слова на месте современного венгерского долгого *-ó* ни в одном из славянских языков не находим долгого *-ó*. Так обстоит дело и в словацком языке, хотя в словацком языке долгота гласных не зависит от ударения, она имеет решающее значение с фонологической точки зрения, т. е. противоположность долготы и краткости гласных здесь используется для различения значения слов.⁸ Следует напомнить, что в словацком языке имя в именительном падеже не может оканчиваться на долгое *-ó*, потому что система склонения определяется корнями и родами. Можно было бы думать, что словацкое *-oц ~ ov* на месте венгерского *-ó* является результатом субституции гласных, которая произошла вследствие морфологического оформления заимствованных слов в заимствующем языке. На первый взгляд кажется, что об этом свидетельствует и то обстоятельство, что славянским языкам свойственны и иные пути устранения конечного *-ó*, хотя такие случаи встречаются реже, например: в. *fakó* 'сивая лошадь' > словацк. диал., моравск. диал., чешск. *fako* или *faka*; в. *bagó* 'жевательный табак' > чешск. *bago ~ бага*; в. *disznó* 'свинья' > чешск. и мор. диал. *disňa*; в. *csákó* 'кивер' > чешск. *čaka*; в. диал. *ganyó* 'неряха' < слов. диал. в районе г. Сарваш *gaňa*; в. *forгатó* > зак. укр. диал. *forгita* 'дверная ручка'; в. *píraвájó* 'ковырялка для курительной трубки' < зак. укр. диал. *píraвáj*; в. *bankó* 'банкнот' > зак. укр. диал. *bankóka*; в. *csapó* 'хлопушка' > зак. укр. диал. *čapóka*; в. *dugó* 'пробка' > зак. укр. диал. *dugóka*; в. *zebbevaló* 'носовой платок' > зак. укр. диал. *žebevalóka* (ср. Чопей, там же); аффикс *-ка* является словообразовательным суффиксом женского рода; при морфологическом оформлении венгерских заимствований он используется также в чешском и словацком языках;) в. *ásó* 'заступ' > сербохорв. *ašo*; в. *kin:stártó* 'казначей' > сербохорв. *kinčartó*; в. *László* 'мужское имя' > сх. *Laslo* (ср. Хадрович, там же);⁹ в. *bacsó* 'старший иад пастухами овец' > польск. *bacza*; в. *csákó* 'кивер' > польск. *czako*; в. *forгó* 'эгрет, эгретка' > польск. *forга*.¹⁰

Что касается соотношения двух разных путей развития венгерского конечного *-ó* в славянских языках (1. венг. *-ó* > слав. *-oц ~ -ov ~ -уф* и 2. венг. *-ó* > слав. *-o* или *-a*, или элиминированно добавлением славянского форманта), об этом см. ниже.

3.

Интересующее нас явление уже давно заметили и описали некоторые исследователи венгерско-славянских языковых отношений, однако выяснить

szóegyeztetések [Венгерское и тюрко—татарское согласование слов] NyK. VIII, стр. 109—189; Kunos I., A török nyelv idegen elemei [Иностранные элементы в турецком языке] NyK. XXVI, 438—454; XXVII 52—63, 211—216, 386—403; XXVIII 34—54.

⁹ Мы сознательно ссылаемся только на словацкий язык, хотя а) в чешском языке в этом отношении нет никаких расхождений со словацким языком, и б) по-нашему мнению чешский язык в прошлом через моравские говоры соприкасался с венгерской языковой территорией.

¹⁰ Ср. J. ЗАРЕВА, Węgierskie zapożyczenia w polszczyźnie. Język polski XXXI, стр. 114.

происхождение данного явления впервые попытался проф. Л. Хадрович в 1955 г., ограничиваясь в этом случае сербохорватским языком.¹¹

Л. Хадрович свои взгляды на сербохорватское окончание *-ov* имен существительных венгерского происхождения рассматриваемого типа изложил между прочим в докладе на Международном съезде славистов в Белграде в 1955 г. Его доклад появился в материалах съезда на хорватском языке.

Л. Хадрович попытался выяснить хронологию венгерских заимствований в кайкавском наречии на основе двух особенностей истории венгерских гласных, а именно: 1) древневенгерские краткие гласные стали более открытыми, так др. в. *higy* 'гора' > *hëgy*, *kiriszt* 'крест' > *kërësz*, *gyöngy* 'жемчуг, перл' > *gyöngy*, *humak* 'песок' > *homok*, *bukur* 'куст, кустарник' > *bokor* и т. д.; 2) древневенгерские дифтонги монофтонгизировались, причем монофтонгизация якобы произошла полностью в конце древневенгерского периода (конец XIV в.) на всей венгерской языковой территории: *-ai* ~ *-oi* > *-ó*, *ei* > *ó* и т. д. Использование этих двух явлений истории венгерских гласных для установления хронологии венгерских заимствований как с принципиальной, так и с методологической стороны кажется вполне правильным. Ввиду того, что в сербохорватском языке подобные изменения гласных не имели место, венгерские слова, попавшие в сербохорватский язык до конца древневенгерского периода (конец XIV в.), должны были сохранить звуковую форму этих элементов в древневенгерском состоянии. Это значит, что слова, перешедшие из древневенгерского языка в сербохорватский, должны были сохранить более закрытые варианты гласных и древневенгерский дифтонг *-ai* или *-oi* в форме *-ov*, соответствующей строю конца слова в сербохорватском языке. Первую из упомянутых особенностей истории древневенгерских гласных Л. Хадрович применяет вполне удачно, однако применяя вторую особенность (монофтонгизацию дифтонгов), он не достигает желаемых результатов, несмотря на то, что монофтонгизацию дифтонгов в древневенгерском языке, он, подобно З. Гомбоцу и Г. Барди, понимает как звуковой закон, который действовал на всей венгерской языковой территории и распространился на все дифтонги закрытого типа. Однако при этом и сам Л. Хадрович видит, что окончание *-ov* в подавляющем большинстве венгерских заимствований этого типа в сербохорватском языке невозможно объяснить сохранением и приспособлением древневенгерского дифтонга *-ai* ~ *-oi*, потому что большинство венгерских имен этого типа было заимствовано сербохорватским языком уже после древневенгерского периода. Поэтому он считает, что большое количество слов венгерского происхождения, оканчивающихся в сербохорватском языке на *-ov*, во время заимствования в венгерском языке имели окончание *-ó* и стремится объяснить, как могло развиваться на месте венгерского конечного долгого *-ó* всеобщее сербохорватское *-ov*.

Л. Хадровичу, пытающемуся применить тезис младограмматиков о монофтонгизации древневенгерских дифтонгов, все-же приходится обратить внимание на сложную картину проблемы, обусловленную большим многообразием данных: «Riječi, koje se u današnjem mađarskom jeziku završavaju na *-ó*, a ranije na *-oi*, u srpskohorvatskom se moga javljati sa završetkom

¹¹ Следует заметить, что из приводимых источников мы заимствуем только примеры, но толкования явлений принадлежат нам.

-ov, -ol, i eventualno -o» (стр. 508); а эти варианты тройкого рода не разделяются как-то географически, но более того «один и тот же автор пользуется тут то одним, то другим вариантом» (стр. 509), так например у Пергошича встречаются варианты *Laslo* и *Laslov* (см. там же) «... šta više, ima potvrda i za to, da -o hronološki prethodi nastavku -ov, kao na primjer u slučaju *ašo, ašov*, ovdjese najstariji podatak [u Mikaljinom rječniku] nalazi u obliku *ašo*.» (см. стр. 509). При таком разнообразии и разногласии данных Л. Хадрович приходит к такому заключению: нельзя считать, что множество венгерских заимствований, оканчивающихся в сербохорватском языке на -ov, сохранило древневенгерский дифтонг (заметим впрочем, что такой вывод вполне соответствовал бы его пониманию судьбы древневенгерских дифтонгов), нельзя также считать, что окончание на -o свидетельствует о более новой степени развития. Далее Л. Хадрович приходит к очень важному с точки зрения венгерского языкознания выводу, а именно: «No prilikom proučavanja ovih pozajmica treba strogo odvajati one riječi, u kojima se, diftong javlja u unutrašnjosti riječi, od onih, koje su se završavale na diftong jer su — kao što ćemo vidjeti — na formiranje kraja riječi utjecali i morfološki momenti» (см. стр. 508). Здесь мимоходом следует заметить, что в венгерском языкознании в области исследования заимствований преобладает фонетическая и историко-фонетическая точка зрения, между тем как морфологическая точка зрения не применяется в достаточной степени.¹²

В дальнейшем Л. Хадрович рассматривает морфологические отношения латинских имен на -o в сербохорватском языке, как *Leo, Nero, Scipio, Otto*, которые в склонении или сохраняют латинское -n в конце корня: род. п. *Leona, Nerona, Scipiona, Ottona*, или же между латинским конечным -o и хорватским падежным суффиксом вставляется согласный -v- (род. п. *Leova, Ottova*. Последний способ по его мнению имеет место в народном языке. На основании этих двух примеров Л. Хадрович приходит к заключению, что заимствования, которые имели в венгерском языке окончание -ó и при этом не были народными заимствованиями, могли склоняться в сербохорватском языке аналогично; например: им. п. *ašo*, род. п. *ašova*, дат. п. *ašovu* и т. д, а новые формы им. п. на -ov, по его мнению, могли легко образовываться путем абстрагирования косвенных падежных суффиксов (см. стр. 509).

Из этого следует, что якобы новейшая и большая часть венгерских заимствований, имеющих в сербохорватском окончании -ov, возникла из венгерских имен, с конечным долгим -ó. Ведь по оспариваемому мнению древневенгерские дифтонги закрытого типа монофтонгизировались, так что после древневенгерского периода слова данного типа могли оканчиваться только на долгое -ó и только с этим долгим конечным -ó могли они перейти в сербохорватский язык, а формы им. п. на -ov могли образоваться только в сербохорватском языке путем внутреннего морфологического развития.

Допустим, что упомянутым образом могло оформляться окончание отдельных венгерских заимствований, принадлежащих к данной группе

¹² Кроме Л. Хадровича этого вопроса коснулись Э. Балецкий (Венгерские заимствования в лемковском говоре села Комлошка в Венгрии. *Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae*, tomus IV, fasc. 1—2, Budapest 1958, стр. 34, 38) и Л. Дэже (К вопросу о венгерских заимствованиях в закарпатских памятниках XVI—XVIII веков. Там же, стр. 80—81). Год спустя этим вопросом занимался профессор Софийского университета Стойко Стойков в упомянутой уже статье (см. выше). К его объяснению мы еще вернемся.

слов, допустим даже, что один или два, оформленных подобным образом номинативов, могли по аналогии повлиять на формирование дальнейших номинативов такого рода. Однако вряд ли можно объяснить подобным образом возникновение коминативного окончания *-ov* у такого множества венгерских заимствований в сербохорватском языке, ведь в данном случае насчитывается свыше тридцати примеров. Кроме того следует еще заметить, что в цепи доказательств Л. Хадровича отсутствует существенное звено, а именно: наряду с формами род. п. имен латинского происхождения *Leova* и *Ottova* нет форм им. п. **Leov* и **Ottov*, которых мы могли бы ожидать как исходных форм, возникших вследствие предполагаемого абстрагирования косвенных падежных суффиксов. После всего этого толкование, предлагаемое Л. Хадровичем, едва ли можно считать убедительным.

Однако основная слабость позиции Л. Хадровича заключается в следующих двух обстоятельствах:

А) Л. Хадрович рассматривает данное явление только в сербохорватском языке и не упоминает о том, что оно свойственно всем славянским языкам, соприкасающимся с венгерской языковой территорией, как это видно из приведенных нами примеров. Очевидно, что наличие окончания *-ov* (*-ou*) у такого множества венгерских заимствований едва ли возможно толковать в разных славянских языках языковыми свойствами, которые, допустим, могут быть приемлемыми лишь в отношении одного сербохорватского языка.¹³

Б) В настоящее время нельзя уже исходить из того, что древневенгерские дифтонги упрощались, точнее, что дифтонги монофтонгизировались до конца древневенгерского периода по всей венгерской языковой территории. Поэтому нельзя исключить возможность, что славянское окончание *-ov* затронутых нами венгерских заимствований является продолжением венгерского конечного закрытого дифтонга типа *-au* ~ *ou*. Ибо в то время, когда З. Гомбоц разработал историю венгерских гласных, т. е. в двадцатые годы нашего века, еще не проводились систематические исследования в области фонологической системы венгерских диалектов. Таким образом он мог опираться только на данные письменных памятников венгерского языка, которые до конца XV в. не представляют всей языковой территории, да и сохранились они случайно и в небольшом количестве. В этих древневенгерских памятниках, что касается письменной практики, действительно видна тенденция монофтонгизации дифтонгов, точнее говоря, тенденция к упрощению орфографии, а также стремление к унификации практики письменности. Ввиду того, что эти тенденции встречаются во всех письменных памятниках того времени, З. Гомбоц утверждал, что дифтонги исчезли до конца древневенгерского периода, что они монофтонгизировались по всей венгерской языковой территории.

Данный тезис З. Гомбоца долгое время единодушно принимался в качестве звукового закона. Однако в настоящее время уже нет этого едино-

¹³ З. Гомбоц [Gombocz Zoltán 1877—1935] крупный венгерский языковед — младший грамматик первых десятилетий нашего века, в своих университетских лекциях синтезировал исследования по истории венгерского языка, точнее, по исторической фонетике, морфологии и синтаксису венгерского языка. Ср. его взгляды на судьбу древневенгерских дифтонгов закрытого типа во II томе его избранных сочинений (Gombocz Zoltán Összegyűjtött Művei II, Budapest 1941) 1 часть, стр. 83. Ср. также НОРГЕР А., A magyar nyelvjárások [Венгерские наречия]. Budapest 1934, стр. 37—43. Ср. еще БАЙЦЗИ Г., Magyar hangtörténet [История звуков венгерского языка] Budapest 1958, стр. 96—99.

гласия в отношении взгляда на судьбу древневенгерских дифтонгов. Публикации по венгерской диалектологии, появившиеся в тридцатых и сороковых годах, а в особенности систематические исследования, проводимые с 1949 г. в рамках работы по составлению венгерского лингвистического атласа, показали, что дифтонги закрытого типа *-au*, *-ou* встречаются в большей части венгерских говоров, — главным образом пограничных, — как внутри, так и в конце слова. Таким образом, в последнее время в отношении взгляда на судьбу древневенгерских дифтонгов произошел переворот. Хотя часть наших ученых, а в первую очередь Г. Барци,¹⁴ считает, что древневенгерские дифтонги до конца этого периода монофтонгизировались, а потом, значительно позже (главным образом в XVIII в.) в некоторых наречиях возникли и распространились новые дифтонги, однако Г. Барци возражает большинство венгерских языковедов. Д. Пайш, Б. Кальман, Л. Бенке, Л. Дэме и другие¹⁵ считают, что в конце древневенгерского периода тенденция упрощения системы гласных действительно могла повлиять и на дифтонги, но монофтонгизация не произошла по всей территории венгерского языка, а проявилась только в некоторых наречиях, между тем как в иных наречиях древневенгерские дифтонги сохранились. Такое понимание судьбы древневенгерских дифтонгов оправдано языковой (диалектной) действительностью, так что сторонники З. Гомбоца, к которым принадлежит и Л. Хадрович, в дальнейшем никакими аргументами не сумеют обосновать свое предположение.¹⁶

Чтобы резюмировать сказанное, следует подчеркнуть, что второй основной недостаток приема Л. Хадровича заключается в том, что он безусловно принимает устарелый тезис З. Гомбоца и вовсе не обращает внимания на диалектные отношения венгерских дифтонгов, даже в отношении венгерских диалектов, соседних с сербохорватской языковой территорией.

4.

Так как рассматриваемое нами явление встречается не только в сербохорватском, но и во всех славянских языках, соприкасающихся с венгерским, далее — так как замена современного литературного и общевенгерского конечного *-ó* в славянских языках дифтонгом *-ou* или сочетанием *-ov* в ходе заимствования из венгерского языка, не является необходимой,¹⁷ — по-на-

¹⁴ Стойко Стойков в своей статье, появившейся летом 1959 г., также заметил основную ошибку объяснения Л. Хадровича и при этом сослался на окончание *-of* ~ *-uf* венгерских заимствований в банатских болгарских говорах, в которых, как и вообще в болгарском языке, нет падежных окончаний. Прав С. Стойков и в том, что источник данного явления следует искать в фонетических отношениях венгерских говоров. Однако ему не удалось полностью выяснить корни исследуемого явления, поскольку ему неизвестны новейшие результаты в области исторической фонетики венгерского языка и венгерской диалектологии.

¹⁵ Ср. PAIS D., *Iránylevek a magyar hangtörténet tárgyalásához* [Установки к обсуждению истории звуков венгерского языка]. Magyar Nyelv [Венгерский Язык, в дальнейшем МNy.] XLVI, 8—15, 97—113. BENKÓ L., *Egy jobbágylevel margójára* [Заметки к письму крепостного] МNy. XLVII, 223; KÁLMÁN B. (в рецензии на труд BARCZI G., *A tihanyi apátság alapítólevele mint nyelvi emlék*. Budapest 1951) МNy. LIV, 282; DÉME L., *Nyelvatlaszunk funkciója és további problémái* [Функция и дальнейшие проблемы нашего лингвистического атласа]. Budapest 1956, стр. 311.

¹⁶ См. сноску № 12 настоящей статьи.

¹⁷ Следует отметить, что Г. Барци в уже упомянутом труде (см. стр. 99, а также в отдельной статье в МNy. XLIX, стр. 35) уже допускает правильность этих новых

шему правильнее искать причину данного явления в венгерском языке, точнее, в венгерских наречиях, т. е. в венгерской звуковой форме заимствованных слов.

Данное явление известно нам из словацких и закарпатских украинских говоров на окраине северовосточных венгерских наречий, далее из банатских болгарских говоров, а также из сербохорватских наречий, в основном из кайкавского, но в отдельных случаях также из более южных и архаичных чакавских говоров. Большая часть венгерских заимствований этого типа свидетельствует о новейших языковых взаимоотношениях. Итак, окончание *-ov* (на месте современного обще-венгерского конечного долгого *-ó*) встречается в славянских говорах, соприкасающихся с северной, северо-восточной, юговосточной, южной и югозападной окраинами венгерской языковой территории. В этой зоне венгерских наречий от севера к востоку (где она соприкасается с румынским языком), далее к югу и юго-западу, имеются, конечно, различные венгерские говоры, но для всех венгерских говоров в этой окраинной зоне характерно одно, а именно: наличие закрытых дифтонгов типа *-aɔ*, *-oɔ*.¹⁸

Следовательно, с нашей точки зрения, славянские языки, которые в венгерских заимствованиях имеют окончание *-ov* (или *-oɔ*) на месте современного общевенгерского *-ó*, сохраняют оригинальный, но модифицированный в некоторой степени венгерский дифтонг. Эта модификация была при заимствовании из венгерского в славянские языки необходимой, ибо дифтонги *-aɔ* или *-oɔ* как окончания были невозможны в морфологической системе номинальных окончаний славянских языков.

5.

Теперь вернемся к тем вариантам затронутых венгерских заимствований в сербохорватском и других славянских языках, которые в конце слова имеют краткое *-o* или *-a*.

В чешском языке, а также в моравских наречиях венгерские заимствования этого типа не оканчиваются на *-ov*. Это не значит, что слова, как чешское *bagó* ~ *baga* 'жевательный табак', *čaka* 'кивер', или моравское диалектное *dysňa* 'свинья' и другие, являются книжными заимствованиями. Они перешли в словарный состав чешского языка или из общевенгерского языка (~ в. *bagó*, *csákó*) или же из венгерского наречия, не сохранившего дифтонгов закрытого типа. На основании большого количества данных разного характера мы предполагаем, что такие непосредственные сношения существовали между населением Моравии и венгерским населением югозападной части Словакии а так же северной части венгерской Задунайской области. Венгерские наречия этих областей действительно не знают закрытых дифтонгов типа *-aɔ* *-oɔ*. Следовательно, население, говорящее на чешском языке, а также население, говорящее на моравских

взглядов, однако разными возражениями, в основном теоретического характера, старается ограничить их значение. Здесь следует отметить, что возражения Г. Барци не касаются сущности явления. Нам кажется, что этот вопрос уже решен окончательно на твердой почве новейших диалектологических исследований, итоги которых подтверждаются и данными славянских языков, а также общими результатами настоящей статьи.

¹⁸ Мы видели и иные возможности устранения данного венгерского номинального окончания, чуждого славянской системе конца слов. Об этом см. выше.

говорах, заимствовало венгерские слова с конечным долгим *-ó*; но поскольку в чешском и словацком языках имена не могут оканчиваться на долгое *-ó*, эти заимствования были приспособлены к собственной морфологической структуре слова путем замены венгерского конечного долгого *-ó* кратким *-o* или *-a*. Итак, речь идет не об изменении звука (венг. *-ó* > слав. *-o* ~ *-a*), и не о замещении гласных, но в сущности в этом явлении речь идет о замещении морфологического характера, точнее, о замене формантов.

Варианты с конечным *-o* или *-a* находим спорадически также в западно-словацких наречиях, далее в северной зоне среднесловацких наречий, в восточнословацких и закарпатских украинских говорах. Происхождение этих спорадических вариантов объясняем таким же образом: западнословацкие наречия соприкасаются с венгерскими наречиями, в которых вообще нет закрытых дифтонгов; в северной зоне наречий среднесловацких, восточнословацких и закарпатских украинских эти слова были заимствованы из общевенгерского языка, поскольку до конца первой мировой войны население этих северных областей уходило на работу в Будапешт и иные венгерские города, отчасти также на сельскохозяйственную работу на Большую венгерскую низменность, в наречиях которой закрытые дифтонги по большей части также неизвестны.

Венгерские заимствования этого типа в польском языке, как *czako* 'кивер' и *forga* 'букет или перо, служащее для украшения головного убора мужчин', 'эгретка' восходят к венгерскому варианту с долгим конечным *-ó*, но они в польском языке являются не народными, а придворными заимствованиями.

6.

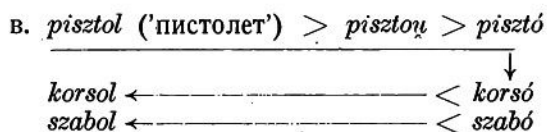
Еще несколько слов о якобы противоречащих данных Л. Хадровича.

На наш взгляд ничего странного нет в том, что в сербохорватском языке встречаются дублеты, как *ašo* и *ašov*, *Laslo* и *Laslov*, а также не удивительно, что у того же автора встречается дублет *Laslo* и *Laslov*. Конечно, трудно объяснить происхождение таких дублетов, если исходим только из внутренних законов сербохорватского языка, но если обратимся к венгерской диалектной среде, оказывается, что никакого противоречия в них нет. Дело в том, что с сербохорватской языковой областью соприкасаются венгерские наречия с закрытыми дифтонгами, а также на запад от них наречия без закрытых дифтонгов. Таким образом, варианты с конечным кратким *-o* восходят к венгерским вариантам без дифтонгов, т. е. с конечным долгим *-ó*, а варианты с окончанием на *-ov* являются заимствованиями венгерских вариантов с конечным закрытым дифтонгом *-oi* (или *ai*).¹⁹

¹⁹ Краткий очерк состояния и распространения дифтонгов закрытого типа в современных венгерских наречиях дается в учебнике KÁLMÁN B., *Mai magyar nyelvjárgésok*¹ [Современные венгерские диалекты] Budapest 1951, стр. 18. — См. также нашу карту № 1, которая представляет собой увеличенный вариант карты № 4 во втором издании упомянутого учебника (стр. 32). — Наша карта № 2 составлена на основании данных, собираемых систематически с 1950 г. для Венгерского лингвистического атласа, подготовляемого к изданию Институтом языкознания Венгерской АН в Будапеште. Относительно обозначений отдельных секторов венгерской языковой территории (А, В, С, D и т. д.) и отдельных исследовательских пунктов (1, 2, 3, 4 и т. д.) см. *A magyar nyelvátlasz munkamódszere* [Метод работы по составлению венгерского лингвистического атласа]. Szerkesztette [редактировал] Bárczi G. Budapest 1955, стр. 86—92.

Варианты *koršol* 'кувшин' и *sabol* 'портной' Л. Хадрович, исходя из внутренних законов развития морфологии сербохорватского языка, объяснить не может. Окончание *-ol* у этих вариантов возникло не в сербохорватском языке, но в венгерских наречиях этой области путем т. н. возвратной аналогии, которая действует в двуязычной, точнее, в двудиалектной среде.

Знакомым с венгерскими говорами известно, что венгерское *-l* в закрытом слоге переходит в *ɟ*, таким образом, если согласному *l* в закрытом слоге предшествует *o*, то возникает дифтонг *-oɟ*, который в говорах без дифтонгов (по аналогии) монофтонгизируется в долгое *-ó*. Например: *volt* ('он был') > *voɟt* > *vót*, *pisztol* ('пистолет') > *pisztoɟ* > *pisztó* и т. д. В двудиалектной среде примеры подобного рода воздействуют и путем возвратной аналогии, т. е. в обратном направлении. Итак, иногда долгое *ó* в закрытом слоге или дифтонг *-oɟ* (любого происхождения) замещается сочетанием *-ol* например: в. *csók* ('поцелуй') > *csolk*, (слав. *Miškovec* >) древневенг. *Miskoɟc* (название города) > *Miskolc* и т. д. — Таким образом могли возникнуть в венгерских говорах (соприкасающихся с хорватской языковой территорией) наряду с формами *koršó* 'кувшин' и *szabó* 'портной' варианты **koršol* и **szabol*, которые позже были заимствованы хорватами.²⁰ Этот процесс можно себе представить приблизительно следующим образом:



Следует однако заметить, что варианты **koršol* и **szabol* в венгерских говорах пока не засвидетельствованы (это только предполагаемые формы), но по наличию хорватских форм, они должны были существовать в каком-нибудь венгерском говоре на окраине хорватской языковой территории, из которого они были заимствованы хорватами.²¹

²⁰ Хорватское *kinčtarto* 'казначей,' приводимое Л. Хадровичем из одной хроники, вероятно происходит от венгерского варианта с конечным долгим *-ó*. Однако, ввиду того, что оно является книжным словом, сомнительно, можно ли его считать заимствованием. Дело в том, что в венгерском языке *kinčtarto* является термином, обозначающим придворную должность. Если же оно обнаружено Л. Хадровичем в тексте, касающемся по своему предмету венгров, не исключено, что оно представляет собой научное заимствование или же стилистический элемент типа *couleur locale*.

²¹ Что касается терминологии, то в связи с разбираемым нами явлением мы пользуемся переводом чешского термина Яна Гебауэра *reciproká analogie*. В венгерском языкознании данное явление известно, но пока для него нет подходящего термина. (См. литературу по этому вопросу: SULÁN B., Adalékok az *á—a > á—o* és az *a—á > o—á* hangváltozás kérdéséhez [К вопросу об изменении звуков *á—a > á—o* и *a—á > o—á*]. Emlékkönyv Pais Dezső hetvenedik születésnapjára [Сборник Дезде Пайжу к его семидесятилетию]. Budapest 1956, стр. 109—116, но особенно стр. 113. Венко L., Az igo-dalmi nyelvi „téves visszaütésről” [Об «ошибочном-возвратном воздействии» литературного языка] NyK. LX, стр. 11—16. — Литературу по этому вопросу до появления вышеприведенных статей см. Г. Барци указ. соч. стр. 98).

7.

В заключение попытаемся сделать некоторые выводы:

1) В ходе исследования лексических заимствований в максимальной степени следует считаться с диалектными отношениями как языка-источника, так и заимствующего языка.

2) При изучении заимствований, произошедших между неродственными языками, следует иметь в виду необходимость приспособления новых слов к структуре заимствующего языка.

3) Если определенное явление встречается в разных языках, но только в словах, заимствованных из одного и того же языка, причину такого явления следует искать в языке, точнее, в диалектном многообразии языка, из которого данные слова были взяты.

4) Если предположения, сделанные на основании исторической фонетики, не подтверждаются фактами диалектологии данного языка, в таком случае они не могут быть приемлемыми.

Трансформационный анализ русских присубстантивных конструкций с зависимой частью — существительным

Ф. Пап

0. Целью настоящей работы является предоставление формального анализа современных русских конструкций типа $S^1(p)C^2_k$, т. е. конструкций с главным словом существительным (S^1) и с зависимым словом (модификатором) — другим существительным в косвенном падеже (C^2_k) с предлогом (p) или без него.¹ Этой формуле удовлетворяют конструкции в роде *книга мальчика* ($= S^1_{и}C^2_p$), *ведро с водой* ($= S^1_{и}C^2_т$). С другой стороны, не входят в конструкции рассматриваемого типа сочетания в роде *жар-птица*, *осетин извозчик*, *газета «Правда»* ($= S^1_{и}C^2_{и}$; эти сочетания и в дальнейшем изменяются не так, как рассматриваемые нами: в случае *жар-птица* по ходу склонения S^1 остается неизменным, в случае *осетин извозчик* S^1 и S^2 всегда в одинаковых падежах, в случае *газета «Правда»* второй элемент остается постоянно неизменным). Автор не намеревался дать полностью отработанную главу аналитического синтаксиса русского языка; ему хотелось скорее поставить данный вопрос, собирать и сортировать некоторые материалы к такому синтаксису. С такой целью и с такими ограничениями используется в данной работе метод трансформационного анализа.

0.1. Каждый из входящих в рассматриваемые сочетания элементов владеет определенной формой: так, S^2 стоит в каком-нибудь из падежей (с предлогом или без него), S^1 в свою очередь или в именительном падеже, или также в каком-нибудь из косвенных падежей. Поэтому неудивительно, что такие вопросы затрагивались в морфологии. Однако, помимо этого, в некоторых работах в разделе морфологии затрагиваются и вопросы «значения падежей», «значения предлогов (с падежами)», чего уже нельзя

¹ Используемые в формулах знаки и сокращения следующие: С = существительное, Г = глагол, П = прилагательное, п = предлог, б = глагол-связка «есть» в этой своей форме, в прошедшем времени или в нулевой форме. Цифры, поставленные сверху над знаками класгов слов, указывают на порядок следования слов в разбираемой конструкции. Сверху же, указанными буквами, обозначается происхождение данного слова: $S^Г$ = отглагольное существительное, $ПС^1$ = прилагательное, образованное от первого существительного исходной (разбираемой) конструкции и т. д. Строчные буквы внизу указывают на форму данного слова: к = любой косвенный падеж, и = именительный п., р = родительный п., д = дательный п., в = винительный п., т = творительный п., п = предложный п. Стрелка → указывает на направление трансформации (Г). Значение строчных букв под Г: и = инфинитив, пр = причастие, с. пр. = страдательное пр., д. пр. = действительное пр. (в случае необходимости указывается также и на «время» пр.: н. = настоящее, п = прошедшее); Г \emptyset = безличный глагол, Г $_{ся}$ = возвратный Г. \emptyset = нулевая форма, пропуск какой-либо формы ($\Phi \rightarrow \emptyset$) или ее вставка ($\emptyset \rightarrow \Phi$). Скобки указывают на возможное присутствие или отсутствие данной Ф, знак + указывает на деление конструкции. П, = краткая форма прилагательного.

признать совершенно бесспорным подходом к данным явлениям.² Так, у В. А. Богородицкого «значения падежей» еще последовательно в синтаксисе; там же обсуждается этот вопрос А. М. Пешковским. Однако в монографии В. В. Виноградова — которая, как известно, имеет подзаголовок: «Грамматическое учение о слове» — эти же вопросы фактически попадают в морфологию (или в «учение о слове»). В труде же, завершающем традиционный подход, в академической Грамматике русского языка «значения падежей» трактуются как в морфологии, так и в синтаксисе; в последнем эта проблематика затрагивается дважды: сначала мы сталкиваемся с ней при описании словосочетаний русского языка (это — «присубстантивные словосочетания с зависимым словом — существительным»), а потом в синтаксисе простого предложения. Здесь эти конструкции разбиваются опять на две части: одни из них рассматриваются как «применные дополнения» — о них говорится поэтому в разделе «Дополнение»; другие — как «несогласованные определения», фигурируют таким образом в главе определений. Во всех этих подходах есть одна общая черта: они построены на «значении» падежей (предлогов). Если построить классификацию словосочетаний на основании значения входящих в них компонентов, то это затруднительно даже и в том случае, если учитывается значение знаменательных слов — так, положим, значение глагола и зависящего от него существительного в творительном падеже. (Подробную критику такого подхода см. у Уорса — см. прим. 3.) Тем более шатким является принцип деления, если надо учитывать не значение самостоятельных, знаменательных слов — а грамматическое значение, выраженное флексиями и предлогами. И тут еще выступает третья трудность: на основании подобного, «смыслового», деления приходится построить две отличные группы: группу «объектуальных» значений и группу «необъектуальных», что-то в роде обстоятельство-определятельных, атрибутивных значений. На этом основании высказывается, напр., что *авария с энергией*, *печаль о товарище* — это конструкции с присубстантивным дополнением (см. Грам., 571, 572), а выражения *дом с мезони́ном*, *вопрос о наследстве* — определятельные (см. там же, 548, 549). Если не полагаться в научном анализе на школьные вопросы — какой? с чем? о чем? и пр. — которые, кстати говоря, в свою очередь и сами опираются на условное понимание «определятельных» и «неопределятельных» значений, т. е. которые нередко могут быть поставлены правильно только после того, как выяснено, «как понимать» в данном случае данную конструкцию — то трудно себе представить, на что вообще опираться, как фактически происходит данное деление. Сам текст академической Грамматики не способствует выяснению данного вопроса. Вот что пишется, напр., в первом — как бы вводном, объясняющем — параграфе этой работы о «Дополнениях при членах предложения, выраженных именами существительными»: «При членах предложения, выраженных именами существительными, в качестве

² Упомянутые работы в этой связи: В. А. Богородицкий, *Общий курс русской грамматики* (4-ое издание, Казань, 1913); он же: *Очерки по языковедению и русскому языку* (4-ое изд., М., 1939); А. М. Пешковский, *Русский синтаксис в научном освещении* (6-ое изд., М., 1938); В. В. Виноградов, *Русский язык* (М., 1947); *Грамматика русского языка*. Изд. АН СССР. М., 1952, 1954. (в дальнейшем первая часть 2-го тома сокращается как Грам.) — Более подробно о всех традиционных направлениях см.: Ф. Пап, *Из истории русской синтаксической мысли (Термин и понятие «определение»)*. Сообщения кафедры р. яз. и лит. унив. им. Л. Кошута. Вып. 6. Дебрецен, 1959.

дополнения выступают такие существительные, местоимения и субстантивированные формы, которые входят в именные словосочетания, выражающие объектные отношения, отношения замещения и совместности» (стр. 570). А в то же время, как увидим ниже, составители академической Грамматики очень часто указывают на связь этих «значений» с формой — и нам кажется, только по этому пути можно сделать шаг вперед. Совершенно очевидно, что при традиционном подходе терялась связь между значением и формой из-за чрезвычайного увлечения самыми разными «значениями», независимо от их формального выражения и независимо даже от того, вообще выражаются ли они формально (а если некоторые из них не выражаются — то о таких «значениях», конечно, не следует говорить, от таких псевдо-значений в будущем надо отказаться). Если исходить из формы и только из формы, то, как нам кажется, больше шансов на то, что мы не оторвемся от языковой материи; надо будет только проверить, находится ли в согласии с установленными формальными категориями содержание явлений, входящих в одну категорию. Предполагается, что при правильно проведенном формальном анализе «значения» не могут быть ущемлены.

0.2. Намеченную выше задачу мы попытаемся разрешить применением т. н. трансформационного анализа.³ Этот метод, применяемый на разных ярусах языка (см., напр., *Молошная*, 34), в отношении русского языка, насколько нам известно, использовался для решения некоторых вопросов словообразования для машинного перевода (*Волоцкая*) и для анализа русских приглагольных конструкций с зависимым словом — существительным в творительном падеже (*Уорс*). В последней работе дается тщательный разбор традиционного подхода к явлениям, связанным со «словосочетаниями» и образцовый анализ сочетаний типа ГСт (выражаясь нашими символами). Ввиду уже широкой известности этого метода, нам кажется возможным не говорить о его общих принципах, о его значении для языкового анализа, о трудностях, возникающих в связи с ним. Свообразием изучаемого нами материала объясняется, что особенно часто будет применяться межклассовая трансформация — т. е. трансформация, при которой один или несколько составляющих элементов разбираемой конструкции переходят в другой класс слов (в другую часть речи). Также нередко нужно будет прибегать к трансформациям типа Т: $\emptyset \rightarrow \Phi$ или $\Phi \rightarrow \emptyset$, т. е. к добавлению той или иной формы или к ее пропуску.

0.3. Прежде чем приступить к самому трансформационному анализу — говорит Уорс —, мы должны знать, «что мы имеем», т. е. дать морфологическую классификацию рассматриваемого явления (до той степени, до которой эта классификация годится) (ср. *Уорс*, 253). Что мы имеем, в самом деле, и как целесообразно делить этот материал с точки зрения морфологического состава? Под общей формулой $C^1(p)C^2_k$ кроются следующие, непосредственно обнаруживаемые, варианты:

³ Важнейшая литература по данному вопросу: R. WELLS, Immediate constituents. *Language* 23 (1947): 81—117; N. СНОМСКУ, Syntactic structures. 's Gravenhague, 1957; R. В. ЛЕЕС — рец. на книгу Хомского: *Language* 33 (1957): 375—408; Z. S. HARRIS, Co-occurrence and transformation in linguistic structure т. же, 285—340; D. S. WORTH, Transform analysis of Russian instrumental constructions. *Word* 14 (1958): 247—90; Т. М. Николаева, Что такое трансформационный анализ? ВЯ IX (1960), 4:111-5; З. М. Волоцкая, Установление отношения производности между словами. Т. же, №3: 100-7; Т. Н. Молошная, Трансформационный анализ как метод изучения синтаксиса языка. Тезисы докладов конференции по прикладной лингвистике. Черновцы, 1960. Стр. 34—35.

$S^1C^2_k$ (причем $k = p, d, t$): *книга мальчика, корм скоту, нос картошкой*;

$S^1PC^2_k$ (причем $k = p$ и только): *вопрос большого значения*;

$S^1pC^2_k$ (значение k зависит от p ; на p , видимо, вряд ли наложены какие бы то ни было ограничения — в английском языке, кажется, ограничений больше, ср.: Хэррис, 297): *ведро с водой, огурец в гору*;

$S^1pPC^2_k$ ($p = c, k = t$): *девушка с длинными волосами*.

План изложения будет поэтому следующий: рассмотрим сначала сочетания, где S^2 стоит в одном из падежей без предлога, далее — в тех же падежах с предлогами. Этот порядок нарушается в одном существенном месте: беспредложный родительный трактуется в самом конце изложения, после всех остальных беспредложных сочетаний и после всех предложных. Такое его расположение вызвано лишь соображениями практического порядка: конструкции $S^1C^2_p$ содержат в себе много своеобразного, не присущего другим конструкциям $S^1(p)C^2_k$, однако это своеобразие выявляется только на основании знания того общего, что лежит во всех остальных единствах $S^1(p)C^2_k$. В систематическом изложении материала конструкции $S^1C^2_p$, естественно, должны принять свое место — т. е. самое первое в ряду рассматриваемых конструкций, если принять традиционный порядок следования падежей.

1. $S^1C^2_d$

1.1. Конструкции с зависимым существительным в дательном падеже без предлога делятся на три группы в зависимости от характера главного слова: последнее может быть соотносительно с глаголом (1.11.), соотносительно с прилагательным (1.12.) или не соотносительно ни с глаголом ни с прилагательным (1.13.).

1.11. Часть сочетаний, с главным словом — соотносительным с глаголом, трансформируема только в приглагольное сочетание с соответствующим глаголом: $S^1C^2_d \rightarrow GC^1S^2_d$: *служение интересам народа — служить интересам народа, измена убеждениям — изменить убеждениям*; Он... из угождения матери сопровождал ее к обедне (Гонч.⁴).

1.12. Другие сочетания с главным словом, соотносительным с глаголом, трансформируются как в приглагольные конструкции, так и в причастные: $S^1C^2_d \rightarrow GC^1S^2_d$ или $S^1G_{пр}C^2_d$: *помощь школе — помогать школе, помощь, оказываемая школе; наказ депутату — наказать депутату, наказ, данный депутату; тычки коню в морду — тыкать коню в морду; тычки, данные коню в морду*; Государь не написал этих слов в письме Наполеону (Л. Т.).

1.12. Сочетания с главным словом, соотносительным с прилагательным, обычно трансформируются в сочетания при предикативной форме соответ-

⁴ Сокращения литературных источников: Баб. — С. Бабаевский, Свет над землей; Бел. — В. Г. Белинский, критические статьи; Гл. — Ф. В. Гладков, Цемент; Гонч. — И. А. Гончаров, Обыкновенная история; Г. — А. М. Горький, рассказы; В. Л. — В. И. Ленин, статьи; Л. — М. Ю. Лермонтов, стихотворения, Л. Т. — Л. Н. Толстой, Война и мир; Лом. — М. В. Ломоносов, работы по филологии; Кор. — В. Г. Короленко, рассказы; Кр. — И. А. Крылов, басни; П. — А. С. Пушкин, Евгений Онегин, Капитанская дочка, стихотворения; Павл. — П. А. Павленко, Счастье; Пол. — Б. Полевой, Повесть о настоящем человеке; Сер. — А. Серафимович, Железный поток; Сим. — К. Симонов, Русский вопрос; Фед. — К. Федин, Первые радости; Фонв. — Д. И. Фонвизин, Недоросль; Чех. — А. П. Чехов, рассказы; Ш. — М. Шолохов, Тихий Дон. — Словосочетания без фразового контекста почерпнуты отчасти из этих же произведений, отчасти из Грам., а также из грамматик Востокова и Буслаева.

ствующего прилагательного: $S^1C^2_d \rightarrow \Pi, S^1C^2_d$: *преданность родине — предан родине*; Так дарование *без пользы свету* вянет (Кр.).

1.131. Для многих сочетаний с существительным, не соотносительным ни с глаголом, ни с прилагательным, возможна трансформация в причастную конструкцию: $S^1C^2_d \rightarrow S^1\Gamma_{пр}C^2_d$: *корм скоту — корм, предназначенный скоту, памятник Пушкину — памятник, воздвигнутый Пушкину*.

1.132. Для других сочетаний при таких существительных мыслима только одна трансформация: в такую конструкцию, где как S^1 так и S^2_d одинаково зависят от одного Γ : $S^1C^2_d \rightarrow \Gamma + S^1 + S^2_d$: *реестр книгам — составить реестр книгам*; *Полковник наш рожден был хватом: Слуга царю, отец солдатам* (Л.). (Очевидно, что в сочетании «слуга царю» соотносительность первого существительного с глаголом не при чем — доказательством этого является хотя бы вторая пара: «отец солдатам».) Эта группа, как и предшествующая, трансформируема еще в конструкции с *для*: $S^1C^2_d \rightarrow S^1$ для S^2_p : *корм скоту — корм для скота, отец для солдат*; тем самым эти конструкции и противостоят конструкциям, где есть соотносительность с какой-нибудь «предикативной» частью речи.

1.2. На основании выявленных черт эти сочетания можно назвать объектуальными (**1.111**, **1.12**), объектуально-атрибутивными (**1.112**), атрибутивными (**1.131**) и присоединительными (**1.132**). Как увидим в последующем, в основном эти же категории получаются и в результате трансформационного анализа других конструкций, с некоторыми индивидуальными модификациями в каждом случае. Надо еще сказать, что последняя трансформация, примененная в **1.123**. — самая простая, она возможна почти в любом случае, за исключением чисто объектуальных конструкций и за исключением некоторых конструкций $S^1C^2_p$.

1.3. Сетка T для конструкций $S^1C^2_d$:

Табл. № 1.

$\Gamma S^1 C^2_d$	$S^1 \Gamma_{пр} C^2_d$	$\Pi S^1 C^2_d$	$\Gamma + S^1 + S^2_d$	$T: S^1 C^2_d$
+	—	—	—	угождение матери
+	+	—	+	наказ депутату
—	+	—	+	корм скоту
—	—	+	—	преданность родине
—	—	—	+	реестр книгам

2. $S^1C^2_p$

2.1. Двусловные сочетания.

2.11. S^1 Соотносительно с глаголом.

2.111. Т: $C^1C^2_T \rightarrow \Gamma C^1C^2_T$ одна возможна в конструкциях типа *руководство массами, заведование кафедрой, управление машиной, занятия музыкой*: \rightarrow *руководить массами, заведовать кафедрой* и т. д. Чисто объектуальные сочетания этого типа довольно многочисленны и нередки в современном языке.

2.112. Т: $C^1C^2_T \rightarrow \Gamma C^1C^2_T$ или $C^1\Gamma_{пр}C^2_T$: *прогулки вечерами* \rightarrow *гулять вечерами, прогулки, совершаемые вечерами*.

2.12. Т: $C^1C^2_T \rightarrow \Pi C^1C^2_T$: *богатство идеями* \rightarrow *богат идеями*.

2.13. C^1 не соотносительно ни с Γ , ни с Π .

2.131. Чисто определительная группа представлена здесь сочетаниями в роде *кепка блином, яблочком нос, галстук бабочкой, нос картошкой*; (Пантелей)...носил в левом ухе серебряную *полумесяцем серьгу* (Ш.). Большинство этих сочетаний стало устойчивым выражением, почему и неудобны потенциальные трансформации *Т: *кепка блином* \rightarrow *кепка, сидящая блином*. Интересно заметить, что форма Γ в случае этих сочетаний кажется существенной (хотя она в большинстве случаев нерелевантна): Т: *кепка сидела* (на нем) *блином* более возможная конструкция (хотя неудобство, вызванное частичной устойчивостью выражения не снимается, но все же в данных сочетаниях $\Gamma_{л}$ — т. е. любая личная, родовая форма глагола — лучше, чем $\Gamma_{пр}$). Эти конструкции трансформируемы еще в сочетания с «как», «похож(ий) на».

2.132. Свообразны конструкции, отличающиеся от обычных присоединительных, типа *казак душой*. Здесь единственно возможная Т, кажется, заключается в следующем: $C^1C^2_T \rightarrow C^2_T + б + C^1_n$: *казак душой* — *душой* (он) *был казак* (причем порядок не обязательно такой, здесь он приведен для показа зависимости обоих существительных одинаково от $\Gamma = б$; Γ уже может быть только $б$ и не может выступать в форме $\Gamma_{пр}$). Форма C^2_T в этой конструкции может подвергаться трансформации $C^2_T \rightarrow \Gamma C^2_n$: *в душе он был казак*.

2.2. Есть трехсловные конструкции типа $C^1C^2_T C^3_B$ или $C^1C^2_T \Gamma C^3_B$: *парень ростом с меня, медведь величиною в корову, дом вышиною в три сажени*,

Табл. № 2.

$\Gamma C^1C^2_T$	$C^1\Gamma_{(пр)}C^2_T$	$\Pi C^1C^2_T$	$\Gamma C^2_n C^1_n$	$\Gamma + C^1 + C^2_T$	Т: $\uparrow C^1C^2_T$
+	—	—	—	—	руководство массами
+	—	—	—	+	прогулки вечерами
—	—	+	—	—	богатство идеями
—	+	—	—	—	нос картошкой
—	—	—	+	—	казак душой

доска толщиной в палец. Т: $C^1C^2_7cC^3_в$, $C^1C^2_7вC^3_в \rightarrow C^2_иC^1_р$ как у $C^3_р$ или $C^2_иC^1_рб(Ч)C^3$: *рост парня как у меня, высота дома — три сажени*. Эти трансформации в таблицу № 2, приводимую ниже, не включены.

2.3. Сетка Т для конструкций $C^1C^2_т$: (см. таблицу №2, стр. 60).

3. $C^1пC^2_р$ (п = из; с; от; до; из-под; у; возле, против и др. т. н. наречные предлоги; для, без). План изложения в случае предложных сочетаний будет следующий: разбираются трансформации по предлогам; сводная таблица сетки Т для предлогов с одним каким-нибудь падежом дается в конце соответствующего раздела.

3.1. $C^1изC^2_р$.

3.111.* Объектуальные сочетания с *из*: Т: $C^1изC^2_р \rightarrow \Gamma C^1изC^2_р$: *бегство из плена — бежать из плена, отправление из города — отправиться из города*; Балашев оглядывался вокруг себя, ожидая приезда офицера из деревни (Л. Т.); ... до войны к прибытию теплохода из Одессы или Батуми... собирались... толпы (Павл.). Как видно из литературных примеров, сочетания этого типа нередко расширяются третьим существительным в родительном падеже ($C^3_р$), что можно считать характерной, но не обязательной чертой этих конструкций; к тому же это расширение не является дифференцирующим признаком по отношению к другим конструкциям подобного же морфологического состава.

3.112. Объектуально-атрибутивные конструкции: *письмо из Киева — писали из Киева или письмо, посланное из Киева* (Т: $C^1 из C^2_р \rightarrow \Gamma C^1 из C^2_р$ или $C^1\Gamma_{пр} из C^2_р$).

3.12. Атрибутивные конструкции делятся главным образом по залогу вклинивающегося причастия: оно может быть действительного или страдательного залога; помимо этого есть еще некоторые более мелкие группы, внутри залогового деления.

3.121. Действительное причастие вклинивается в следующих двух группах:

3.1211. Конструкции *парень из нашего города, эмигранты из Ялты* трансформируются в *парень, приехавший из нашего города, эмигранты, приехавшие из Ялты* (Т: $C^1 из C^2_р \rightarrow C^1\Gamma_{д.пр.} из C^2_р$). Некоторые из этих конструкций трансформируемы также и по схеме $\rightarrow PC^2C^1$: *ялтинские эмигранты*. Дифференцирующим признаком этой группы, отличающей ее от следующей, является возможность трансформации $\rightarrow C^1$ родом из C^2 (хотя такая трансформация возможна только частично).

3.1212. Конструкции *обоз из двадцати возов, отряд из крестьян, команда из лучших игроков* трансформируются так же, как и конструкции **3.1211.**: *обоз, состоящий из двадцати возов* и т. д. В случае некоторых из них также возможна трансформация первого существительного в прилагательное: *крестьянский отряд*. Но ни для одной из них (даже частично) не допускается трансформация с оборотом «родом из» (последняя черта на сводной таблице не отмечается, почему конструкции этих двух типов и совпадают по таблице).

3.1213. Конструкции *человек из толпы, конь из табуна, ревизор из министерства*; Гульд... грубоват, играет человека из народа (Сим.) трансформируются как предшествующие две группы: *человек, выдвинувшийся из*

* Цифра слева от точки указывает на падеж (3. = р, 4. = д и т. д.), первая справа — на предлог, вторая — на тип возможностей Т.

толпы и т. д. Но наряду с этим есть возможность и для иной Т: $\emptyset \rightarrow$ относящийся к, принадлежащий (к) — т. е. добавление к конструкции причастия с иным управлением, отличающимся от управления в исходной конструкции (что и отмечается на таблице): человек, относящийся к народу. Такая трансформация в предшествующих двух группах невозможна.

3.1214. Конструкции лестница из кладовой, тропинка из рощи, шоссе из города, наряду с трансформацией Т: $\emptyset \rightarrow$ Г_{д.пр.} (тропинка из рощи — тропинка, ведущая из рощи) допускают также и расширение следующим образом: Т: $S^1 \text{ из } C^2_p \rightarrow S^1 \text{ из } C^2_{pk} C^3_d$ или $S^1 \text{ из } C^2_p \text{ в, на } C^3_v$: письмо из Киева в Москву, лестница из кладовой на чердак (см. Грам., 249). Этим они и отличаются от остальных конструкций с возможной трансформацией с Г_{д.пр.}.

3.122. Страдательное причастие вклинивается в следующих группах:

3.1221. Апельсины из Грузии — апельсины, привезенные из Грузии (Т: $S^1 \text{ из } C^2_p \rightarrow S^1 \Gamma_{с.пр.} \text{ из } C^2_p$). Для некоторых из этих конструкций возможна трансформация $C^2 \rightarrow$ П: грузинские апельсины, а также — действительное причастие вместо страдательного: апельсины, прибывающие из Грузии. Для этих конструкций возможна также Т с заменой $\text{из } C^2_p \rightarrow C^2_p$ (т. е. Т: $\text{из} \rightarrow \emptyset$): апельсины Грузии (последние две возможности на таблице не отмечаются).

3.1222. Конструкции подсвечник из бронзы, черпалка из бересты, мостовая из булыжника во всем сходятся с предшествующей группой. В большинстве случаев здесь возможна замена второго существительного на прилагательное: бронзовый подсвечник, берестяная черпалка. Отличаются они от членов предшествующей группы тем, что для них невозможна Т: $\text{из} \rightarrow \emptyset$ (т. е. невозможна конструкция *подсвечник бронзы).

3.13. Конструкции типа человек из любопытных, дама из новоприезжих, мальчик из робких характеризуются морфологически тем, что в них второе существительное образовано из прилагательного. Трансформации для этих сочетаний следующие. Возможно превращение второго существительного в прилагательное: любопытный человек и т. д.

3.14. Трудно трансформируемы конструкции типа ария из оперы, отрывки из романа, строки из стихотворений (ср. Грам., 247). Помимо возможного вклинивания страдательного причастия (ария, взятая из оперы — Т: $\emptyset \rightarrow$ Г_{с.пр.}) предлагается замена первого существительного на существительное «часть» (часть из оперы, части из романа — Т: $S^1 \rightarrow$ часть).

3.2. S^1 с C^2_p .

3.211. Объектуальными являются следующие конструкции с предлогом с: прыжок с вышки, привычка с детства (Т: прыгнуть с вышки, привыкнуть с детства — S^1 с $C^2_p \rightarrow \Gamma^{C^1} C^2_p$).

3.212. Объектуально-атрибутивные конструкции могут быть типа рапорты с ферм, Т: рапорты, полученные с ферм или рапортуют с ферм.

3.22. Атрибутивные конструкции и здесь выступают как с причастием действительного, так и с причастием страдательного залога.

3.2211. Месяц с левой стороны \rightarrow месяц, всходящий с левой стороны. Т: $\rightarrow S^1 \Gamma_{д.пр.} \text{ с } C^2_p$.

3.2212. Сочетания типа хлеборобы с Украины — хлеборобы, происходящие с Украины или украинские хлеборобы вместо действительно-причастной трансформации предпочитают замену второго существительного на прилагательное.

3.2213. Подобно некоторым сочетаниям с предлогом *из* и здесь есть конструкции, трансформируемые в обороты с действительным причастием и помимо этого допускающие распространение в оборот с *к*, в S^3 : *лестница с вышки — лестница, ведущая с вышки и лестница с вышки в купальню*.

3.222. Конструкции с вклинивающимся причастием страдательного залога: *сюртук с барского плеча — сюртук, подаренный с барского плеча, цветы с юга, кора с дерева*; Рабочие... прислали... *горсть земли с форта Мон-Валериан* (Э.).

3.3. S^1 от S^2_p .

3.31. Т: $S \rightarrow \Gamma^C$: *отдых от усталости — отдыхать от усталости, отказ от ошибок — отказаться от ошибок*; так же: *уход от семьи, спасение от преследования, оторванность от жизни*.

3.32. Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{пр}$

3.3211. $\emptyset \rightarrow \Gamma_{д.пр.}$: *мазь от веснушек — мазь, защищающая от веснушек, крем от загара — крем, предохраняющий от загара*; так же: *порошки от кашля, средство от бессоницы*. Часть этих конструкций означает то же самое, что такие же конструкции с *против* (ср. Грам., 253): *мазь от веснушек — мазь против веснушек*.

3.3212. $\emptyset \rightarrow \Gamma_{д.пр.}$ и с возможным расширением $\emptyset \rightarrow$ до, к S^3 : *дорога от села — дорога от села к городу, время от полуночи — время от полуночи до утра*.

3.322. Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{с.пр.}$: *наследство от отца — наследство, полученное от отца, письмо от матери — письмо, полученное от матери*.

3.323. В этих сочетаниях возможны трансформации, при которых вклинивается причастие и помимо этого меняется форма S^2 .

3.3232. Т: $S^1 \text{от} S^2_p \rightarrow S^1 \Gamma_{с.пр.} (\Pi') S^2_k$: *слезы от восторга — слезы, вызванные восторгом, свет от фонаря — свет, излучаемый фонарем*. Как видно, в этих конструкциях единообразие: новая форма S^2 — беспредложный творительный. Ср. также: На 28 апреля в Новочеркасске назначен был сбор... *делегатов от станиц и войсковых частей* (Ш.).

3.4. S^1 до S^2_p .

3.411. Т: $S^1 \rightarrow \Gamma^{C1}$: *проезд до села, курение до завтрака — проехали до села, курили до завтрака*.

3.412. Т: $S^1 \rightarrow \Gamma^{C1}$ или $\emptyset \rightarrow \Gamma_{д.пр.}, \Gamma_l$ (личная форма глагола): *Я считался в отпуску до окончания наук* (П.): *отпуск до окончания наук — отпустили до окончания наук или (скорее) отпуск, данный до окончания наук; отпуск длился до окончания наук*.

3.42. Намечаются и здесь конструкции, где первое существительное соотносительное с прилагательным и поэтому Т: $S^1 \text{до} S^2_p \rightarrow \Pi^{C1} \text{до} S^2_p$ (причем прилагательное чаще всего выступает в краткой форме: Π_l): *преданность до самозабвения — предан до самозабвения, решимость до азарта — решимый до азарта*; в нем... *поселили ко всему доверчивость до излишества* (Гонч).

3.43. Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{д.пр.}$: *коса до плеч — коса, доходящая до плеч; кудри черные до плеч* (П.).

3.44. Своеобразны конструкции типа *чиновник до мозга костей, педагог до глубины души*. В этих случаях, как нам кажется, возможна только присоединительная трансформация — т. е. Т такая, при которой как S^1 так и S^2 одинаково зависят от одного глагола: *чиновник до мозга костей — он являлся чиновником... до мозга костей* [Т: $S^1 \text{до} S^2_p (S^3_p) \rightarrow \Gamma + S^1 + \text{до} S^2_p (S^3_p)$].

3.45. Есть одно слово: *охотник*, которое в одном из своих значений присоединяет к себе другое существительное с *до* (или глагол в инфинитиве): *охотник до приключений, охотник до баб*; *Охотники мы все до новизны* (П.). В этом случае возможна замена существительного «охотник» на глагол «любить» с соответствующим изменением формы второго существительного: *любит приключения, баб*.

3.5. S^1 из-под S^2_p .

3.51. Т: $S^1 \rightarrow \Gamma^{S^1}$: *освобождение из-под гнета — освободить(ся) из-под гнета*; *выход из-под земли — выйти из-под земли*.

3.52. Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{пр}$: *пыль из-под копыт — пыль, летящая из-под копыт*; *ветер из-под колес — ветер, летящий из-под колес*.

3.53. Конструкции типа *бутылка из-под керосина* трудно поддаются трансформации. Трансформы, на которые наталкивал бы сам предлог *из-под* — **бутылка, взятая из-под керосина* — вряд ли жизненны. Однако все они трансформируемы с добавлением страдательного причастия и изменением формы S^2 : *бутылка, использованная под керосин*; *банка, использованная под варенье* и т. д. Помимо этого для некоторых из них возможно изменение $S^2 \rightarrow П$: *бочка из-под вина — винная бочка*.

3.6. S^1 у S^2_p .

3.611. Т: $S^1 \rightarrow \Gamma^{S^1}$: *лежанье у костра*; *ученье у мастера — лежать у костра, учиться у мастера*.

3.612. Т: $S^1 \rightarrow \Gamma^{S^1}$ или $\emptyset \rightarrow \Gamma_{пр}$: *разговор у коменданта — разговаривать у коменданта*; *разговор, состоявшийся у коменданта*.

3.62. Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{пр}$: *мост у Витебска — мост, стоящий у Витебска*. Ср.: После многих *балов и праздников у польских магнатов, у придворных и у самого государя*. . . (Л. Т.); *В лачугах у подножия горы виднелись огоньки* (Кор.); *фашизм был разбит на маленьком куске земли у Волги* (Э.) ($\emptyset \rightarrow \Gamma_{пр}$: *организуемый, стоящий* и т. п.).

3.63. Наконец, некоторые из конструкций с *у* трансформируемы непосредственно в конструкции с беспредложным родительным, а через последнее — в сочетания с (притяжательным или вообще относительным) прилагательным (не все), в конструкции с «относящийся к», «принадлежащий (к)» (также не все); все они превратимы в конструкции типа у S^2 б S^1 (что и отмечается в таблице); *хвост у лошади — лошадиный хвост — у лошади (есть, был) хвост*; ср. еще: *характер у Маши*; *в чертах у Ольги* (жизни нет — П.).

3.7. S^1 возле, против, насчет. . . S^2_p .

3.711. Т: $S^1 \rightarrow \Gamma^{S^1}$: *борец против косности и рутины — борется против косности и рутины*.

3.712. Т: $S^1 \rightarrow \Gamma^{S^1}$ или $\emptyset \rightarrow \Gamma_{пр}$: *восстание против помещиков — восстали против помещиков или восстание, поднятое против помещиков*.

3.72. Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{пр}$: *движение против войны — движение, организуемое против войны*; *На стойле возле Дона каждый день пятнилась песчаная коса трупам* (Ш.); *Серые массивы садов вокруг города напоминали. . . туман* (Павл.); *Полнота и. . . пышность груди подтверждали обещание насчет детей* (Гонч.); *доктор сообщил ему свои опасения насчет здоровья жены* (Гонч.).

3.8. S^1 для S^2_p .

3.81. Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{пр}$: *ларь для промывки руды — ларь, предназначенный для промывки руды*; *оборудование для бронепоездов*; *базы для скотины*; *состоится станичный сбор для выборов делегатов на Войсковой круг* (Ш.); *Он на завтраке для русских журналистов* (Сим.). В некоторых из этих конструкций

возможна $T C^2 \rightarrow P$: *игрушки для детей — детские игрушки, будка для сторожа — сторожевая будка.*

3.82. Некоторые конструкции с *для* трансформируемы лишь способом присоединения: *опора для семьи — для (своей) семьи* (он является настоящей) *опорой* ($T: C^1$ для $C^2_p \rightarrow \Gamma + C^1 +$ для C^2_p — порядок следования элементов не существен).

3.9. C^1 без C^2_p .

3.91. $T: C^1 \rightarrow \Gamma$ в большинстве случаев сопровождается какой-нибудь другой трансформационной возможностью: *грусть без причины — грустит без причины и грусть возникает без причины или грусть, возникающая без причины*. Ср.: *Пять лет провела она в этом скучном сне, как она называла замужество без любви* (Гонч.). *Замужество* — не соотносительно с глаголом, но, оказывается, существенным является не соотносительность с глаголом: подобные конструкции, как было показано, появляются и рядом с (краткими формами) прилагательных, а в данном случае — рядом с наречием, выступающим в качестве сказуемого: *замужество без любви — замужем без любви*. Эти же конструкции трансформируемы еще и следующим образом: C^1 без $C^2_p \rightarrow v$, при C^1_n не б C^2_p : *в любви не было радости; проезд без билета — при проезде не было билета*. Некоторые из них превращаются также и путем замены $C^2 \rightarrow P$: *безрадостная любовь*.

3.92. В атрибутивных сочетаниях (т. е. где $T: C^1 \rightarrow \Gamma$ или P), невозможна) с этим предлогом вряд ли возможна вставка $\Gamma_{пр}$: *квартира без стекол — *квартира, оставшаяся без стекол; суп без мяса, человек без сердца, глаза без блеска*. Здесь скорее всего надо прибегать к $T: C^1$ без $C^2_p \rightarrow v, UC^1$ не б C^2_p : *в квартире не было стекол, у человека не было сердца*.

3.10. Сводная таблица сетки T для сочетаний $C^1_n C^2_p$: (см. табл. № 3, стр. 66—68)

4. $C^1_n C^2_d$ ($n = k, по$)

4.1. $C^1_k C^2_d$

4.11. $T: C^1 \rightarrow \Gamma$.

4.111. Объектуальные конструкции: *стремление к счастью — стремиться к счастью, тяготение к науке — тяготеть к науке*.

4.112. Объектуально-атрибутивные конструкции: *письмо к брату — писать к брату, письмо, направленное к брату*.

4.12. $T: C^1 \rightarrow P, C^1$: *требовательность к ученикам — требователен к ученикам; внимательность к товарищам — внимателен к товарищам*.

4.13. $T: \emptyset \rightarrow \Gamma_{пр}$.

4.31. $T: \emptyset \rightarrow \Gamma_{д.пр}$: *дорога к лесу — дорога, ведущая к лесу; путь к счастью — путь, ведущий к счастью*.

4.132. $T: \emptyset \rightarrow \Gamma_{с.пр}$: *жалость к ребенку, любовь к родине — жalousть, испытываемая к ребенку; любовь, питаемая к родине; обновка к дядину сговору — обновка, сделанная к дядину сговору; показывая вид совершенного равнодушия к присутствию Александра (Гонч.); Шемячий голод боролся в нем с отвращением к мертвому телу (Пол.); братские чувства к нам различных народов (Э).*

4.14. Конструкции типа *предисловие к книге* могут быть трансформированы путем добавления страдательного причастия: *предисловие, написанное к книге*. Однако они отличаются от конструкций, рассмотренных под **4.132** тем, что могут быть трансформированы в сочетание с предлогом *с* и через это — в конструкцию с союзом *и*: *предисловие к книге — книга с предисловием*,

Табл. № 3.

$\Gamma^1 \Pi^1 C^2_p$	$C^1 \Gamma_{д. пр.} \Pi^2 C^2_p$	$C^1 \Gamma_{с. пр.} \Pi^2 C^2_p$	$C^1 \Gamma_{пр.} \Pi^1 C^2_{к'}$	$\Pi^2 C^1$	$C^1 \Pi^2 \Pi^1 C^3_{к'}$	$\Pi^1 \Pi^1 C^2$	$\Gamma + C^1 + \Pi^2 C^2_p$	$УС^2 (нс) \delta C^1_{и-р}$	
									<i>из</i>
+	-	-	-	-	-	-	-	-	бегство из плена
+	-	+	-	-	-	-	-	-	письмо из Киева
-	+	-	-	(+)	-	-	-	-	парень из нашего города
-	+	-	-	-	-	-	-	-	обоз из двадцати возов
-	+	-	+	-	-	-	-	-	человек из толпы
-	+	-	-	-	+	-	-	-	лестница из кладовой
-	(+)	+	-	-	-	-	-	-	апельсины из Грузии
-	-	+	-	+	-	-	-	-	подсвечник из бронзы
-	-	-	-	+	-	-	-	-	человек из любопытных
-	-	(+)	-	-	-	-	-	-	отрывок из романа
									<i>с</i>
+	-	-	-	-	-	-	-	-	привычка с детства
+	-	+	-	-	-	-	-	-	рапорты с ферм
-	+	-	-	-	-	-	-	-	месяц с левой стороны
-	+	-	-	+	-	-	-	-	хлебобобы с Украины
-	+	-	-	-	+	-	-	-	лестница с вышки
-	-	+	-	-	-	-	-	-	сюржук с барского плеча
									<i>от</i>
+	-	-	-	-	-	-	-	-	отказ от ошибок
-	+	-	-	-	-	-	-	-	мазь от веснушек
-	+	-	-	-	+	-	-	-	дорога от села, время от полуночи

Γ^{C^1} п C_p^2	$C^1 \Gamma_{д.пр.}$ п C_p^2	$C^1 \Gamma_{с.пр.}$ п C_p^2	$C^1 \Gamma_{пр.}$ п' $C_{К'}^2$	$\Pi^{C^2} C^1$	C^1 п C^2 п' $C_{К'}^2$	$\Pi_{/}^{C^1}$ п C^2	$\Gamma + C^1 +$ п C_p^2	$у C^2$ (не) б $C_{и-р}^1$	Т: † C^1 п C_p^2
—	—	+	—	—	—	—	—	—	наследство от отца
—	—	—	+	—	—	—	—	—	слезы от восторга
									<i>до</i>
+	—	—	—	—	—	—	—	—	проезд до села
+	—	+	—	—	—	—	—	—	отпуск до окончания наук
—	—	—	—	—	—	+	—	—	преданность до самозабвения
—	+	—	—	—	—	—	—	—	коса до пояса
—	—	—	—	—	—	—	+	—	чиновник до мозга костей
—	—	—	—	—	—	—	—	—	охотник до новизны
									<i>из-под</i>
+	—	—	—	—	—	—	—	—	освобождение из-под гнета
—	+	—	—	—	—	—	—	—	искорки из-под копыт
—	—	—	+	—	—	—	—	—	бутылка из-под керосина
									<i>у</i>
+	—	—	—	—	—	—	—	—	лежанье у костра
+	+	—	—	—	—	—	—	—	разговор у коменданта
—	+	+	—	—	—	—	—	—	балы у магнатов
—	—	—	—	(+)	—	—	—	+	хвост у лошади
									<i>возле, вокруг, против, насчет</i>
+	—	—	—	—	—	—	—	—	борец против косности
+	—	+	—	—	—	—	—	—	восстание против помещиков

$\Gamma^1 C^2_p$	$C^1 \Gamma_{д. пр.} C^2_p$	$C^1 \Gamma_{с. пр.} C^2_p$	$C^1 \Gamma_{пр.} \Gamma' C^2_{к'}$	$\Gamma^2 C^1$	$C^1 \Gamma C^2_p \Gamma' C^2_{к'}$	$\Gamma^1 \Gamma C^2$	$\Gamma + C^1 + \Gamma C^2_p$	ΓC^2 (не) $\Gamma C^1_{н-р}$	Т: $\uparrow C^1 \Gamma C^2_p$
-	-	+	-	-	-	-	-	-	движение против войны
-	+	-	-	-	-	-	-	-	дом возле реки
-	-	-	-	-	-	-	-	-	для
-	-	-	+	(+)	-	-	-	-	игрушки для детей
-	-	-	-	-	-	-	+	-	опора для семьи
-	-	-	-	-	-	-	-	-	без
+	+	-	-	-	-	-	-	-	грусть без причины
-	-	-	-	-	-	-	-	+	квартира без стекол

книга и ее предисловие; эпилог к драме — драма с эпилогом, драма и ее эпилог.

4.2. $C^1 \Gamma C^2_{д.}$

4.21. Т: $C^1 \rightarrow \Gamma$.

4.211. Объектуальные конструкции: *лазанье по деревьям, по канату — лазать по деревьям, по канату; движение по реке — двигаться по реке*; Сам Маркс так описал ход своих рассуждений по этому вопросу (В. Л.); это тормозит работу текстильных фабрик по улучшению качества тканей (из газет).

4.212. Объектуально-атрибутивные конструкции: *расходы по приготовлению — *расходовать по приготовлению, и скорее расходы, сделанные по приготовлению; исследования по вопросу — *исследовать по вопросу и скорее исследования, сделанные по вопросу.*

4.22. Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{пр.}$: *сосны по холмам — сосны, растущие по холмам; платье по заказу — платье, сделанные (сшитые) по заказу.*

4.23. Трудно трансформируются конструкции типа *приказ по школе, родственник по матери, комиссия по исследованию*. И в этих случаях можно допускать расширение с причастием: *комиссия, созданная по исследованию*. Но чем тогда отличить их от предшествующей группы — ведь разница между ними «ощущается». Или это ощущение — лживое?

Еще большую трудность представляет собой конструкция, ощущаемая обычной, в следующей фразе: Нет, не так это делается *поэтами по натуре и призванию!* (Бел.). Пожалуй, можно допускать присоединительную связь: *по натуре они являются поэтами.*

4.3. Сводная таблица сетки Т для сочетаний $C^1 \Gamma C^2_{д.}$: (см. табл. №4, стр 69)

5. $C^1 \Gamma C^2_{в}$ ($\Gamma = в, на, за, под, с, через, о, про$)

5.1. $C^1 \Gamma C^2_{в}$

Табл. № 4.

$\Gamma C^1 п C^2$	$C^1 \Gamma_{д.пр.} п C^2$	$C^1 \Gamma_{с.пр.} п C^2$	$п C^1 п C^2$	$C^2 с C^1$	$\Gamma + C^1 + п C^2$	Т: $\uparrow C^1 п C^2$
						к
+	-	-	-	-	-	стремление к счастью
+	-	+	-	-	-	письмо к брату
-	-	-	+	-	-	требовательность к ученикам
-	+	-	-	-	-	дорога к лесу
-	-	+	-	-	-	жалость к ребенку
-	-	(+)	-	+	-	предисловие к книге
						по
+	-	-	-	-	-	движение по реке
(+)	-	+	-	-	-	исследования по вопросу
-	+	-	-	-	-	сосны по холмам
-	-	+	-	-	-	комиссия по исследованию
-	-	-	-	-	+	поэты по натуре

5.110. Т: $C^1 \rightarrow \Gamma$

5.111. Чисто объектуальные сочетания: *игра в дураки — играть в дураки*; *вера в свою правоту — верить в свою правоту*; *стук в стену — стучать в стену*; он весь напряжился, готовый сделать прыжок в чашу (Пол.); массивы садов... напоминали клубящийся у входа в ущелье туман (Павл.).

5.112. Объектуально-атрибутивные: *отправление в полночь — отправиться в полночь*; *отправление, происходящее в полночь*; Ох, эта мне любовь в двадцать лет! вот уж презренная, никуда не годится! — Какая же, дядюшка, годится? в сорок? (Гонч.) (*любовь в двадцать лет — любить в двадцать лет и любовь, испытываемая в двадцать лет*).

5.12. Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{пр.}$: *дорога в жизнь — дорога, ведущая в жизнь*; *дверь в дом — дверь, ведущая в дом*; я не поручусь для него в дальнейшем и за пятьсот долларов в месяц (Сим.) (*— пятьсот долларов, получаемых в месяц*).

5.13. Некоторые сочетания с в содержат в своем составе в качестве обязательного элемента числительное и трансформируются так, что второе суще-

ствительное, вместе со своим определением-числительным заменяется одним сложным прилагательным: *дом в три этажа — трехэтажный дом, мороз в сорок градусов — сорокаградусный мороз.*

5.14. Есть, наконец, сочетания, которые трансформируются путем добавления причастия и одновременным изменением формы второго существительного: *бумага в клеточку — бумага, разлинованная клетками.* Иногда и в этих сочетаниях может выступать числительное: *записка в три строчки — записка, содержащая три строчки.*

5.2. $S^1 \text{в} S^2_{\text{в}}$.

5.21. Т: $S^1 \rightarrow \Gamma$: *ответ на вопрос — ответить на вопрос; расходы на просвещение — расходовать на просвещение; Мать ... не могла дать ему настоящего взгляда на жизнь (Гонч.); Я вчера печатала для шефа проект издательского договора на будущую книгу Гарри (Сим.).*

5.22. Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{\text{пр}}$: *дорога на Берлин — дорога, ведущая на Берлин; дверь на балкон — дверь, ведущая на балкон; из него вышел человек на всю Европу (Чех.) — (человек на всю Европу — человек, прославившийся на всю Европу); завтрак на быструю руку — завтрак, сделанный на быструю руку.*

5.23. Своеобразна трансформация сочетаний типа *мастер на выдумки*: Т: $S^1 \text{ на } S^2_{\text{в}} \rightarrow S^1 \Gamma_{\text{и}} S^2_{\text{в}}$: *мастер выдумывать.*

5.24. Присоединительная трансформация возможна в сочетаниях «право на»: *право на самоопределение — на самоопределение они имеют свое право; Теперь у ней нет прав на благодарность (Лерм.).*

5.3. $S^1 \text{за} S^2_{\text{в}}$.

5.311. Т: $S^1 \rightarrow \Gamma$: *борьба за мир — бороться за мир, борьба за выполнение и перевыполнение государственных планов, соревнование за повышение производительности труда.*

5.312. Т: $S^1 \rightarrow \Gamma$ и $\emptyset \rightarrow \Gamma_{\text{пр}}$: *укоры за несоблюдение правил передвижения — укоряют за несоблюдение и укоры, получаемые (даваемые) за несоблюдение; возвращение за день до праздника — возвращаться за день до праздника и возвращение, имевшее место за день до праздника.*

5.32. Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{\text{пр}}$: *сведения за прошлую неделю — сведения, полученные за прошлую неделю.*

5.33. Присоединительная трансформация: *в № 10 за прошлый год — (это мы) читали за прошлый год, в № 10.*

5.4. $S^1 \text{под} S^2_{\text{в}}$.

5.41. Т: $S^1 \rightarrow \Gamma$: *песни под пьяную гармошку — поют под пьяную гармошку.*

5.42. Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{\text{пр}}$: *стулья под орех — стулья, сделанные под орех.*

5.43. Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{\text{пр}}$ + изменение формы второго существительного: *банка под варенье — банка, предназначенное для варенья.*

5.5. Немногочисленны, но очень характерны сочетания с *с*: *мальчик с пальчик, огурец с гору.* Для них мы не нашли трансформационных возможностей.

5.6. $S^1 \text{через} S^2_{\text{в}}$.

5.611. Т: $S^1 \rightarrow \Gamma$: *переправа через реку — переправиться через реку.*

5.612. Т: $S^1 \rightarrow \Gamma$ или $\emptyset \rightarrow \Gamma_{\text{пр}}$: *возвращение через месяц — возвратиться через месяц и возвращение, имевшее место через месяц.*

5.62. Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{\text{пр}}$: *путь через перевал — путь, пролеглий через перевал.*

5.7. Сочетания с предлогом *о* и винительным падежом второго существ-

Табл. № 5.

$\Gamma_n^{C^1 C^2}$	$C^1 \Gamma_{д.пр.} п C^2$	$C^1 \Gamma_{е.пр.} п C^2$	$C^1 \Gamma_{пр.} (\pi') C_k^2$	$\Pi^{(4)} C^1 C^1$	$C^1 \Gamma_{и}^{C^2}$	$\Gamma + C^1 + п C^2$	Т: $\uparrow C^1 п C^2$
							<i>в</i>
+	-	-	-	-	-	-	стук в стену
+	-	+	-	-	-	-	отправление в полночь
-	+	-	-	-	-	-	дверь в дом
-	-	-	-	+	-	-	мороз в сорок градусов
-	-	-	+	-	-	-	бумага в клеточку
							<i>на</i>
+	-	-	-	-	-	-	наступление на врага
-	+	-	-	-	-	-	дорога на Берлин
-	-	+	-	-	-	-	ситец на рубашонку
-	-	-	-	-	+	-	мастер на выдумки
-	-	-	-	-	-	+	право на самоопределение
							<i>за</i>
+	-	-	-	-	-	-	борьба за мир
+	-	+	-	-	-	-	возвращение за день до праздника
-	-	+	-	-	-	-	сведения за прошлую неделю
-	-	-	-	-	-	+	в № 10 за прошлый год
							<i>под</i>
+	-	-	-	-	-	-	песни под гармошку
-	-	+	-	-	-	-	стулья под орех
-	-	-	+	-	-	-	банка под варенье

$\Gamma^1 C^2$	$C^1 \Gamma_{д.пр.} п C^2$	$C^1 \Gamma_{с.пр.} п C^2$	$C^1 \Gamma_{пр.} (п') C^2_{к'}$	$\Pi^{(ч)сз} C^1$	$C^1 \Gamma_{и} C^2$	$\Gamma + C^1 + п C^2$	Т: $\uparrow C^1 п C^2_{в}$
							с
-	-	-	-	-	-	-	мальчик с пальчик
							через
+	-	-	-	-	-	-	переправа через реку
+	+	-	-	-	-	-	возвращение через месяц
-	-	+	-	-	-	-	путь через перевал
							про
+	-	+	-	-	-	-	разговор про лен, письмо про...
-	-	+	-	-	-	-	книга про войну

вительного, как правило, имеют еще одно существительное: удар мяча об стену, Т: $C^1 C^2_{р}$ о $C^3_{в} \rightarrow C^2_{и} \Gamma^{C^1}$ о C^2 : мяч ударился об стену.

5.8. C^1 про $C^2_{в}$.

5.81. Т: $C^1 \rightarrow \Gamma$: разговор про дождь, про лен, про скотный двор — разговаривать про дождь, про лен, про скотный двор, письмо про то и другое — писать про то и письмо, написанное про то и другое.

5.82. Т: $\phi \rightarrow \Gamma_{пр.}$: книга про войну — книга, написанная про войну.

5.9. Сводная таблица сетки Т для сочетаний C^1 п $C^2_{в}$: (см. табл. № 5, стр. 71—72)

6. $C^1 п C^2_{т}$ (п = с, под, над, между, перед, за)

6.1. $C^1 с C^2_{т}$

6.111. Т: $C^1 \rightarrow \Gamma$: борьба с засухой — бороться с засухой, случай с письмом — случилось с письмом; Дела мои принудили меня жить несколько лет в разлуке с моими близкими (Фонв.); Он при встречах с знакомыми... поздравляет их с чем-нибудь (Гонч.); устал от этих трех лет и от этой странной встречи с Дашей (Гл.).

6.112. Т: $C^1 \rightarrow \Gamma$ или $\phi \rightarrow \Gamma_{пр.}$: занятия с отстающими — занятия, проводимые с отстающими.

6.12. Т: $C^1 п C^2_{т} \rightarrow C^1 п C^2_{и}$: мальчик с темным лицом — у мальчика было темное лицо, бабы с измученными лицами — у баб были измученные лица, солдатик с птичьим носом — у солдатика был птичий нос; белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине (Чех.); Человеку с стяну-

тymi челюстями особенно горько (Сер.); пузатые козы со змеиными глазами (Гл.); специалисты с высшим образованием; нет на всем Черноморье другого района с такими значительными перспективами (Павл.). Ср. также и без П: человек с бородой — у человека (была) борода.

6.13. Т: $S^1C^2T \rightarrow V, наC^1пBC^2T$: бутылка с керосином — в бутылке есть керосин, ведро с водой — в ведре есть вода, блюдо с клубникой — на блюде есть клубника; щи со свиной, пышки со сметаной; несколько удочек разной величины, и донных, и с поплавками и с бубенчиками (Гонч.); два огромные ломтя хлеба с ветчиной (Гонч.); ямщицкая шляпа с павлиньим пером (Чех.); девки подвешивают котелки с пшеном и салом (Сер.); шел с ней за арбой с именем по хутору (Ш.).

Нередко эти сочетания имеют еще и третий элемент — существительное с каким-то местным падежом и предлогом: Командир полка... выбрался на заскрипевшей под ним поворотный брус с колесом на конце (Сер.); Мокрое ее лицо с капельками и на бровях, и на ресницах, и на верхней губе было возбужденным (Баб.). Серый конь в яблоках, покрытый синей сеткой с кисточками по борту... мчал пролетку (Фед.). Структура трансформов этих трехсловных сочетаний такова же, как и структура соответствующих двусловных, но с индивидуальными отличиями в каждом случае: на конце колеса был брус; на лице, на бровях... были капельки и т. д.

6.14. Т: $S^1C^2T \rightarrow C^1иC^2$: отец с матерью — отец и мать, равнина с туманной далью — равнина и туманная даль.

6.15. В некоторых конструкциях с предлогом с трансформация возможна только в случае, если иметь в виду контаминацию двух фраз: авария со светом — что-то случилось со светом + была авария; сцена с отцом — была сцена + он встретился с отцом.

6.2. $S^1подC^2T$.

6.21. Т: $S^1 \rightarrow Г$: лежание под навесом — лежит под навесом, уход под благовидным предлогом — уходит под благовидным предлогом. (В последнем случае возможна и иная Т: уход, совершаемый под благовидным предлогом).

6.22. Т: $\emptyset \rightarrow Г_{пр}$: Ты знал ли дикий край, под знойными лучами, Где роши и луга поблекшие цветут? (Л.): край под знойными лучами — край, простирающийся под знойными лучами.

6.3. $S^1надC^2T$.

6.31. Т: $S^1 \rightarrow Г$: работа над изобретением — работать над изобретением, насмешки над судьбой — надсмяться над судьбой.

6.32. Т: $\emptyset \rightarrow Г_{пр}$: портрет над столом — портрет, висящий над столом; победа над врагом — победа, одержанная над врагом.

6.4. $S^1междуC^2T$.

6.41. Т: $S^1 \rightarrow Г$: продвижение между льдами — продвигаться между льдами.

6.42. Т: $\emptyset \rightarrow Г_{пр}$: просветы между тучами — просветы, виднеющиеся между тучами; связь между городом и деревней — связь, существующая между городом и деревней.

6.5. $S^1передC^2T$.

6.511. Т: $S^1 \rightarrow Г$: преклонение перед иностранщиной — преклоняться перед иностранщиной.

6.512. Т: $S^1 \rightarrow Г$ или $\emptyset \rightarrow Г_{пр}$: прогулка перед сном — гулять перед сном и прогулка, совершаемая перед сном.

- 6.521.** Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{д.пр.}$: *стул перед окном — стул, стоящий перед окном.*
- 6.522.** Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{с.пр.}$: *страх перед отцом — страх, ощущаемый перед отцом, вина перед товарищами — вина, осознанная (осознаваемая) перед товарищами.* Интересно, что в этих случаях опять возможна предикативная конструкция: *(ему) страшно перед отцом, виноват перед товарищами.*
- 6.6.** $S^1 \text{ за } S^2_{т.}$
- 6.61.** Т: $S^1 \rightarrow \Gamma$: *уход за больным — ухаживать за больным, возня за дверью — возиться за дверью.*
- 6.62.** Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{пр.}$: *сотрудник за столом — сотрудник, сидящий за столом; пустое место за столом много говорит сердцу (Э.).*
- 6.7.** Сводная таблица сетки Т для сочетаний $S^1 \text{ п } S^2_{т.}$: (см. табл. № 6, стр. 75)
- 7.** $S^1 \text{ п } S^2_{п.}$ (п = в, на, о, при)
- 7.1.** $S^1 \text{ в } S^2_{п.}$
- 7.111.** Т: $S^1 \rightarrow \Gamma$: *обвинение в убийстве — обвинять в убийстве, длительное в русском слове упражнение (Лом.) — упражняться в русском слове, нужда в специалистах — нуждаться в специалистах; По рабочим часам ее больше устраивает работа в отделе информации (Сим.); Ворошиловградская область испытывает нужду в целом ряде хозяйственных товаров (газ.).*
- 7.112.** Т: $S^1 \rightarrow \Gamma$ или $\emptyset \rightarrow \Gamma_{пр.}$: *разговор в вагоне — разговаривать в вагоне и разговор, происшедший в вагоне; суета в доме — суетятся в доме и суета, наблюдаемая в доме.*
- 7.12.** Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{пр.}$
- 7.121.** Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{д.пр.}$: *цветы в саду — цветы, растущие в саду, ученики в школе — ученики, находящиеся (занимающиеся) в школе; Исаакиевский собор лучше и выше собора в его городе (Гонч.); начали толковать о будущем порядке в доме (Гонч.); Зверь вздохнул, поднялся, лапой перевернул человека в сугробе (Пол.); дом в Веймаре . . . будет и через века манить странников (Э.).*
- 7.122.** $\emptyset \rightarrow \Gamma_{с.пр.}$: *лазейка в заборе — лазейка, обнаруживаемая в заборе, урожай в крестьянском хозяйстве — урожай, собираемый в крестьянском хозяйстве.*
- 7.13.** Т: $S^1 \text{ в } S^2_{п.} \rightarrow \text{на } S^1 \text{ в } S^2_{п.}$: *старуха в очках — на старухе были очки, человек в накидке — на человеке была накидка, военный в шинели с капюшоном — на военном была шинель с капюшоном, женщина в красной повязке — на женщине была красная повязка.*
- 7.14.** Т: $S^1 \text{ в } S^2_{п.} \rightarrow$ либо $\Gamma_{с.пр.} S^1 \text{ в } S^2_{п.}$ либо $\text{П } S^1 \text{ в } S^2_{п.}$: *удача в делах — (ему) удается в делах, уклончивость в ответах — уклончив в ответах.*
- 7.2.** $S^1 \text{ на } S^2_{п.}$
- 7.211.** Т: $S^1 \rightarrow \Gamma$: *игра на рояле — играть на рояле, катанье на лодке — кататься на лодке.*
- 7.212.** Т: $S^1 \rightarrow \Gamma$ или $\emptyset \rightarrow \Gamma_{пр.}$: *болтовня на берегу (женевского озера) — болтать на берегу или болтовня, продолжавшаяся на берегу; бои на Волге, на Дону, на Днепре — бились на Волге или бои, развернувшиеся на Волге; разговор на прошлой неделе — разговаривать на прошлой неделе и разговор, происшедший на прошлой неделе.*
- 7.22.** Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{пр.}$
- 7.221.** Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{д.пр.}$: *лампа на комодe — лампа, стоящая на комодe, человек на костылях — человек, ходящий на костылях.*
- 7.222.** Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{с.пр.}$: *город на взгорье — город, расположенный на взгорье, дом на пригорке — дом, расположенный на пригорке.*

Табл. № 6.

$\Gamma_{п}^{C^1}$	$C^1 \Gamma_{д.пр.} п C^2$	$C^1 \Gamma_{с.пр.} п C^2$	$У C_p^1 б C_H^2$	$в C_H^1 б C_H^2$	$C_H^1 C^2$	$б C_H^1 \times \Gamma_{п} C^2$	$\Gamma:$ $\leftarrow C^1 п C^2$
							<i>с</i>
+	-	-	-	-	-	-	борьба с засухой
+	-	+	-	-	-	-	занятия с отстающими
-	-	-	+	-	-	-	мальчик с темным лицом
-	-	-	-	+	-	-	бутылка с керосином
-	-	-	-	-	+	-	отец с матерью
-	-	-	-	-	-	+	авария со светом
							<i>под</i>
+	-	-	-	-	-	-	лежание под навесом
-	+	-	-	-	-	-	край под знойными лучами
							<i>над</i>
+	-	-	-	-	-	-	работа над изобретением
-	+	-	-	-	-	-	портрет над столом
-	-	+	-	-	-	-	победа над врагами
							<i>между</i>
+	-	-	-	-	-	-	продвижение между льдами
-	+	-	-	-	-	-	просветы между тучами
							<i>перед</i>
+	-	-	-	-	-	-	преклонение перед иностранщиной
+	-	+	-	-	-	-	прогулка перед сном
-	+	-	-	-	-	-	стул перед окном
							<i>за</i>
+	-	-	-	-	-	-	уход за больными
-	+	-	-	-	-	-	сотрудник за столом

7.223. $T: \emptyset \rightarrow \Gamma_{с.пр.}$ или $C^2 \rightarrow \Pi$: *пальто на вате — пальто, сшитое на вате и ватное пальто*. $T: \emptyset \rightarrow \Gamma_{с.пр.}$ в этих случаях часто и невозможна: *судно на нарусах — парусное судно*.

7.23. $T: C^1 n C^2_n \rightarrow C^1 6 C^2_n$: *варенье на патоке — в варенье была патока, пряники на меду — в пряниках был мед*. Заслуживает внимания параллелизм между этими конструкциями и конструкциями с *в*, в группе **7:13**: там предлог *в* заменяется предлогом *на*, а здесь — предлог *на* предлогом *в*: *старуха в очках — на старухе (были) очки и тесто на дрожжах — в тесте были дрожжи*.

7.3. $C^1 o C^2_n$.

7.31. $T: C^1 \rightarrow \Gamma$: *разговор о сенокосе — разговаривать о сенокосе (но также и разговор, шедший о сенокосе), доклад о перспективах — докладывать о перспективах (доклад, читанный о перспективах чего-л.)*.

7.32. $T: \emptyset \rightarrow \Gamma_{пр.}$: *новости о лейтенанте — новости, полученные о лейтенанте; книга о детских болезнях — книга, написанная о детских болезнях; строки о любви — строки, написанные о любви*.

7.4. $C^1 пр C^2_n$.

7.41. $C^1 \rightarrow \Gamma$: *жизнь при Петре I — жить при Петре I; и яблочком нос, и поворот головы вбок при пристальном взгляде — это она, Даша (Ш.)*.

7.42. $T: \emptyset \rightarrow \Gamma_{пр.}$: *Институт при ЦК КПСС — институт, учрежденный при ЦК КПСС, аспирант при кафедре русского языка — аспирант, работающий при кафедре*.

7.5. Сводная таблица сетки T для сочетаний C^1 и C^2_n : (см. табл. № 7, стр. 77)

8. Подытоживая результаты трансформационного анализа рассмотренных до сих пор конструкций — т. е. всех конструкций типа $C^1(n)C^2_k$ кроме $C^1 C^2_p$ — можно установить следующее. В каждой из групп этих конструкций, в большем или меньшем количестве случаев, были возможны следующие трансформации: 1. $T: C^1 \rightarrow \Gamma$, 2. $T: \emptyset \rightarrow \Gamma_{пр.}$, во многих из них: 3. $C^2 \rightarrow \Pi$ и в некоторых 4. $C^1 \rightarrow \Pi_1$ (последняя трансформация была очень близка к $T: C^1 \rightarrow \Gamma$, поскольку, как видно было, существенным являлось не то, переходит ли первое существительное в глагол или в прилагательное, а лишь то, что первое существительное переходит в разряд предикативных слов). Помимо этого в каждой группе были некоторые индивидуальные случаи, ограниченные не всей группой в целом, а лишь одним или несколькими ее членами. Одной из таких индивидуальных (но в нескольких группах встречающихся) возможностей была $T: C^1(n)C^2_k \rightarrow C^1 \Gamma_{пр.}(n')C^2_k$ — т. е. вклинивание причастия и одновременно с этим изменение формы второго существительного: *синяк от ушиба — синяк, причиненный ушибом; банка под варенье — банка, предназначенное для варенья*. При этом не был отмечен случай, когда такое же изменение формы второго существительного сопровождалось бы не со вклиниванием причастия, а с изменением первого существительного в предикативное слово; такая T была бы мыслима, напр., в случае *победа над врагом — победить врага*, однако и здесь изменение формы второго существительного легче было связать с появлением причастия: *победа, одержанная над врагом*.

9. $C^1 C^2_p$.

Своеобразие этих конструкций, отличающее их от рассмотренных выше типов, состоит в том, что они 1. в качестве характерной трансформации имеют $T: \emptyset \rightarrow \Gamma_{пр.}$, сопровождаемую с изменением формы второго существительного; 2. имеют такое же изменение второго существительного и при

Табл. № 7.

$\Gamma^{C^1} \Pi C^2$	$C^1 \Gamma_{д.пр.} \Pi C^2$	$C^1 \Gamma_{с.пр.} \Pi C^2$	$\Pi^{C^2} C^1$	$\left. \begin{matrix} \text{на} \\ \text{в} \end{matrix} \right\} C^1 \delta C^2_{\Pi}$	$C^1 \delta_{\text{на}} \delta C^2_{\text{в}} \Pi$	$\left. \begin{matrix} \Gamma^{C^1}_{\text{ср}} \\ \Pi^{C^1} \end{matrix} \right\} \delta C^2_{\Pi}$	$T: \\ \uparrow C^1 \Pi C^2_{\Pi}$
							<i>в</i>
+	-	-	-	-	-	-	обвинение в убийстве
+	+	-	-	-	-	-	разговор в вагоне
-	+	-	-	-	-	-	цветы в саду
-	-	+	-	-	-	-	лазейка в заборе
-	-	-	-	+	+	-	старуха в очках
-	-	-	-	-	-	+	удача в делах
							<i>на</i>
+	-	-	-	-	-	-	игра на рояле
+	+	-	-	-	-	-	разговор на прошлой неделе
-	+	-	-	-	-	-	лампа на комодe
-	-	+	-	-	-	-	город на взгорье
-	-	(+)	+	-	-	-	пальто на вате
-	-	-	-	+	-	-	варенье на патоке
							<i>о</i>
+	-	-	-	-	-	-	разговор о сенокосе
-	-	+	-	-	-	-	книга о болезнях
							<i>при</i>
+	-	-	-	-	-	-	жизнь при Петре I
-	+	+	-	-	-	-	Институт при ЦК

Т: $S^1 \rightarrow \Gamma$. Т. к. форма второго существительного после трансформации может принимать форму любого из падежей, второе существительное может оказаться и в родительном падеже — т. е. в том же, в чем оно было до трансформации — но тогда как для рассмотренных выше конструкций такое сохранение исходного падежа было правилом, лишь редко нарушаемым, для конструкций $S^1C^2_p$ наоборот: сохранение формы исходного (родительного) падежа можно считать случайным (хотя, конечно, и вполне возможным). Помимо этого и конструкции $S^1C^2_p$ имеют некоторые «индивидуальные» случаи трансформаций — но ничего собственно индивидуального в этих трансформационных типах нет, каждый из них встречался в той или иной форме и в рассмотренных выше конструкциях (такие изменения: Т: $S^2 \rightarrow \Pi$, $S^1 \rightarrow \Pi$, $S^1C^2_p \rightarrow \text{у } S^2 \text{ б } S^1$). И в случае $S^1C^2_p$ -конструкций есть «остаток» — т. е. конструкции, трудно или вообще не поддающиеся трансформации (ср. *мальчик с пальчик* в рассмотренных конструкциях) и этот остаток больше по объему и характерней, чем остатки, трактованные выше.

План изложения внутри этого раздела будет следующий: Т: $S^1 \rightarrow \Gamma$ (внутри этого: падежи без предлогов и с предлогами, в которые переходит форма второго существительного), Т: $\emptyset \rightarrow \Gamma_{пр.}$, разные виды Т: $S^2 \rightarrow \Pi$ (внутри этого трактуются и трехсловные конструкции «родительного качества» в роде *человек высокого роста*) и некоторые более мелкие группы.

9.1. Т: $S^1 \rightarrow \Gamma +$ изменение ΦS^2 .

9.11. S^2 принимает одну из форм беспредложных падежей (Т: $S^1C^2_p \rightarrow \Gamma S^1C^2_{и,к}$).

9.111. $S^2_{д.}$: *крики дам — дамы кричат, царствование Петра первого — Петр первый царствовал, учение французских материалистов — французские материалисты учат*. Как видно, в эту группу входят случаи т. н. родительного субъекта и только они.

9.112. S^2_p : *жасжда счастья — жасждать счастья, требование денег — требовать денег, боянь новизны — бояться новизны*.

9.113. $S^2_{д.}$: *служенье муз — служить музам* (ср.: *служенье муз не терпит суеты — П.*). Нам кажется, дательный падеж труднее всего трансформируется в родительный: *изменить убеждения — изменение убеждения (и не убеждений), ответить товарищу — ответ товарищу, обучать грамоте — обучение грамоте, помогать бедным — помощь бедным*. Ср.: *принадлежит Петру — принадлежность Петра, но принадлежность этого участка Петру* (никогда не оспаривалась). Причиной относительной устойчивости приименного дательного в этих случаях является очевидно то, что родительный падеж перегружен функциями приименных «объектов»: субъекта, прямого объекта и косвенного объекта — т. е. слова в дательном падеже без предлога. Т. к. ни именительный, ни беспредложный винительный при существительных не могут стоять, а дательный падеж — может; если только есть возможность, или возникает в этом необходимость из-за того, что один из других объектов также появляется, объект, выраженный в дательном падеже — остается в дательном.

9.114. $S^2_{в.}$: *чтение романа — читать роман, чувство любви — чувствовать любовь, строитель дороги — строить дорогу, обработка земли — обрабатывать землю*. Как видно, в эту группу входят случаи т. н. родительного объекта и только они. Надо сказать, что во многих случаях формально не отличается родительный объекта от родительного субъекта; разделение и до сих пор шло — как бы интуитивно — путем применения трансформацион-

ного анализа. Ср.: «В тех случаях, когда главное слово в словообразовательном отношении может быть в равной мере соотнесено с глаголами, имеющими одну и ту же основу и различающимися только наличием или отсутствием аффикса -ся, установить, выражает ли зависимое слово субъект действия или объект его, часто бывает трудно и даже невозможно вне контекста, напр.: *развитие сельского хозяйства* (ср. *развивать сельское хозяйство* и *сельское хозяйство развивается*)...» (Грамм., 241). Примеры в скобках — это, конечно, не «контекст» — вне которого, как говорится, невозможно установить, что выражает зависимое слово — а возможные трансформы сочетания $C^1C^2_p$; какой из возможных трансформов взять в том или ином случае, это на самом деле определяется контекстом.

9.115. C^2_t : *веяние уверенности — веет уверенностью, запах весны — пахнет весной*.

9.116. Нередко сталкиваемся и с трехсловными сочетаниями, где в качестве одного из зависимых существительных выступает существительное в родительном падеже. Эти сочетания делятся на две группы в зависимости от того, в какую форму (в существительное с какой формой) трансформируется третье существительное.

9.1161. Т: $C^1C^2_pC^3_t \rightarrow C^2_v\Gamma C^1C^3_t$: Пьер нашел в том же приказе *назначение князя Андрея Болконского командиром* егерского полка (Л. Т.): *назначение Андрея командиром — Андрея назначили командиром*; [это] дало твердое основание для *представления развития общественных формаций естественно-историческим процессом* (В. Л.): *представление развития процессом — представить развитие процессом* чего-л.

9.1162. Т: $C^1C^2_pC^3_t \rightarrow C^2_{и}\Gamma_c C^1C^3_t \rightarrow C^3_{и}\Gamma C^1C^2_v$ (где Γ_c = глагол страдательного залога): *эксплуатация человека человеком — человек эксплуатируется человеком — человек эксплуатирует человека; порабощение большинства меньшинством — большинство порабощено меньшинством — меньшинство порабощает большинство*; Борис первый узнал известие *о переходе французскими войсками Немана* (Л. Т.) (в последнем случае, как видно, несколько иной порядок элементов, что однако несущественно с точки зрения конструкции). Следовательно: если для дательного падежа пересыщенность существительного своими «объектами» решилась так, что дательный падеж чаще всего оставался, то для именительного и винительного падежей, если они встречаются рядом с одним глаголом, решение иное. Т. к. ни один из них не может стоять в конструкции с существительным и т. к. каждый из них, будучи один, трансформируется в родительный падеж (см. выше), здесь получились бы рядом два родительных падежа. Во избежание этого конструкция в таких случаях получает форму, какую она имеет при Γ_c — таким образом один из невозможных при существительном падежей (винительный) отпадает.

Итак, если три трансформы, в порядке их следования в нашем изложении, обозначить как Φ^1 , Φ^2 и Φ^3 , можно сказать, что Φ^1 , Φ^2 и Φ^3 представляют собой пучок трансформов, состоящий из трех членов. Однако не всегда образуется такой трехчленный пучок, т. к. Φ^3 в некоторых случаях невозможна: *обеспечение товарами колхозников — колхозники обеспечиваются (обеспечены) товарами* (и нет Φ^3 : **товары обеспечивают колхозников*); *снабжение колхозников строительными материалами — колхозники снабжаются строительными материалами, оснащение цехов новейшей техникой — цехи оснащаются новейшей техникой*.

В заключение о беспредложных сочетаниях можно установить следующее. В случае межклассовой трансформации $\Gamma \rightarrow C$ обязательно меняются зависящие от глагола C_n и C_v . Если они одни, то каждое из них меняется в C_p , если они выступают совместно — то C_n меняется в C_p , а C_v в C_t . Остальные падежи могут оставаться или — реже — могут переходить также в C_p (об этих случаях см. выше — 1.1, 2.1). И наоборот: при межклассовой трансформации $C \rightarrow \Gamma$ зависящие от C существительные в родительном падеже очень часто обязательно трансформируются в C_n , C_v , реже в C_t , реже всего — в C_d .

9.12. Из предложных сочетаний встречается предложный падеж с предлогом *в*: *участник экскурсии — участвовать в экскурсии; уроженец Москвы — родился в Москве.*

9.2. Сочетания, где вклинивается причастие, разбиваются на две группы, в зависимости от того, действительное или страдательное причастие приходит в конструкцию.

9.21. $\phi \rightarrow \Gamma_{д.пр.} +$ изменение ΦC^2 : *человек подвига — человек, совершающий подвиг, вопрос самолюбия — вопрос, касающийся самолюбия.*

9.22. $\phi \rightarrow \Gamma_{с.пр.}$: *счастье материнства — счастье, вызванное материнством, свет солнца — свет, излучаемый солнцем.* В этих случаях может выступать и T : $C^2 \rightarrow P$: *солнечный свет, материнское счастье.*

9.3. T : $C^2 \rightarrow P$ возможна для многих из конструкций $C^1 C^2_p$. Так, см. предшествующую группу: *материнское счастье.* Только эта T одна возможна в таких сочетаниях, как *отношения родства — родственные отношения.*

9.4. Особую группу представляют собой обязательно трехсловные сочетания т. н. родительного качества, с формой $C^1 PC^2_p$. По своим трансформационным возможностям они делятся на три группы.

9.41. T : $C^1 PC^2 \rightarrow PP^{C^2} C^1$: *продукция высокого качества — высококачественная продукция, чиновник шестидесяти лет — шестидесятилетний чиновник.*

9.42. T : $C^1 PC^2_p \rightarrow P_{в} PC^2 C^1$: *ребенок необыкновенных способностей — необыкновенно способный ребенок, девушка изумительной красоты — изумительно красивая девушка, вопрос первостепенной важности — первостепенно важный вопрос.*

9.43. T : $C^1 PC^2_p \rightarrow PC^1$ (т. е. T : $C^2_p \rightarrow \phi$): *человек высокого роста — высокий человек, сапог большого размера — большой сапог.*

9.5. Сочетания, где возможна T : $C^1 \rightarrow P$, делятся на три группы:

9.51. В некоторых случаях только эта трансформация возможна: *ветхость здания — ветхое здание.*

9.52. Очень близки к 9.51 конструкции, где возможно и изменение первого существительного в прилагательное, но скорее выступает изменение первого существительного в краткую форму прилагательного: *необходимость разлуки — необходимая разлука и разлука необходима.*

9.53. Наконец, есть третий тип этих сочетаний, где наряду с изменением в P и P_i возможна и третья T : у $C^2_p C^1$: *энергия инженера — энергичный инженер* и также: *у инженера есть (была) энергия.* В предыдущих двух конструкциях такая T невозможна, ср.: **у здания есть ветхость, *у разлуки есть необходимость.*

9.6. Наконец, наблюдается ряд конструкций, где единственной или почти единственной трансформационной возможностью является T : $C^1 C^2_p \rightarrow$

→ $uC^2 \text{ б } C^1_{и}$: *ворота гостиницы — у гостиницы есть (были) ворота-карандаш Маши — у Маши есть (был) карандаш*. В последнем случае воз-
можен также трансформ *машин карандаш*.

9.7. Целая группа конструкций $C^1C^2_p$, трудно поддающаяся трансформационному анализу, группа т. н. «родительного количества». Возможной кажется присоединительная трансформация: *кило хлеба — он купил хлеба, кило; стакан вина — он выпил вина, стакан*. Но рядом с большой распространенностью и характерностью для родительного падежа конструкций «родительного количества», последние трансформы кажутся весьма искусственными, как бы созданными насильственно.

9.8. Сводная таблица сетки T для сочетаний $C^1C^2_p$:

Табл. № 9.

$\Gamma^{C^1}(\Pi) C^2_{и,к}$	$C^1_{л.пр.}(\Pi) C^2_K$	$C^1 \Gamma_{с.пр.}(\Pi) C^2_K$	$\Pi^{C^2} C^1$	$\Pi^{C^1 C^2} C^1$	$\Pi_{\sigma} \Pi^{C^2} C^1$	$\Pi^{C^1} C^2$	$uC^2 \text{ б } C^1$	T: $\uparrow C^1(\Pi) C^2_p$
+	-	-	-	-	-	-	-	крики дам, жажда счастья, служение муз, чтение романа
-	-	+	(+)	-	-	-	-	счастье материнства
-	-	-	+	-	-	-	-	отношения родства
-	-	-	-	+	-	-	-	продукция высокого качества
-	-	-	-	-	+	-	-	ребенок необыкновенных способностей
-	-	-	-	-	-	+	-	мужчина высокого роста
-	-	-	-	-	-	+	-	ветхость здания
-	-	-	-	-	-	+	+	энергия инженера
-	-	-	(+)	-	-	-	+	ворота гостиницы, карандаш Маши
-	-	-	-	-	-	-	-	килограмм хлеба

10. В заключение сделаем несколько общих замечаний относительно примененного здесь метода, относительно связи между результатами, полученными им и результатами, полученными традиционной трактовкой данного круга вопросов и относительно практического применения этих результатов.

10.1. Как можно было убедиться по ходу работы — трансформационный анализ в примененной нами форм есть метод для выявления неко-

торых черт языка (в данном случае: некоторых его синтаксических конструкций). Метод — ни больше, ни меньше: нельзя понимать «трансформацию», «изменение», «превращение» и т. п. в диахроническом или генетическом смысле. Никто не утверждает, что «у гостиницы есть ворота» было раньше, чем «ворота гостиницы» или наоборот, вообще такие вопросы здесь не затрагиваются. «Трансформации» сходны скорее с теми или иными изменениями, произведенными над з в у к а м и для проверки того, до какой границы может доходить физическое-фонетическое изменение, чтобы остаться еще в рамках одной и той же фонемы; какие именно изменения могут быть проделаны над теми или иными звуками и т. д. Такой метод предполагает известную конструктивность в том смысле, что после анализа большого фактического материала открывается возможность (и даже необходимость) некоторых экспериментов: когда схема, нарисованная на основании анализа наблюдаемых фактов, в больших чертах готова, недостающие звенья в системе нуждаются в экспериментальной проверке: действительно ли нет и не может быть таких звеньев, или они просто отсутствуют из-за недостаточного количества собранного нами материала. На основании усовершенствованной таким образом схемы можно утверждать, что закономерности, установленные при изучении данного корпуса явлений, действительно и во всех, нерассмотренных случаях.

Интересно также сравнение этих результатов с результатами, полученными Уорсом после изучения несколько иного материала, но также из области синтаксиса современного русского языка. Оказывается, что в случае сочетаний ГС_т сравнительно прост морфологический состав элементов, но они трансформируемы в совершенно различные, отличающиеся друг от друга формы. А в случае рассмотренных нами сочетаний сам морфологический состав был довольно богат (хотя его система весьма прозрачна: падежи, предлоги и падежи) — но многочисленные морфологические расхождения в большинстве случаев оказались нерелевантными: в основном те же категории найдены в случае различных падежей, с предлогами или без них.

10.2. Как раз это бросающееся в глаза единообразие трансформов и наводит на мысль: нельзя ли объединить данные сочетания на основании тех общих категорий, которые получены после трансформаций? Очевидно, возможно, и тогда получатся категории, близкие к традиционным категориям «определения», «дополнения» (а может быть и «обстоятельства»). Так, напр., четко выделяются группы с возможной трансформацией Т: С¹ → Г. Если это по какой-либо причине целесообразно, можно их объединить в одну общую группу — скажем, «приименных дополнений». Подобным образом можно выделить и категорию, сходную с «несогласованными определениями». По мнению составителей академической Грамматики несогласованное определение связывается с определяемым словом по способу «слабого управления» (Грамм., 540 — кавычки при этом термине стоят и в Грам.). А в рамках нашего анализа выделяется категория с Т: ∅ → Г_{пр}, очевидно близкая к «слабоуправляемым членам». (Вообще говоря, как нам кажется, не стоит отказываться от понятия «сильное» и «слабое управление» — только надо уточнить их значение применением некоторых статистических подсчетов: случай последовательностей морфем, выше порога устойчивости — это случаи «сильного управления» и наоборот.)⁵

⁵ Ср.: И. А. Мельчук, О терминах «устойчивость» и «идиоматичность». ВЯ IX (1960), 4: 73—80, особ.: 74.

10.3. Практика показывает, что учет трансформационных возможностей тех или иных синтаксических структур того или иного языка особенно существенен с точки зрения преподавания иностранного языка. Оказывается, напр., что следующая фраза: «Опытный вариант правил для машинного перевода научных текстов с венгерского языка на русский интересен», несмотря на типичность своей конструкции для русского научного стиля, несмотря на чрезвычайную лексическую простоту — почти непередадим в глазах венгерских студентов, изучавших русский язык 8—10 лет. А это потому, что языки отличаются друг от друга не только на уровне фонем, на уровне морфем, на уровне конструкций предложений — но именно и на уровне конструкций: оказывается, что в венгерском языке для глагольных сочетаний нет таких трансформационных возможностей, как в русском, что в венгерском языке гораздо реже «опускается» причастие между существительными (почему и гораздо реже выступает $T: \emptyset \rightarrow \Gamma_{пр}$, ведь и обратная возможность — $\Gamma_{пр} \rightarrow \emptyset$ выступает реже) и т. д. Для пояснения сказанного дам обратный перевод цитируемой фразы: перевожу ее с ее венгерского перевода морфологически и лексически правильно, но сохраняя характерные для венгерского языка конструкции, которые понадобились в данном случае: «В нижеследующем читатель получит в руки опытный вариант правил. Эти правила составлены для того, чтобы машинным путем переводить научные тексты с венгерского языка на русский. Они интересны...» Кажется, и по-русски можно писать так: но по-венгерски почти что нельзя иначе. Нами составлен примерный список соответствий русских конструкций $S^1(p)S^2_k$ и их венгерских «эквивалентов», публикация которого выходила бы из рамок настоящей статьи; предварительно можно сказать — как об этом уже мог убедиться и русский читатель на только одном выше приведенном примере —, что разница в конструкционных возможностях и ограничениях значительная.

Очевидно, есть еще одна сфера приложения результатов, полученных описанным способом и это — область машинного перевода.⁶ Сам метод трансформационного анализа кажется более приемлемым для обработки синтаксического материала в целях машины, чем традиционный, так как при трансформационном анализе есть возможность не опираться на смысл тех или иных конструкций.

Такие теоретические и практические соображения наталкивают нас на поиски новых методов в решении отчасти очень старых проблем; новый метод, естественно, поднимает и проблемы, ранее не предвиденные.

⁶ Ср.: Т. Н. Молошная, Некоторые вопросы синтаксиса в связи с машинным переводом с английского языка на русский. ВЯ VI (1957). 4:92—97.

Debrecínský rukopis církevněslovanských liturgických minejí

Z. HAUPTOVÁ

Při své studijní cestě do Maďarska r. 1959 jsem byla upozorněna buda-peštským slavistou Petrem Királyem na církevněslovanský rukopisný kodex neznámého obsahu, který je uložen v knihovně reformátského kolegia v Debrecíně. Podle dvou snímků, které jsem předběžně prohlédla, jsem usoudila, že snad může jít o nějaký dosud neznámý parimejník, tj. o výbor starozákonních čtení. Když jsem však při své návštěvě university v Debrecíně měla příležitost spatřit celý kodex a dát jej ofotografovat, zjistila jsem, že nejde o parimejník, nýbrž o liturgické mineje. Tři parimije, úryvek z knihy Exodus, proroka Izaiáše a z knihy Přísloví, které jsem četla na snímku, tvoří totiž součást služby na svátek Povýšení sv. Kříže (15. září). Protože tento rukopis nebyl dosud zkoumán a protože je popsána jen velmi malá část církevněslovanských minejí, domnívám se, že bude prospěšné podat alespoň stručnou charakteristiku tohoto kodexu.

Kodex je psán na pergamenu cyrilskou polounciálou (poluustav) a tvoří knihu o 211 listech, tj. 422 stranách oktávu. Vazba knihy je pozdní. Ze začátku rukopisu chybí přibližně 10 listů, jak vysvětlím dále. Kodex obsahuje 24 služeb na významnější církevní svátky podle byzantskoslovanského ritu. Jde tedy o liturgické mineje na vybrané svátky, které se v ruské terminologii nazývají *минаея праздничная* v protikladu k souboru minejí na každý den v roce (*минаея повседневная*). Zkoumaný kodex začíná službou na první významnější svátek byzantského církevního roku, totiž na Narození Bohorodičky (8. září). Z této služby se však zachoval jen jeden list, jehož první strana je těžko čitelná. Obsahuje část stichirů na orthos (*εις τον δεσπον*, tj. na ranní bohoslužbu) a výčet prokimenů, evangelia a epištoly „na liturgii“, jimiž se každá služba uzavírá. Celý ostatní text se zachoval v téměř neporušeném stavu až do konce. Některé strany jsou ovšem poškozené, proděravělé a hůře čitelné, fol. 15 je utrženo a nahrazeno vloženým papírem, na němž je pozdějším rukopisem opsána chybějící část textu apod., ale tím není porušen celkový obraz tohoto textu.

Kodex je psán na pergamenu, a to samo svědčí pro dataci do XIII. nebo začátku XIV. stol., protože na slovanském jihu — a náš rukopis je psán církevní slovanštinou srbské redakce — začal pergamen ustupovat papíru již před polovinou XIV. stol.¹ Je psán několika písaři, tu více tu méně pečlivě, *scriptio continua*, cyrilskou polounciálou se zřetelnými znaky jihoslovanského písařského úzu (pro to svědčí zejména obrácené 2, užívané v platnosti číslovky 6, ligatura ρ + ꙗ). Písmo je přímé, v první části rukopisu jeví vertikální

¹ E. F. KARSKIJ, *Slavjanskaja kirillovskaja paleografija*, Leningrad 1928, 94.

linie snahu po sbíhavosti. Konec rukopisu je psán drobnějším a úhlednějším písmem s rovnoběžnými vertikálními liniemi. Dobové písarské způsoby jsou však bezpečně zachovány ve všech částech kodexu, i když jsou na písmu znát různé individuality.

Podle mého mínění tuto rozměrnou památku opisovalo asi osm písarů. Opisovač č. 1 psal část od začátku kodexu až téměř do konce služby na Narození Páně. Jeho rukopis se vyznačuje ozdobnou literou χ s prohnutými čarami, sbíhavou tendencí všech vertikálních linií a pevným systémem diakritik. Opisovač č. 2 psal patrně konec služby na Narození Páně a službu na Zjevení Páně. Jeho písmo je méně ozdobné, ale přímější a pravidelnější. Písar č. 3 pořídil opis služby na sv. Jana Křtitele. Jeho písmo je větší a ne-dbalejší, diakritická znaménka jsou vyznačena. Písar č. 4 opsal službu na Obětování Páně. Jeho písmo má nepatrný sklon doprava. Písar č. 5, který opsal služby od Nalezení hlavy sv. Jana Křtitele do Zvěstování Panny Marie, psal podobným rovným a pravidelným písmem bez diakritik. Písar č. 6 (od Květné neděle do Přenesení ostatků sv. Štěpána) ozdoboval chvostík litery ζ příčnou čárkou, chvostíky liter ψ , φ jsou dlouhé a tenké, chvostík ρ ubíhá doleva. Diakritika téměř chybí. Písar č. 7 (služba na Proměnění Páně) psal tenším a drobnějším rukopisem. Jeho ornament v záhlaví se vyznačuje tenkými liniemi. Konec kodexu pořídil písar č. 8. Jeho rukopis se podobá písmu opisovače č. 6, chvostíky liter jsou však kratší a prohnuté. Chvostík ζ není přeškrtnut. Také tento písar neužíval diakritických znamének.

Pro dataci rukopisu jsou charakteristické tyto znaky písma: 1) Obrácené α , příznačné pro jihoslovanské rukopisy XII. až XIII. stol. (vyskytuje se i v XIV. stol., např. v evangeliu Dečanském, ale od konce XIII. stol. u Jihoslovánů převládá σ).² 2) Litery η a μ se dají od sebe těžko odlišit, protože jejich příčná linka se uchyluje doleva nebo doprava jen zcela nepatrně, jak tomu bývá ve XIII. stol. V poslední části rukopisu je patrný větší rozdíl mezi těmito dvěma literami. 3) Pro starší typ písma svědčí ζ s chvostíkem, zasahujícím pod řádek, a μ s kulatou střední částí. 4) θ s tečkou uprostřed, v ruské paleografii zvané θ чное, bylo běžné ve XIII. a XIV. stol. 5) Nápadné je ψ , psané v podobě tenké vidličky ψ (od XIII. stol. se objevuje již ψ). Tyto rysy nám dovolují vročení rukopisu asi do 2. poloviny XIII. stol. nebo počátku XIV. stol.³ Dataci do XIII. stol. podporuje ještě okolnost, že použití diakritik je omezeno pouze na tečku nad literou \omicron y a prejetovanými literami $\iota\alpha$, $\iota\epsilon$, $\iota\omega$ někdy, zvláště v druhé polovině rukopisu, se nad těmito literami objevuje řecký spiritus ˆ . Písari druhé poloviny kodexu těchto znamének užívali stále řídkěji, až posléze poslední tři písari psali úplně bez diakritik. Přízvuk není označován. Rukopis tedy vznikl ještě před zavedením systému Evtimije Trnovského (XIV. stol.), jež v Srbsku rozšířil Konstantin Kostenský.

Užití zkratk se omezuje na obligátní nomina sacra a některá často používaná slova a ovšem — jak tomu v liturgických textech bývá — na odborné termíny. Přitom titla, označující zkratku, má tvar ~ nebo ++ jako v starších rukopisech. Nadepsané litery se kromě obvyklého ˆ v ω omezují na ˆ , zřídka (pravidelně jen v odborných termínech jako $\Gamma\Lambda\delta$, $\mu\rho\delta$ aj.) to bývají i litery jiné: tyto litery jsou však na rozdíl od nadepsaného ˆ

² KARSKIJ, o. c. 190.

³ Srov. příslušné výklady Karského, o. c. 192—202.

pokryty titlou. Zajímavé je použití nadepsaného obráceného э v rukopise opisovače č. 1. Toto všechno znamená ovšem jen tolik, že rukopis byl napsán před XV. stol. Ligatur je užito v míře velmi malé: prakticky se v našem rukopise vyskytuje ligatura ρ + ꙗ a Δ + γ, Α + γ, Λ + γ, apod., kdy druhá část — ο — je vynechána (např. ve slově ρΑΔΟΥИ CE je Α + γ psáno ligaturou, ο je vynecháno). Zkratky, označující odborné termíny, jsou mnohdy nezřetelné a vyžadují značnou zběhllost v čtení rukopisů tohoto druhu; zkratky v textu samém jsou však průhledné a všeobecně známé.

Interpunkce není příliš bohatá, nepostrádá však jisté logiky. Tomu zajisté hodně napomáhala skutečnost, že šlo o zpívaný nebo recitativem přednášený text. Menší celky jsou oddělovány tečkou na lince, větší celky skupinou teček ∴.

Celkem průhledné jsou také ligatury v záhlaví jednotlivých služeb (вязы), zdaleka nedosahují oné komplikovanosti, která byla obvyklá v pozdějších rukopisech. Jejich soustavné užití však svědčí pro písařskou módu XIII. a XIV. stol. Tyto ligatury přímo souvisí s celkovou ornamentální výzdobou rukopisu, která je velmi prostá, založená především na motivu geometrickém s některými zjevnými, byť i nepřiliš četnými motivy přírodními, jako je litera O v podobě rybičky, postavené hlavičkou vzhůru (fol. 35a, 36b, 38b), a ruka, držící svícen (fol. 36a). Tu a tam — zvláště uprostřed rukopisu — objevuje se i stylizovaný motiv rostlinný (58b apod.). Celkový vzhled této výzdoby je primitivní, upomíná velmi zřetelně na podobné rukopisy byzantské. Geometrický ornament a iniciály tvořené neumělou spleť křivek patří k obvyklému vzhledu všech starších slovanských rukopisů.

Pravopis památky

Debrecínské mineje jsou psány srbskou církevní slovanštinou, jejíž pravopis se ustálil a oprostil od vlivů pravopisu bulharského ve XIII. stol. a udržoval se po celé století XIV.⁴ Slabiky *je, ja, ju* se vyjadřují vždy prejotovanými literami *ѣ, ѡ, ю*. Řídké výjimky se omezují jen na zkratky typu *распетѣ* s nadepsaným obráceným э, které se vyskytuje zejména v rukopise písaře č. 1. Δ a ꙗ v platnosti *ja* se vůbec v této památce neužívá. Hláska *o* se vyjadřuje literami *o* a *ω*. Litera *ω* stojí zpravidla na začátku slova (*ωправданнѣ, ωсвѣщанѣ* CE), po předponě končí na vokál (*прωωκραιοуѣ, вωωεραжѣ*) a v cizích slovech (*снωнѣ, парωнѣ*). Vokál *i* se vyjadřuje literami *и, ѡ* a *і*. Kolísání mezi *и* a *ѡ* je zaviněno zánikem *y* v jihoslovanských jazycích, takže obou znaků se užívá střídavě pro tutéž hlásku. Znak *і* se vyskytuje v cizích slovech a v některých ustálených zkratkách, jako *ісѣ, ірѣо* aj. *Ѳ* se užívá ve jménech cizího původu na místě řec. *v* (*въ поустинноу сурѣ* apod.). Litera *ꙗ* označuje náležitě staré *ě*. — Pravopis této památky je prost jakýchkoli bosenských vlivů.

⁴ Slov. LAVROV, Paleografičeskoje obozrenije kirillovskago pis'ma, Petrograd 1914, 176.

1) *Hláskoslovi*. Ve vokalizismu se jeví nejnápadněji srbské vlivy. Nosovky ϵ , ϱ jsou náležitě vystřídány orálními samohláskami e , u . Výjimku tvoří slovo *орожие* (vedle náležitého *оружие*), které se objevuje velmi často zejména v té části kodexu, kterou psal písař č. 1. Vokál o sem mohl proniknout z původní středobulharské předlohy. Ve středobulharských památkách se tu a tam objevuje záměna $\varrho - o$ a naopak (např. v apoštoláři Ochridském je doloženo *арорз* místo *ароуыз*). Tato změna $\varrho > o$ je doložena i v některých dnešních bulharských dialektech.⁵ Nápadné ovšem je, že v této památce se objevuje jen v tomto jediném slově. Stav jerů odpovídá celkové situaci v srbskokirkevněslovanských památkách v XIII.—XIV. stol. Oba jery splynuly v jediný, označovaný literou \mathfrak{b} . V slabé poloze jer někdy odpadá, a to buď vůbec bez náhrady, nebo je zmizelý jer naznačen apostrofem. K zániku bez náhrady dochází především uprostřed slova v případech jako: *грѣхобнихъ* (6a 1), *вправданіе* (3a 12), *оугодна* (3a 14). V téže poloze bývá místo jeru i apostrof: *правѣд'нимъ* (2a 18), *многоч'к'на* (3b 13—14), *роуч'коу* (7a 16). K zániku jeru bez náhrady dochází také někdy — byť i ne tak hojně — na konci slova, zejména předložky: *прѣд* (3a 14), *иъ* (6a 5, 42b 10), *дал мой еси* (156b 1). Někdy se i zde objevuje apostrof: *к' текѣ* (4a 7; zde je k' na konci řádky), o několik řádků dále se píše *к текѣ* (4a 14; zde je k uprostřed řádky). Celkem řídké jsou neetymologické jery nebo apostrofy na jejich místech (srov. např. *в'з'носимоу* 13b 6). V cizích slovech bývají jery v souhláskových skupinách doplněny, jak to bývá v staroslověnských památkách běžné: *ѣгоуп'т'ски* (5a 18), *вар'варьци* (13a 10). K náhradě jeru plným vokálem a v naší památce vůbec nedochází. Zato však je doložena vokalisace $\mathfrak{z} > e$ v slově *бѣчестіе* (7a 13, 14) a *бѣзчестіемъ* (11a 15). — Co se týká tzv. jeru v poloze napjaté, mění se nejčastěji v i : *бѣзнесеііе*, *прѣкложеііе*, výjimečně se zde objevuje i \mathfrak{b} : *ц'кломоу дрью* (1b 4). Zajímavé jsou dva doklady s vokalizací, a to *всемоген ѣи* (2b 14) a *велеи еси ѣи* (2b 19). Typ nom. sg. m. *велеи* místo *велии* nebo *вельи* se objevuje i v staroslověnských památkách. Vondrák⁶ jej uvádí z kodexu Mariánského, Diels⁷ z Euchologia. Diels jej pokládá za „nářeční“, snad je bulharsko-makedonského původu. Spolu s uvedenou vokalizací $\mathfrak{z} > e$ je v naší památce možným dokladem původní středobulharské předlohy.

V debrecínských minejích nacházíme dále úplné splynutí vokálů y a i v jediný vokál i . Dokladem toho je střídání liter \mathfrak{h} a \mathfrak{b} s převahou \mathfrak{h} . Dublety nejsou nijak ovlivněny předcházejícím konsonantem nebo následující slabikou.

Co se týká \mathfrak{z} , není v naší památce stop po kolísání $\mathfrak{z} - e$ nebo $\mathfrak{z} - i$. Jediný doklad *на землі и мѣри* (169b 1) vznikl patrně přepsáním místo *мѣрѣ*. Také ojedinělá odchylka *телема* (162b 15) připadá patrně na vrub přepsání. Pravidelné a přesné užívání \mathfrak{k} může svědčit pro to, že památka vznikla v jekavském prostředí, pokud ovšem není reflexem středobulharské předlohy.

⁵ Srov. VONDRÁK, *Vergleichende slavische Grammatik*, Göttingen 1906, 131.

⁶ VONDRÁK, *Altkirchenslavische Grammatik*, Berlin 1912, 234.

⁷ DIELS, *Altkirchenslavische Grammatik*, Heidelberg 1932, 67.

V konsonantismu je rovněž několik rysů, svědčících pro srbské prostředí. Je to především důsledné zachovávání epenthetického *l* ve všech případech kromě slova *БЛАГОСЛОВЕНЬ*, kde v důsledku disimilačního procesu *l* nebývá.⁸

Za staré **tj*, **dj* stojí v naší památce *ц*, *ѡ* bez výjimky. Ve skupině *ѡ* je litera *ѡ* zpravidla nadepsána: *ѡ̇*. Nacházíme-li výjimečně psáno *бѡ* *рѡжѡтѡ* (199b 10), lze myslit nejspíše na chybu (písař zapomněl nadepsat *ѡ*, protože už jednu literu — *ѡ* — nadepsal). Tento způsob psaní *ц* a *ѡ̇* nám ovšem o skutečné výslovnosti neříká nic, protože byl vytvořen tradicí opisování bulharských předloh. — Starý rozdíl mezi *з* a *с* je zcela setřen a píše se jediné *з*. Litera *с* (psáno *з*) je vyhrazena jen pro číslovku 6.

Sonantní *г*, *л* se v tomto kodexu píše zpravidla *рѡ*, *лѡ*. Vyskytuje se i jiný způsob psaní, srov. *смѡрѡтъ* (5b 17), *испѡлни се* (4b 16).

Psaní souhlásky *d* ve skupině *-zr-* kolísá: píše se *разрѡкъши се* (91a 15), *разрѡкъшение* (78a 11), *разрѡкъшають* (156b 16), vedle *възрасти* (156b 14—15), *неизречено* (7a 3), *разроуши* (11a 11), *възрастившиа* (12a 10—11). Odpouštávání od bulharských tradic se v tomto směru u různých písařů projevuje v různém stupni.

Jiné drobné dissimilační změny konsonantických skupin, charakteristické zejména pro staroslověnské památky bulharského původu, nebývají zachovány. Vyniká to zvláště v těch částech textu, které je možno srovnat s Jagičovou edicí minejí na září, říjen a listopad,⁹ tj. v některých stichirech a kánonu na orthos ze služby na Povýšení sv. Kříže (14. září). Jagičův text je sice ruského původu, ale je opsán z bulharské předlohy. Debrecínský text má *исцѣление* (8a 19), Jagič *ицѣление* Debr. *безъчестиемъ* (11a 5), Jagič *внръстѣмъ*; Debr. *изъшѣ* (10a 18), Jagič *ишьдѣ*; Debr. *ангельски* (2b 4—5), Jagič *ангѣли*.

Podle hláskového stavu této památky lze říci, že vznikla na srbském území, patrně jekavském, v XIII.—XIV. stol. Je pravděpodobně opsána ze středobulharské předlohy, tento opis však nemusel být přímý.

V tvoření slov se vyskytují tytéž rysy, které konstatoval F. V. Mareš v církevněslovanském minejním zlomku srbského původu,¹⁰ totiž tvoření adjektiv z participia perf. pass. sufixem — *ьно* (*неизреченъно* *вѡрадванъна*) a dvojí podoby participia praet. act.: *ограць* (8a 9), *лавлъ се* (7b 6), *оупѡвлъ се* (102a 17) vedle *рѡкклонивъ се* (10b 3); Jagič má na tomto místě *преклонъ се*. Kratší tvary (starší) jsou v této památce hojnější.

Ve flexi jmenné je nápadná expanze *-u-*kmenových koncovek k maskulinům *-o-*kmenovým. *-u-*kmenová substantiva si zachovávají původní tvary, proto nacházíme nom. pl. *чинове* (2b 4), gen. pl. *даровъ* (169a 9; toto substantivum, pův. *-o-*kmenové, podlešlo vlivu *-u-*kmenové deklinace už

⁸ Srov. o tom VONDRÁK, Aksl. Gramm. 338—339.

⁹ I. V. JAGIČ, Služebnyja mineji za sentjabr', oktjabr' i nojabr', Sanktpeterburg 1886.

¹⁰ F. V. Mareš, Mukův zlomek církevněslovanských minejí, Slavia 23, 1954, 272. Autor klade vznik této památky do 1. poloviny XIV. stol.

v době velmi dávné¹¹). V naší památce nacházíme i tvary dat. sg. **мирови** (1b 3, 78a 3—4, 15), **Д[ь]неви** (7a 16), gen. sg. **из кокоу** (6a 5) apod. — Často se zachovávají staré tvary konsonantických deklinací, zejména *-s*-kmenové, u slov **чудо** a **тѣло** k této deklinaci přechází i **чрѣво** (въ чрѣвеси 129b 14). Starobylé tvary podržuje i skloňování slov **камь** a **любь**, **црькы**. Důsledné je dodržování duálu ve flexi jmenné i slovesné: **прострѣма покѣдоу дланьма** (8a 15—16), **кѣста тоу ѿ источника** (3a 19), **стоги ногы** (4a 14) apod.

Ve flexi složených adjektiv se vyskytuje v nom. sg. m. vedle plného tvaru na **-и** i tvar stažený na **-и** (**четвороконьни мирь** 2b 15), stejná situace je i v nom. pl. V gen. sg. m. je pravidelně koncovka **-аго**, řidčeji nestažený tvar **-аго** (**просвѣщающааго** 58b 18—59a 1, **невидимааго** 199a 4). Koncovka **-ого** není doložena.

U zájmen je zajímavý bulharský způsob užití dativu osobního nebo zvrátelného zájmena tam, kde bychom čekali zájmeno přivlastňovací **мой**, **твой**, **свой**: **чтѣноу ти память празноукуцимь** (185a 2), **пришьствинемь ти** (200a 9), **патриархъ яковъ роуцѣ си на быноука простираше** (6b 8). Tento jev je viditelný zvláště při srovnávání paralelních stichirů na Nanebevzetí Panny Marie, které jsou zachovány v středobulharském Grigorovičově minejním zlomku.¹² Srov. **на бесмъртное оупение ти** Grig, **на беср'тное твое оупение** Debr. (199b 2), ale **прѣчѣгому ти тѣлоу** je oběma textům společné. Debr. má navíc **гладъ ти**, kde Grig má jen **гладъ**.

V slovesné flexi zkoumaná památka celkem nemá odchylky proti staroslověnské normě. V 1. pl. praes. je obvyklá koncovka **-мь**; pestrost koncovek, kterou známe ze srbských památek (zejména z apoštola Šišatovackého), je popsána také Marešem v zlomku srbské mineje) se tu vůbec neprojevuje. Jednou se vyskytuje **-ма** ve **взгносимь** (2b 5; Jagić má na tomto místě **взгносимъ**). Tato koncovka se objevuje i v rukopisné mineji knihovny Národního musea v Praze (srov. dále). — Vedle hojného perfekta typu **оудобрилъ есть** se užívá i obou jednoduchých préterit, aoristu a imperfekta. U aoristu jsou dochovány i staré asigmatické tvary sloves 1. tř.: 3. pl. **придоу** (3b 3), **вздыгоу** (3b 2) vedle novějších tvarů sigmatických typu **придоше** (3a 5, 18). U imperfekta převažují kontrahované tvary typu **рльптахоу** (3a 8), **всхищахоу** (199b 3—4) nad staršími nekontrahovanými typu **глад[гол]аахоу** (199a 1), **радовааахоу се** (198b 21). Typ **идѣахоу** není vůbec doložen, vždy jen **идѣхоу** (3a 3 a jinde).

V syntaxi se naše památka vyznačuje starobylým užitím dativu adnominálního, srov. **сп[а]са мирови** (78a 5), **м[а]ти живстоу** (199a 22) aj. Někdy se střídá v této funkci dativ s genitivem: **похваление д[ѣ]вства оутврѣдение м[а]т[ѣ]ремь** (7b 10—11). — Pasivum se vyjadřuje jed-

¹¹ Srov. Kulbak in, *Mluvnice jazyka staroslověnského* (přel. B. Havránek) Praha 1948, 94.

¹² Vydal I. I. SREZNEVSKIJ, *Drevnije slavjanskije pamjatniki jusovago pis'ma, Sanktpeterburg 1868, 213—214.*

nak participiis praet. pass. spojeným s aoristem (СЪЗДАНИ БИХОМЪ 1b 15, БИСТЬ УСТАВЛЕНЪ 4a 19 apod.), jednak zvrátným slovesem (НАР[Е]ЧЕ СЕ 3a 7, УБНОБИ СЕ 4b 20 aj.).

Můžeme tedy konstatovat, že po tvaroslovné a syntaktické stránce se Debrecínské mineje neodchylují příliš od staroslověnské normy a zachovávají pokud možno starobylý stav.

Obsah památky

Debrecínské mineje, jak již bylo řečeno, obsahují výběr služeb na 24 svátky. Jsou to tyto služby:

1. Zlomek služby na Narození Bohorodičky (8. září) 1a—1b.
2. Služba na Povýšení sv. Kříže (14. září) 2a—13b.
3. Služba na svátek archanděla Michaela (8. listopadu) 14a—22b.
4. Služba na svátek sv. Mikuláše (6. prosince) 23a—32a.
5. Služba na neděli sv. Otců Abrahama, Izáka a Jakuba (pohyblivý svátek—neděle před Narozením Páně) 32a—42b.
6. Služba na Narození Páně (25. prosince) 42b—58b.
7. Služba na Zjevení Páně (6. ledna) 58b—67b.
8. Služba na svátek sv. Jana Křtitele (7. ledna) 67b—77b.
9. Služba na Obětování Páně (tj. Setkání Páně se Simeonem—2. února) 77b—85a.
10. Služba na den Nalezení hlavy sv. Jana Křtitele (24. února) 85b—90b.
11. Služba na Zvěstování Bohorodičky (25. března) 91a—101b.
12. Služba na sv. Jiří (23. dubna; v rukopise omylem uvedeno *мѣа тѣ* jako kdyby šlo o březen) 102a—109b.
13. Služba na Květnou neděli 109b—129b.
14. Služba na velikonoční neděli 129b—135b.
15. Služba na středu před Nanebevstoupením Páně 135b—146b.
16. Služba na neděli svatodušní 146b—156b.
17. Služba na Narození sv. Jana Křtitele (24. června) 156b—162b.
18. Služba na svátek sv. Petra a Pavla (29. června)¹³ 162b—169a.
19. Služba na den sv. Mariny (17. července; podle Sergije, Polnyj mes. vost. 216 odpovídá v západní liturgii svátku sv. Markéty, který připadá na 8. července) 169a—173a.
20. Služba na svátek proroka Eliáše (20. července) 173a—179b.
21. Služba na svátek Přenesení ostatků sv. Štěpána (2. srpna) 179b—185a.
22. Služba na Proměnění Páně (6. srpna) 185a—198a.
23. Služba na Nanebevzetí Bohorodičky (15. srpna) 198a—210b.
24. Služba na svátek sv. Dimitrije (26. srpna; podle Sergije, Pol. mes. vost. 225 by tento svátek měl být v den 23. srpna, kam by byl přenesen z 26. října, jak se také normálně ve východní církvi slaví; důvod přenesení tohoto svátku spatřuje Sergij v tom, že 23. srpna je svátek sv. Luppy, který byl sluhou mučedníka Dimitrije; Martynov, Annus ecclesiasticus graeco-slavicus, Bruxelles 1863, 205 takový případ přenesení tohoto svátku neuvádí) 210b—211b.

¹³ Tento svátek se slaví 29. června i v západní liturgii (Sergij, Polnyj mesjaceslov vostoka, Vladimir 1901, uvádí, že se svátky slaví zvlášť, 29. a 30. června: ve skutečnosti svátek obou apoštolů je 29. června a 30. června je commemoratio sancti Pauli).

Toto sestavení svátků působí dojmem poněkud neobvyklým. Z 12 hlavních svátků východní liturgie je totiž jeden vynechán (je to svátek Uvedení Bohorodičky do chrámu 21. listopadu, který se v západní církvi nazývá Obětování Panny Marie) a svátek sv. Dimitrije je na konci textu přičleněn zcela neorganicky. Patrně byl doplněn ke konci kodexu, protože v předcházejícím textu nebyl zařazen na svém místě. Datum 26. se asi vztahuje k 26. říjnu: je těžko možné, aby se tento svátek slavil 26. srpna. Tato minea byla snad psána pro hlavní církevní svátky a pro svátky některých důležitějších světců, jako sv. Jana Křtitele, apoštolů Petra a Pavla, sv. Štěpána apod. Protože mineje na svátky se psaly obvykle pro chrámy, kde se bohoslužba nesslerila denně, nýbrž jen o velkých svátcích, byla zde možná jistá variabilita v místních úpravách. Slovanských a řeckých minejí však byl dosud popsán a vydán jen nepatrný počet, takže prozatím nelze tuto problematiku detailně rozhodnout.

Schéma služby

Debrecínské mineje mají zpravidla na každý svátek trojí službu: večerní (*εις τὸν ἑσπερινόν*), jitřní (*εις τὸν ὄρθρον*) a „liturgii“. Přitom na liturgii se již nevypisuje celé znění zpívaných a čtených částí, nýbrž se pouze označují bez vypsání. Označuje se vždy prokimen před čtením apoštolním na konci liturgie katechumenů, dále apoštolní perikopa, aleluja, evangelní perikopa a **πρὶν ἁγιασμοῦ** (*κοινωνικόν*), tj. píseň k přijímání z tzv. liturgie věřících. V některých službách je vyznačeno i to, co předchází čtení perikop, totiž „typik“ (ve staré terminologii typik znamenalo tolik co synaxář, tj. proložní čtení o životě světce, jehož památka se slavila), tropar kánonu na příslušný den a trisagion (**τρισάγιον**).

Páteří večerní a ranní služby je tzv. kánon. To platí zejména pro velké svátky: menší svátky mívají jen jeden kánon na jitřní službu. Nečiní se ještě rozdíl mezi „malou“ a „velkou“ večerní službou, jak tomu bývá v pozdějších minejních textech. Večerní officium začíná někdy žalmy, které nejsou vypsány. Na to, že se tyto žalmy zpívají, se upozorňuje zkratkou **στιχολῶδ**, kterou je třeba číst **στιχολογισοῦμεν**, tj. „zpíváme žalmy“. Chybí-li tato část služby, je to označeno zkratkou **νε στιχολῶδ**. Po stichologu následuje **γοσποδι βῆβαχῃ** (*κύριε ἐκέκραξα*), ikos a několik stichirů. Po nich je **σλαβα**, bogorodičen (*θεοτόκιον*) a tropar příslušného světce. Na významnější svátky, jako je Povýšení sv. Kříže, Narození Páně apod., bývá i při večerní službě kánon, který je vložen mezi stichiry, po nichž následují 3 vypsání parimije a mezi zpěv **σλαβα**. Na jitřní se zpívá sticholog, sedalny (*καθίσματα*), zpěv **βογῃ γοσποδι**, tropar svátku a kánon. Toto pořadí není pevné: sticholog se může zpívat až po troparu, nebo může být vůbec vynechán; v tom případě se hned na **βογῃ γοσποδι** zpívá tropar, bogorodičen, sedalny a kánon. Po kánonu následují ještě někdy světilny a stichiry a celý obřad končí slavoslovím (**σλαβοσλαβιῆ βελιῆ, δοξολόγιον**). To je ovšem jen hrubé schéma: jednotlivé služby mají v pořadí svých částí celou řadu variant. V podstatě však se toto schéma blíží uspořádání dnešních bohoslužeb.

Důležitou částí jitřní (někdy i večerní) služby je — jak již bylo řečeno — kánon. Podle stavby kánonu je také možno soudit na stáří řecké předlohy.

Kánon se skládá z 9 ód téhož hlasu (*ἦχος*), z nichž každá bývá uvedena nevypaným irmem (*εἰρμός*), modelem, podle něhož jsou psány ostatní tropary ódy. Jinak óda se skládá z několika (3—5) troparů. To je původní forma kánonu. Velmi brzy se začala vynechávat 2. óda kánonu, protože — jak se domnívá Papadopulos Kerameus¹⁴ — obsahovala invektivy proti Židům, obrazy hrůzy a děsu a jiné, pro liturgii nevhodné motivy. Mineje, opsané na Rusi v XI. stol. a vydané Jagićem, mají v některých kánonech 2. ódu ještě zachovánu, a to svědčí o velké starobylosti jejich řecké předlohy. Debrecínské mineje mají kánony vždy bez 2. ódy. P. Kerameus se domnívá, že ve XII. stol. se již 2. óda z kánonu naprosto ztráčí, v XI. stol. vládlo ještě kolísání.

Ve své nejstarší podobě se zpíval kánon vcelku, ale již od XII. stol. se mezi ódy vléčaly kondaky (*τὰ κοντάκια*) a ikosy (*ὁ ἰκος*), a to nejprve po 5. ódě, pak po 3. a 6. ódě. Po 9. ódě následovaly zpravidla tzv. světilny (*ἑξαποστειλάρια*). Podle Jagiće (o. c. XLIX) v nejstarších textech světilny nebývají. Snad od XIII. stol. se objevuje v 6. ódě tzv. synaxář, totiž proložní čtení na svátek, který se slaví. V době ještě pozdější dochází k proplétání dvou kánonů na den zasvěcený dvěma světcům nebo na jiný větší svátek. Nejprve se uvádí první óda jednoho kánonu, pak první óda druhého kánonu s označením *ἡνὶς ἡρμος*, opět druhá óda prvního kánonu atd.¹⁵

Podle Sergije, Pol. mes. vost. církevněslovanské liturgické mineje byly v podstatě dvojího typu. Starší, tzv. studijské, nazvané podle řeckého kláštera Studion, a novější, tzv. jerusalémské. Studijské mineje prý byly přeneseny na Rus hlavně prostřednictvím bulharským, jerusalémské od XIV.—XV. stol. prostřednictvím jihoslovanským. Rozéznat od sebe oba typy není ovšem lehké, zvláště jde-li o mineu na svátky, protože charakteristické rysy obou redakcí spočívají zejména v uspořádání památek světců na jednotlivé dny církevního roku. V hlavních svátcích zpravidla tak velké změny nebývají. Kromě toho existuje celá řada typů přechodných. Proto také jediným podkladem k dataci textu a jeho zařazení může být pouze kánon a celkové uspořádání ostatních částí služby, zejména stichirů. Potíž však přitom neustále činí skutečnost, že bylo dosud popsáno nebo jinak zveřejněno jen velmi málo rukopisů jak řeckých, tak i slovanských.

Debrecínská minea svým celkovým uspořádáním nepatří k textům, které by byly opsány z nejstarších předloh. Kánon je přerušován stichiry po 3. a 6. ódě: po 3. ódě bývá sedalen, po 6. ódě ikos a synaxář. Po 9. ódě bývá světilen a další stichiry. Naproti tomu však nedochází k proplétání kánonů. Jestliže na některý den připadají 2 kánony, je jeden na večerní, druhý na jitní službu. Rovněž tak chybí pozdější *καταβασια* (*καταβασια*) po 3. ódě a *κρυπτοκοροδιμην* (*σταυροθεοτόκιον*). Protože spojování dvou kánonů je na slovanském jihu obvyklé až ve XIV. stol., je pravděpodobné, že náš text vznikl snad koncem XIII. stol. Jeho řecká předloha nebyla však také mnohem starší a text prošel, jak jsme konstatovali při jazykovém rozboru, patrně středobulharským prostředím.

Paralelní text k Debrecínským minejím se mi nepodařilo najít. Jagićovy mineje jsou textově příliš archaické, kromě toho jsou částí úplných minejí.

¹⁴ Papadopulos Kerameus, *Σχέδιασμα περί τῶν λειτουργικῶν μνηαίων*, Vizantijskij vremennik 1, 1894, 341—388.

¹⁵ Tento dvojitý kánon má např. minejní zlomek, popisovaný F. V. Marešem (kánon na Zjevení Páně 6. ledna).

S Debrecínskými minejemi se neshodují v uspořádání textu. Rozdíl mezi večerní a jitřní službou není vždy zcela zřejmý, jak je to v archaických textech pravidlem. Kánon není přerušován stichiry, v 6. ódě není synaxář a chybí i parimie a výčet zpěvů na liturgii. S naším textem se shodují některé starobylé stichiry a kánony, ovšem bez vložených částí.

Grigorovičův minejní zlomek obsahuje některé stichiry na Nanebevzetí Bohorodičky, z nichž dva se shodují s naším textem. To není nic neobvyklého: celá řada stichirů se zachovává od nejstarších textů až do zcela nových textů tištěných. Mukův minejní zlomek, popsany F. V. Marešem, je text pozdější, který obsahuje zlomek dvojitého kánonu na Zjevení Páně, a tedy nemá s naším textem nic společného. Rukopis knihovny Národního musea v Praze, sign. IX G 7,¹⁶ je úplná minea na 12 hlavních svátců byzantského ritu. S naším textem se opět shodují některé starobylé stichiry a kánony které jsou samostatné. Celkové uspořádání služeb a mnohé novější prvky, jako dvojité kánony, *КАТАВАСИЯ* aj. však jej charakterizují jako rukopis zcela pozdní redakce.

*

Závěrem lze říci, že Debrecínské mineje představují text, který se svými jazykovými znaky hlásí do srbského prostředí. Podle typu písma a materiálu je možno soudit, že vznikl patrně v 2. polovině XIII. stol. Tuto domněnku podporuje i jeho obsah: mineje již nepatří k onomu starobylému typu, který nacházíme v minejích Jagičových, ale zároveň neodpovídá ve všem typům novějším, doloženým od XIV. stol. na slovanském jihu. Otázka řecké předlohy a další textové kritiky však pro nedostatek dostupného materiálu zůstává nadále otevřená. Bylo by třeba ji řešit na základě rozsáhlé znalosti slovanských a řeckých rukopisů.

¹⁶ Tento rukopis je ze sbírky Šafaříkovy. Je psán na papíře ve větším sborníku, který je datován r. 1646. Byl patrně v Srbsku opsán z ruské předlohy. Srov. o něm blíže v citované Marešově studii na str. 275.

павише павлаише. дръзнове мновъ
пниахоу. мѣсть оустаразо въ тебегн
възывающа. ^{бо.} Дыкъ все слать се съ ра
кы. и прѣкъ законъ прѣнгра нтыгѣн.
бѣнн прншьствнн днѣ. и все слать се
авраамъ. како ест меневндѣ гавъ
лъщакма. **З**еуе тыкъ естрастыма
прнкты пауе слава. мѣстыа. долъ
ствотн бѣе. прѣкы бо правещакма.
Пауе кства тана на мад бога и не
слово бѣнн сы въ. **Пѣ. д. гомо.**
Сдена кртѣтнок бѣтннок смо
треник. провндѣ алака коуаль. лудя
сновалнн шетн сылабнн хварь ахоу
сы въ бааги. собыщеме адыкн хымаковсе
маген. **И**же бѣ ты нынх охдѣ твои
хѣе. мрътвнмь а нво ты гавнсе ты
бова днннсе за алькндръ лавоубѣжъ
нн. и не споуи ость зову авкма по каза
улькнну

НАШОУ. ГАКО ЛОЖЕ ШИХОТЕН. Н ИЮ.
Оуеко рнцесарн. и лотъ цнесса колати
вѣна по лощь машау. гако ломешн
хотен. простан роуслутвою. юже при
кше дрѣвемисоушеннѣ. н гѣлтѣне
бороуцес. ⁹ вѣн до вего мнмн. не
оставннѣ създам по лрета мѣсарь.
лелюущннѣ ма. неота на не ма вден
на. нѣ прѣ блѣ ннѣ ма. и пащѣ на шенѣ
ше. гако нзбавннѣ мага. сътрокы ево кѣ
вѣвнло нѣ. еспрѣстаны поущнѣте.
н вѣрѣ лены те кѣ раднѣ пещи. нз не
нѣ вѣ пнющнхъ ты. ⁴² а ю ^и оуеко рнцесарн.
нѣ. прѣ роуслѣт во мѣ хъ во мѣ. тво рн
мѣ паметь. стѣ хъ съць аврама.
нса каннкова. оуе ба гѣн.
тѣ хъ вѣ слнннѣ лонен вѣ мнѣ га хъ вѣ
тѣ нннѣ хъ. нз вѣтѣ ннѣ на пнса. ма
до мѣ ннѣ сътѣ го съ лѣ воу тѣ нн. съ хъ

ВЪЗЛЫСНА ПОСЛАТЬ ЧЕБЪ ГЬ ШИКОУ РОТЪ
А. СТОБЮ ВЛУЫ ЧО ВЪ ДНЬ СЛЫТЪ ОУ
ВЫ ВЪ ТЛЪ ТЕСТЫ ТОВИ. РОДЪ ТВОЕ
НА ВЪХА. РЦИ. Н СУРЪ ВА ПРЪ МЕДНИЦЕ
РОТВОК ТВОЕ СЛА МНЪ НО ДВА ДНЬ.
И ПЪ МЪ СТО ТРЪ ТГА. А ЦН ВЪХА КРЪ
ТА ПРЪ ТЛА И В САЗЕ МЛА ДА ПОКЛАТИ
ВЪ СКАНИ МЪ ТЕ БОУ В САЗЕ МЛА. А ПЛЪ
КЪ ГАЛА ТА МЪ. Б РАЖИ ГА ПРЪ ДЕКЪ МЪ
АЪ ДЛА ГА. А МЪ СНА ПОВЪ ДЕТЪ СЛА
ДА ДНЬ ШР И ГА ЕТЪ ГА. И ЦН ША
СОУ РАТЪ ШОУ СЕ ВЪ И ША СЛА ВЪ И ОДЪ
ПРЪ. И ЗЪ БА ВЛЕ МЪ ПО СЛА ГЪ ЛЮ ДЪ СКОУ



ША ГЕ ВЪ Ш ДНЬ ПРЪ

МНЪ ПРЪ ШЪ ЦИ МЪ ГА НА ШЕГО ОУ
НА ГИ ВЪ ЗНА. Ш И ПЪ КЕ МЪ. Ш РЕ
ГА. В С А М О Г Л О П О Д В А Ц И

П Р О С Я Т И Т Е Л Я Н А Ш Е Г О П Р О Ш Ё Ц Я

и не се лице. боу боже вогонна. и не
 побѣдилься. и ли поть вѣуми
 прикъ кси манъ бѣхъ. не бѣ лотво
 всакъ не доугъ ѿгонитъ. да бо к гоме
 вълюбилься. тѣ бо те праславни се
 батенне. и ннѣ вѣ въ хѣ: снѣ хнѣ
 га. славны шыны. Мау аргнѣ снѣ хнѣ
 пѣ г. ѿ нѣ грѣ маетащѣ. пра нѣ тайоу
 трѣ нѣо. ннѣ вѣ прѣ гла. ѿ възве
 селнѣ спрѣвѣднѣ. ѿ оуслыши бѣ мѣ тѣ оу.
 аплѣ кѣ фнѣ. уе до фнѣ лотѣм. възмѣ снѣ
 алаа гла. а. прѣвѣдннѣ снѣ мѣ оу фнѣ ннѣ
 кѣ хнѣ ѿ нѣо. снѣ гнѣ прѣ вѣ дѣ мѣ лѣ
 прнѣ. въ лѣ мѣ вѣ уноу нѣ боу дѣ тѣ прѣ нѣ.
БѢ НѢ. ЦѢ ТѢ НѢ НѢ. ВѢ СѢ ОУ БѢ
 на гнѣ възва. снѣ нѣ нѣ оу мѣ снѣ
 гла. нѣ снѣ мѣ гла. а. нѣ вѣ а дѣ нѣ оу
А нѣ бѣ гѣ тѣ снѣ гѣ дѣ. нѣ бѣ гѣ нѣ снѣ оу
 алаа. а. а. нѣ възмѣ шы нѣ снѣ тнѣ гла. мѣ
 бѣ гнѣ гѣ дѣ нѣ нѣ лѣ гнѣ. снѣ мѣ оу
 въ шы нѣ мѣ.

Древнерусский Хронограф Дебреценского Университета

Э. Иглои

1.

Работа с целью открытия на территории Венгрии древнерусских письменных памятников литературного и внелитературного характера, которые могли бы сами по себе свидетельствовать об интересе в Венгрии к России, к древнерусскому историческому прошлому, до сих пор не проведена с достаточной интенсивностью. Исторический анализ и лингвистическая обработка открытых до последнего времени материалов внелитературного характера, написанных на каком-то восточнославянском (русском или украинском) языке, начались только в последнее время.¹ В собрании древних славянских рукописных памятников, хранимых в отделе рукописей Венгерской Национальной библиотеки им. Сечени и в других венгерских библиотеках, имеются древние русские рукописные и старопечатные произведения исключительно богослужебные, написанные на церковнославянском языке. Древнерусский письменный литературный памятник светского содержания был открыт в Венгрии впервые только в 1959 году. Описание этого памятника и является задачей нашей статьи.

2.

Об открытии памятника

2-го июля 1958 года преждевременно скончался Лайош Хегедюш (1908—1958), заведующий отделом Института Языкознания АН Венгрии. Лайош Хегедюш был известным лингвистом, основоположником современной венгерской экспериментальной фонетики. В этой отрасли наук он достиг ряд крупных и по всему миру достойно оцененных результатов. Как экспериментальный фонетист, он проводил большую собирательную работу, неоднократно совершал научные экспедиции по Венгрии. Во время одной из своих научных поездок (где и когда именно — теперь уже установить нельзя) Л. Хегедюш приобрел одну древнерусскую рукописную книгу, о наличии которой при жизни он однако, сообщения не сделал. Эта книга была найдена только в 1959 году, при разборе частной библиотеки покойного учёного и передана вдовой в распоряжение библиотеки Университета им. Кошута в г. Дебрецен, где она хранится вместе с несколькими старопечатными православными церковными книгами.

¹ Перени Й. — Балецкий Э. Украинская грамота Софии Батори 1647 г., *Studia Slavica* т. V, 1—2, 1959, стр. 75—104.

Палеографическое описание книги

Рукописная книга, найденная в библиотеке Л. Хегедюша, представляет собой сборник статей из третьей редакции Хронографа (по классификации А. Попова).² Сборник написан полууставом. Рукопись выполнена одним переписчиком, который, однако, не выдержал принципа единого начертания букв, вследствие чего в рукописи встречается несколько вариантов одной и той же буквы. Тщательная работа переписчика в начальных статьях рукописи постепенно уступает место более небрежному оформлению букв. На первых 40 л. рукописи текст написан красивым полууставом, напоминающим собой обычный полуустав XIV—XV вв; почерк прямой, буквы вертикальны, отстоят одна от другой на одинаковом расстоянии. Стремлением переписчика сэкономить время написания сборника может объясняться переход его от обычного полуустава к начертаниям букв, свойственным то позднему полууставу, то полууставу, переходящему в скоропись. Начиная с 40—50 л. рукописи значительно увеличивается количество сокращенных слов и выносных букв, зато все реже встречаются надстрочные знаки; буквы отстоят одна от другой на разных расстояниях, прямые мачты букв наклоняются направо; единообразные написания в начальных статьях постепенно меняются несколькими начертаниями большинства букв; вместо *юса малого*, часто встречающегося в начале рукописи, все чаще пишется «я», и во второй половине работы совсем вытесняет его. Предлоги и союз «и» обычно пишутся слитно с последующими за ними словами.

В рукописи встречаются следующие начертания одной и той же буквы:³

А

Встречаются четыре варианта: правая черта буквы представляет собой стержень с небольшим изгибом, расположенный под углом к нижнему уровню строки, а левая часть буквы имеет заострение книзу (1); близкое к современному строчному «А» — верхняя часть правой части буквы не соприкасается со стержнем, а загибается внутрь (2); прописное «А» иногда (например в слове «Аминь») имеет растянутую, декоративную форму (3); в роли прописной буквы приближается к А современному (4).

Б

Имеет несколько вариантов: по своему начертанию приближается к современному: нижняя часть буквы имеет форму, близкую к треугольнику, верхняя черточка расположена горизонтально и имеет справа отросток вниз (1); то же самое, с наклонной немного, направо, мачтой, верхняя черточка расположена немного под углом к строке и имеет справа отросток вниз (2); буква напоминает собой арабскую цифру «б», верхняя черточка дугообразна, имеет справа отросток вниз (3); часто встречается в рукописи «Б» типа современного строчного в виде кружочка с загибом вверх и направо (4); близко к начертанию современного «С», пишется в один прием, внизу с загибом внутрь, а на верхней части с загибом вниз, с хвостиком, указы-

² Ныне хранится в библиотеке Дебреценского университета им. Кошута, под шифром Ms 36.

³ Цифра после описания очертания буквы указывает на номер варианта в таблице № 1.

вающим направо (5); напоминает арабскую цифру «6», верхняя черточка отпадает (6).

Я

Встречаются следующие начертания: нижняя петля буквы значительно больше верхней и присоединяется к ней не в одной точке стержня, а находит на верхнюю петлю (1); чаще всего встречается в виде четырехугольника, верхняя горизонтальная черта округлена и пишется с левой чертой в один прием (2); пишется и в виде четырехугольника, но верхняя горизонтальная черта не соприкасается с правой вертикальной чертой, которая короче левой и заканчивается маленьким загибом вправо (3); приближается к современному строчному, пишется в один прием, нижняя и верхняя петли овальные и не соединяются, а соприкасаются со стержнем вверх и вниз от середины (4); стержень закругленный, верхняя и нижняя черты загибаются и соединяются в одной точке, приближаясь к стержню; нижняя часть больше верхней. Буква пишется в один прием (5); пишется в один прием, стержень закругленный, концы загибаются, но не соприкасаются, нижняя петля значительно больше верхней (6); редко встречается начертание в виде двух треугольников, расположенных рядом, с закруглениями вверх (7).

Г

В начальных статьях сборника пишется Г, близкое к современному начертанию (1); чаще всего встречается начертание, близкое к современному строчному: верхний полукружок значительно больше нижнего (2); в роли прописной буквы редко обнаруживается и Г, близкое к современному печатному с искривленным вертикальным стержнем, вверху и внизу выходящим за пределы строки (3); приближается к латинскому прописному Р, вверху выходит за пределы строки (4).

Д

Встречается: в виде треугольника с длинными прямыми ножками (1); в виде треугольника с очень длинными, изогнутыми влево ножками, заканчивающимися крючками (2); напоминающее собою латинское заглавное прописное L; встречается и с петлей внизу и соприкасающимися влево в одной точке чертами; горизонтальная черта в обоих случаях уходит глубоко вниз за пределы строки. Данный вариант буквы пишется в один прием с сильным уклоном вправо (3); иногда пишется вариант типа латинского б, мачта внизу загибается влево, а продолжением ее направо является маленький крючок (4); современное скорописное Д с загибом вниз (5).

Б

Имеет три варианта: напоминает собой правильный вертикальный извив, имеющий справа в середине черточку, похожую на шип (1); чаще встречается начертание, состоящее из двух извивов, причем верхний извив больше нижнего и выходит за строчку (2); представляет собою полукружие с изгибом на верхней части (3).

Ж

В рукописи есть два варианта: полууставное, которое пишется в три приема, почти симметрично, по диагонали идет только одна черта сверху

вниз, левая нижняя черта пишется в один прием с пересекающей вертикальной чертой, правая верхняя часть состоит из шипа (1); чаще пишется в виде, напоминающем У, лежащее параллельно строке и пересеченное вертикальной чертой, наклонной справа (2); начертание с сильным загибом вниз левой петли; петли пишутся в два приема, левая петля не пересекает вертикальную черту, а соприкасается с ней в одной точке (3).

Ѕ

(зелo) Имеет одно начертание: типа латинского S (1).

З

(земля) Имеет следующие начертания: состоящее из двух извивов, образующих вверх и внизу узкую петлю, причем верхняя петля больше нижней (1); верхняя часть напоминает собой арабскую цифру 7, а нижняя часть имеет форму извива (2).

И

(восьмеричное) Начертания следующие: приближается к современному печатному И с косой перекладиной (1); стержни слабо искривлены, правый стержень внизу имеет отросток справа (2); состоит из одной косой черты, к которой вверх влево и внизу вправо присоединяются полукружия (3); разновидность, похожая на латинскую букву H (4); правая черта приобретает извилистую форму (5).

І

(десятеричное) Пишется в виде прямой вертикальной черты с двоеточием над ней (1); прямая вертикальная черта внизу вправо имеет маленький загиб и опускается под строчку (2), в роли союза часто встречается в виде прямой вертикальной черты с горизонтальными черточками вверх, посредине и внизу, идущими от стержня вправо. Эта форма буквы пишется без точек (3); пишется как йота (латинское j) (4).

К

Имеет разные начертания, а именно: состоящее из прямого вертикального левого стержня и из двух черт, одинаковых по длине, соприкасающихся и образующих треугольник, причём правая часть не присоединяется к стержню (1); преобладает вариант, состоящий из двух извивов, похожих на С, или из двух вертикалей, отделенных друг от друга небольшим интервалом (2); в качестве прописной буквы пишется вариант, приближающийся к современному печатному заглавному К, но прямая часть не присоединяется к стержню (3); несколько раз встречается и К типа латинского Р, причём прямой стержень представляет собой овальную петлю (4); правая верхняя часть присоединяется к стержню вверх, а нижняя часть вниз (5).

Л

Разновидности Л в рукописи следующие: состоящее из двух прямых наклонных линий, соединяющихся под острым углом на верхнем уровне строки и образующих треугольник, открытый книзу. Правая линия буквы

написана жирно (1); наклонные линии, образующие треугольник, имеют слабый изгиб, левая линия поднимается вверх над правой, которая внизу иногда имеет маленький загиб (2); левая длинная линия сильно наклонена и поднимается вверх над строчкой, а правая линия короче, стоит вертикально и соединяется с левой на верхнем уровне строки; обе линии внизу имеют крючок (3).

М

Пишутся три варианта: справа и слева расположены два наклонных прямых стержня, а между ними идут книзу две линии, представляющие собой заострение (1); стержни имеют слабый изгиб вправо, причем левые линии немного поднимаются вверх над правой (2); редко, скорее в роли выносной буквы, встречается и начертание в виде косо́й змеевидной черты (3).

Н

Наблюдаются следующие начертания: два прямых вертикальных стержня соединяются срединной горизонтальной перекладиной (1); нижняя часть вертикальных стержней имеет маленький отросток (2); два раза встречается в качестве прописной буквы и стилизованное начертание с тремя косымч перекладинами, интервалы между которыми засыпаны точками (3).

О

Представляет собой овал с несколько заостренным верхним концом (1); пишется и с двумя, несколько заостренными концами (2).

П

Приближается к современному начертанию: вертикальные стержни то прямые (1), то наклонные и имеют слабый изгиб (2); пишется и с округленной горизонтальной чертой, левая черта имеет шип слева (3).

Р

Пишется в один прием, прямой вертикальный стержень имеет маленькую головку, вся буква помещается в строке (1); то же самое начертание, но стержень опускается вниз под строчкой (2); начертание прописной буквы представляет собой прямой вертикальный стержень, выходящий над строкой с округленным вправо концом (3); два — три раза пишется и скорописное Р в виде восьмерки (4).

С

Имеет два варианта: начертание в виде дуги с заостренными концами (1); в виде большой толстой дуги, сверху и снизу выходящей за пределы строки (2).

Т

Начертания разные: в начале фразы в качестве прописной буквы приближается к современному печатному: стержень покрыт прямой чертой с небольшими отростками вниз с правой и левой стороны (1); в качестве прописной буквы пишется и вариант, приближающийся к Ч: перекладина ис-

кривлена и пишется только с левой стороны (2); в роли строчной буквы наиболее распространено Т с опущенными до нижней строки крыльями (3); пишется на трех слабо искривленных ножках, горизонтальная перекладина пишется в один прием с правой ножкой (4); в качестве выносной буквы, но не в предлоге «от» пишется одна короткая прямая вертикальная ножка, перекладина непомерно длинная и с правой стороны имеет отросток в виде крючка (5).

У

Обнаруживается три начертания буквы: в виде восьмерки, незакрытой кверху (1); приближающееся к современному печатному, нижняя часть стержня поворачивает влево под строчку, а чаша является круглой (2); вариант, напоминающий собой современное печатное Ч: стержень представляет собой прямую вертикальную линию, глубокая круглая чашечка присоединяется к стержню с левой стороны; обычно пишется в конце слова и помещается в строке (3).

Ф

Имеет два основных начертания: посередине прямого вертикального стержня с обеих сторон присоединяются треугольники с закругленными книзу углами (1); два полукружия пересечено прямым вертикальным стержнем (2). [В большинстве случаев для обозначения звука Ф (Фита) в рукописи пишется буква Φ].

Х

Имеет три основных начертания: в виде двух перекрещивающихся линий, из которых левая является прямой, а правая приближается к дуге и верхний ее конец загибается вниз в виде шипа; буква опускается под строчку (1); обе перекрещивающиеся линии приближаются к дуге и верхние концы обеих линий загибаются вниз (иногда пишется и без загиба) (2); в роли выносной буквы пишется в виде лежащей восьмерки, незакрытой с левой стороны (3).

О

Пишется преимущественно в предлоге «от» и в начале слова для обозначения звука О в трёх вариантах: первый вариант приближается к печатному, середина доходит до высоты буквы, стержни внизу образуют два остроугольных треугольника (1); в виде двух лежащих, примыкающих друг к другу извивов, с низкой серединой, правая черта правого извива иногда загибается влево над строкой (2); пишется в один прием, левая и правая черты загибаются внутрь, а вместо среднего стержня широкая горизонтальная линия буквы посередине чуть подымается вверх в виде дуги. Этот вариант употребляется под титлом в значении восклицания (3).

Ц

Имеет два варианта: пишется тремя чертами: две вертикальные параллельные мачты соединены внизу на строчке прямой горизонтальной чертой, идущей дальше линии правой мачты. Хвостик буквы является прямым, пишется в один прием с горизонтальной чертой и еле наклоняется направо.

Буква выходит за строчку в межстрочное пространство (1); более круглая разновидность того же начертания: хвостик опускается вниз, потом поворачивается вправо в виде крючка, левая мачта ниже правой (2).

Р

Пишутся два начертания: одностороннее с неглубокой чашечкой (1); приближающееся к заглавной букве Е: верхняя часть пишется в виде кривой дуги, а стержень является изгибом (2).

Ш

Встречается всего один вариант в виде трех палочек, перечеркнутых снизу (1).

Щ

Встречаются два варианта: в виде трех палочек, перечеркнутых снизу с прямым хвостиком посередине, являющимся продолжением средней черты (1); хвостик образует крючок и пишется в один прием с горизонтальной чертой справа (2).

Ъ

Применяются разные начертания, а именно: состоящее из высокой, выходящей за строчку линии, верхняя черточка расположена горизонтально и оканчивается небольшим шипом, нижняя часть буквы имеет форму, близкую к треугольнику (1); стержень буквы не выходит за строчку, а нижняя часть приближается к маленькому кругу и подчеркнута на уровне строки (2); то же самое начертание без подчеркивания (3); подчеркнутая разновидность с хвостиком, представляющим собой крючок (4); пишется в один прием, мачта загибается над нижней, округленной частью в виде арабской цифры 6, хвостик является кривой дугой, оканчивающейся шипом (5), верхняя часть растянута, вместо шипа пишется длинный стержень с изгибом (6).

Ы

Состоит из ь (ерь) и I (десятеричного). Пишется три варианта: составные части пишутся отдельно, I представляет собою прямую черту, а «ь» (ерь) подчеркнута (1); I приближается к букве С, а ь (ерь) не подчеркнута (2); пишется слитно; ерь имеет форму современного скорописного б, а I (десятеричное) имеет змеевидную форму (2).

Ь

Встречаются две разновидности одного и того же варианта: с прямой и слабо искривленной мачтой, нижняя округленная подчеркнутая часть пишется в один прием с мачтой (1—2).

Ѡ

Пишутся три варианта буквы: основной стержень буквы выходит на строчку, нижняя часть представляет собой треугольник, стержень на высоте уровня строки пересечен горизонтальной чертой, имеющей с левой стороны отросток вниз до нижнего уровня стержня (1); согнутая мачта не выходит за строчку и пишется в один прием с округленной нижней частью, переключаясь

дина примыкает к верхнему концу стержня и имеет прямой вертикальный отросток вниз, достигающий до нижнего уровня строки (2); стержень пишется в виде наклонной вправо арабской цифры 6, выходит за строчку и пересечен на высоте строки дугообразной косой чертой (3).

Ю

Имеет четыре начертания: прямое, состоящее из I (десятеричного) без точки, и O с горизонтальной перекладиной выше середины буквы (1); то же самое начертание с уклоном вправо (2); пишется в один прием, соединительная горизонтальная черта проходит по верхней части буквы [в некоторых случаях I (десятеричное) соединяется перекладиной в виде маленькой петли] (3); типа заглавного E с замкнутой нижней петлей, представляющей собой круг (4); правая часть буквы пишется в виде латинского прописного «s» (5).

И

Встречается всего несколько раз, причем в двух основных вариантах: прямое I (десятеричное) без точки соединено горизонтальной перекладиной с буквой A, правая черта которой представляет собой стержень с небольшим изгибом, расположенный под углом к нижнему уровню строки, а левая часть буквы имеет заострение книзу, соединительная черта пишется выше середины буквы (1); I (десятеричное) слабо искривлено, а правая часть буквы приближается к современному строчному A (2); в конце статьи, будучи последней буквой слова, пишется в отдельную строку декоративным почерком (3).

И

Имеет три варианта: начертание прямое, правая черта имеет удлинение над строчкой, соединительная черта проходит посередине (1); Юс *малый* (▲) постепенно уступает место в рукописи начертанию «Я» типа современного с уклоном в левую сторону, верхняя часть представляет собой полукружок, левая ножка выглядит шипом (2); правая черта иногда принимает вид лежащей дуги с отверствием кверху (3).

Ѧ

Употребляется в сборнике для обозначения числа 60, а также в именах Алексей, Александр. Три основных варианта буквы: прямое, приближающееся к арабской цифре 3 с загибающимся сначала вниз, а потом вправо хвостиком; над верхним изгибом стоят два шипа, соединяющихся в одной точке с верхним изгибом, образуя таким образом крышу, перевернутую наоборот (1); высокий, выходящий за строчку стержень наклоняется направо и на верхней части имеет петлю, а правая часть в виде латинского строчного M пишется вся в строке (2); на высокую, выходящую за строчку мачту по диагонали находят с левой стороны шип на высоте строки, а правая часть в виде тройных изгибов приходится на нижней части стержня и опускается под строчку (3).

У

Встречается редко, единственное начертание состоит из двух черт, образующих треугольник и пересеченных прямой, вертикальной чертой в точке соприкосновения в виде вилки.

Ө

В основном тексте рукописи встречается начертание в виде заглавного О, которое с правой стороны посередине перечеркнуто палочкой, не достигающей до левой черты буквы (1); на полях рукописи два-три раза пишется О, приближающаяся к современному заглавному прописному А: правая черта буквы на нижнем уровне строки резким поворотом пера загибается сначала влево, пересекает левую черту, потом загибается вверх и направо в обратном направлении (2).

У

Входит в дифтонг ОУ в виде большой чаши, левый стержень выходит за строчку и загибается влево и нижняя часть округлена и шире верхней части (1).

В рассматриваемой нами рукописи ни разу не встречаются ЮС *малый* йотованный (✱), Юс большой (✶) и Юс большой йотованный (✷), а также и йотованное Е (✸).

Графика выносных букв

В рассматриваемом нами сборнике статей Хронографа в изобилии встречаются выносные буквы, служащие цели ускорения письма. К числу наиболее часто встречающихся выносных букв принадлежат следующие буквы:

В

Под титлом пишется квадратный вариант буквы (2); ⁴ Не покрыто титлом в виде, приближающемся к букве О с загибающимися внутрь верхней и нижней линиями, встречающимися в одной точке и образующими треугольник (5).

Д

Имеет три варианта: верхняя часть буквы представляет маленький треугольник, который лежит на широко раздвинутых коротких ножках (6); пишется и без ножек в виде широкой, слегка изгибающейся горизонтальной черты с маленьким треугольником над ней (7).

Ж

Встречается в обеих основных разновидностях; преобладает вариант, состоящий из двух пересекающихся линий, третья линия не пересекает вертикальную линию, а соединяется с ней на высоте строки, образуя треугольник, правая верхняя часть состоит из шипа (1); второй вариант приближается к букве У, лежащей параллельно строке и пересеченное вертикальной чертой, наклонной справа (2).

З

Выносится над строчкой без покрытия титлом в двух вариантах: в виде лежащей тройки, раскрытой книзу (3); в виде волнистой дуги, тоже раскрытой книзу (4).

⁴ Цифра после описания очертания выносной буквы также указывает на номер варианта в таблице № 1.

И

Над строчкой пишется в виде двух параллельных косых или лежащихся рядом палочек (6—7).

К

Пишется в виде двух вертикальных параллельных палочек, прикрытых дужкой (титлом) (2).

М

Пишется в вертикальном положении с глубокой серединой, срединные черты соединяются и со стержнями и друг с другом под углами. В большинстве случаев покрыто титлом в виде дуги (2).

Р

Имеет три варианта, пишущегося всегда без титла: в вертикальном положении с овальной головкой (1); то же самое начертание в лежащем положении с головкой книзу и справа (5); лежащее в обратном направлении со спиральной головкой кверху (6).

С

Пишется: под титлом в виде дуги (2); в виде точки, покрытой дужкой (3).

Т

Имеет три разных начертания: на трех коротких ножках (преимущественно в предлоге «от») (3); на одной высокой ножке; начертание напоминает букву Ч (2); напоминающее титло в виде длинной волнистой дуги, оканчивающейся с правой стороны шипом книзу, ножка короткая (5). Выносная буква Т никогда не покрыта титлом.

Х

Весьма часто встречается в виде двух перекрещивающихся линий, верхние концы которых загибаются вниз (2); реже обнаруживается в виде лежащей восьмерки, не закрытой с левой стороны (3).

Кроме указанных выносных букв в нескольких случаях выносятся за пределы строки в рассматриваемом нами списке Хронографа и следующие буквы: Б, Г, Е, Л, Н, Ц, Ш, Щ, Ч и Ю.

Связные написания соседних букв

Подавляющее большинство букв пишется отдельно, слитные написания встречаются редко, скорее только во второй половине рукописи. Следуя общепринятому принципу систематизации соединений букв, слитные написания, встречающиеся в рукописи, делятся на три группы⁵:

⁵ см. Л. В. Черепнин Русская палеография, М., 1956, стр. 371.

а) Соединение строчной буквы со строчной:

БЕ =		КГ =	
БЛ =		ЛЕ =	
БУ =		ЛЪ =	
БЫ =		ЛѢ =	
БѢ =		МЪ =	
ДЕ =		МЬ =	
ЕЙ =		МѢ =	
ЖЕ =		НЫ =	
ИВ =		СЕ =	
ИМ =		ТЬ =	

ЧЕ =

б) Соединение надстрочной буквы с надстрочной:

ДЕ =		НА =	
ДИ =		СТ =	
ЖЕ =		ЩЕ =	

в) Соединение строчной буквы с надстрочной:

АХ =		ОВ =	
ЕМ =		ОТ =	
ЕР =		УЗ =	
ЕХ =		ѢТ =	

Сокращения (аббревиатуры)

В тексте изучаемого нами списка Хронографа встречается большое количество слов, писавшихся сокращенно. Сокращения, имеющие целью ускорение письма, делаются переписчиком рукописи, во-первых — по принципу контракции, во-вторых, с помощью надстрочных букв и, в третьих — посредством частичного пропуска букв и частичного выноса их за строку

1) В круг слов, сокращенных по принципу контракции, входят следующие слова, относящиеся к религиозной, политической и бытовой терминологии древнерусского литературного языка:

бѣхъ	млѣтва	Цръградъ
дѣша	нѣо, на нѣси	кнѣженіе
сѣхъ	сѣнническій	црѣвичъ
дѣховъ	бѣгоматерь	члѣвѣкъ
бѣжи	дѣховники	срѣцѣ
црѣковъ	кнѣзь	днѣ
сѣки	црѣ	глѣти
блѣгословеніе		снѣце

2) Среди слов, сокращенных с помощью надстрочной или выносной буквы, на первом месте следует указать на предлог «от», написанный исключительно только в форме «ѡ.»

За строчку выносятся буквы, служащие для графического изображения согласных звуков, а также и полугласный «Й.» Чаще всего выносятся за строчку буква, стоящая в конце слова, например: клѣѡ, двѣѡ, кнѣѡ, вполѡ, послѡ, свѣѡ, повелѣѡ, скойѡ, ѡ тѣѡ, трѣѡ, о протчѣѡ, слѣѡ, берѣѡ, отвѣрѣѣѡ, црѣѡ, градѡ, чтѡ и т. п.

Иной раз буква выносятся за строку из середины слова, например: коѣѡми, ѡторгнуѡ, ѡрѣсеѡ, ѡндеѡ, уѣѡды, ѡцуѡ, ѣѡлаше, непѡвѣжно, Димѣѡрѣѡ, невозможѣѡ, не ходѣѡше, самовѡженнуѡ (о свече) иѣѡраша, с войѣѡтвы, ѡлиѣѡганіе, мѣѡрѣѡсти и т. д.

Нередко слово пишется с двумя надстрочными буквами, выносящимися из середины и с конца слова: воѣѡрастѡѡ, неѣѡреченнѣѡ, москѡѡвскѣѡ, литѡѡвскѣѡ и т. п.

В данном списке продолжения Хронографа есть и единичные случаи, когда за строчку выносятся целый слог, писавшийся слитно: жѣѡ, (союз) прѣѡносѣѡ, нарѣѡди, жѣѡнѣѡ, жидѡѡвѣѡву, колѣѡрѣѡиѡ и т. п.

Выносные буквы обычно пишутся отдельно от слова над строкой в прямом или лежащем положении, но бывают и единичные случаи, когда они соединяются с предыдущей строчной буквой, как например, в следующих словах: домѣѡ, доводѡѡ, дворѡѡ, сѣѡдечнимѣѡ, Оудѣѡльскиѡскиѡ и т. п.

3) Посредством частичного пропуска букв и частичного выноса их за строку пишется всего несколько слов, например: вѣѡку, хрѣѡтоложѣѡвому, хрѣѡтианскѣѡиѡ, мѣѡца и т. п.

Инициалы

Каждая статья сборника имеет свое заглавие, начинающееся с прописной буквы особого очертания — инициала, написанного большей частью киноварью. С подобного же рода буквы начинается и первая фраза отдельных статей. Размер инициалов колеблется от 1 до 3 см. По своей форме они в большинстве случаев чрезвычайно просты, далеки от инициалов гератологического (чудовищного) стиля XIII—XIV вв., изображающих человеческие

фигуры и жанровые сценки. В то же время чужда им и орнаментика русского барокко XVII века, характеризующаяся изображением реальных листьев и плодов в сочетании с геометрическими мотивами. Инициалы описываемой нами рукописи скорее испытывают влияние т. н. *растительного стиля* XV—XVI вв. Буквы имеют четкие контуры в виде каркаса геометрических очертаний. За исключением некоторых заглавных букв, сохраняющих обычную полууставную форму, инициалы напоминают собой стебли растений с маленькими бугорками или хвойные листья. Некоторые из инициалов имеют и три-четыре варианта от простого геометрического очертания до стилизованного под растительный стиль рисунка, например Б, В, П, И, Т. Инициалы И и Н настолько совпадают по своим очертаниям, что различать их можно только по контексту. Ниже мы приводим рисунки встречающихся в рукописи инициалов, (см. таблицу № 2).

Знаки препинания и надстрочные знаки

1) *Знаки препинания.* Изучаемая нами рукопись не отличается большим разнообразием знаков препинания. Выделение отдельных частей предложения, а иногда и целого предложения производится через запятые (,), поставленные на сравнительно большом расстоянии от конечной буквы выделяемого отрезка текста (интервал между словом и запятой иногда достигает 1—1½ см. Точка (.) ставится всегда при подошве буквы и по своему смысловому значению служит обычно для обозначения конца предложения или для выделения более длительного отрезка текста. Точка очень часто употребляется вместо запятой и наоборот. В некоторых статьях Хронографа в функции всех основных знаков препинания фигурирует почти исключительно точка.

Из других знаков препинания в рукописи встречается, правда только три-четыре раза, точка с запятой (подстолия) (;), но и этот знак — в отличие от большинства древнерусских памятников, в которых точка с запятой по примеру греческого правописания является вопросительным знаком, в данном случае заменяет собой точку. Всего один раз обнаруживается в рукописи знак в виде трех точек (:·), служащих для указания конца статьи (см. статью «О изгнании патріарха Іона Московського всея Руссії», л. 65 об., л. 68).

Перенос слова не отмечается особым знаком, однако иногда в конце строки независимо от того, переносится ли часть слова в следующую строку или все слово помещается в строке, ставится знак в виде горизонтальной черты или двух параллельных горизонтальных черт (—, =), не имеющий никакого смыслового значения, применяющийся переписчиком только с целью заполнения строки, т. е. в декоративной функции.

Переписчик данного списка Хронографа иногда, видимо, был невнимателен к своей работе, вследствие чего в тексте обнаруживается много пропусков, восполненных потом при проверке текста, на полях листов. Для места пропуска в тексте и перед дополнительно внесенным на полях — чаще всего скорописным почерком — словом или целым предложением ставятся апострофы (сс, хх). Неправильные, ошибочные писания слова или нескольких слов ставятся переписчиком рукописи в скобках ([]), названных Ломоносовым «*вместительным знаком.*»⁶ Для выделения прямой речи, правда, только

⁶ М. В. Ломоносов Полное собрание соч. т. VII. Труды по филологии, М., Изд-во Акад. Наук СССР, 1952, гл. V. § 130—137.

в единичных случаях, скорее только в заключительной части Хронографа, употребляются и кавычки (») — знак, о котором впервые упоминается только в «Письмовнике» Н. Курганова (где он и называется *отменительным знаком*) и в ненапечатанной до сих пор *Грамматике* А. А. Барсова.⁷ ⁸ Труд Барсова, в котором кавычки еще называются «*вносным*», датируется 1797 годом, следовательно во второй половине XVIII века и этот знак препинания был уже общеупотребителен. Это обстоятельство однако не обязывает нас видеть в изучаемой рукописи список Хронографа второй половины XVIII века. По всем палеографическим признакам рукопись была выполнена скорее в первой половине XVIII века, когда знак «отменительный», или по терминологии Барсова «вносный» еще был малоупотребителен и поэтому мог еще не учитываться Ломоносовым.

2) *Надстрочные знаки*. В данном списке Хронографа находятся следующие надстрочные знаки: знак острого ударения — «оксия» или «окс» (´), писавшийся только в первых статьях сборника, причем его место соответствует месту ударения в современном русском языке, например — «О великомъ кнѣжѣнѣ Рускомъ ... Того жъ лѣта поставлень бысть митрополитъ на Москве, Феодосіи архіепѣпъ Ростовскій» (л. 1). В большинстве статей Хронографа переписчик избегает употребления этого знака препинания. Из других разновидностей надстрочного знака ударения всегда над последним гласным слова приходится знак, называемый «тяжкая» или «вариа» (˘), например: всѣ, землѣ, или, оустраши, Нову граду, егѡ, преврати, тогда, свой и т. д. За исключением первых листов рукописи переписчик отказывается и от употребления этого знака ударения.

Не является последовательным переписчик рукописи и в применении *знаков придыхания*. Только на первых листах рукописи им поставляется тщательно знак «звателцо» (˙), которое чаще всего приходится над союзом «и», а также и знак (˘), который является сочетанием знака придыхания (звателцо) со знаком острого ударения (оксия) и называющийся «истъ», «исо» или «иссо.» Этот знак применяется сравнительно редко, но зато довольно систематически во всех статьях Хронографа. Весьма редко наталкиваемся в тексте и на сочетание «звателцо» и «вариа» (˘), т. н. «*апостроф*.»

Словосокращения, как правило, отмечаются в тексте титлами разного очертания. Титло ставится и над большинством выносных букв. Наиболее употребительное графическое изображение сокращения в рукописи т. н. «взмет» (˘); кроме этого знака часто пишется знак, который и называется «титлом» в собственном смысле слова (˘). Из других разновидностей титла встречается знак «камора» (˘); который в каждом случае прикрывает надстрочную букву С; реже ставится над сокращенными словами знак «покрытие» (˘) и знак «ерик» (˘), указывающий на отсутствие в слове О, Ъ или Ь. Бывают случаи, когда титло в виде раскрытого к низу маленького полукружия с точкой (˘), указывает на пропуск в слове «С». Над И (восемьмеричным) редко, главным образом в первых двух статьях, в окончании прилагательных мужского рода единственного числа в именительном падеже и в собственных

⁷ Н. Курганов Письмовник, содержащий в себе науку российского языка со многим присовокуплением разного учебного и полезно-забавного вещесловия. Осьмое издание, вновь выправленное и приумноженное и разделенное на две части, Спб., 1809

⁸ «Грамматика» Е. В. Барсова хранится в библиотеке МГУ под шифрами 9. Е. н. II и 9. Е. н. III.

именах (Григоріи) ставится знак «краткая» (̃), по терминологии М. См отриц-кого.⁹ На пропуск буквы «й» в слове указывает точка, вставленная над словом.

Данный список Хронографа написан на толстой русской бумаге на 138 листах железистыми чернилами темно-коричневого цвета. Формат книги листовой. Размер книги 20,5 × 33,5 см. Книга переплетена из 18 тетрадей, большинство которых состоит из 8 листов, сложенных пополам, следовательно в каждой целой тетради имеется по 8 полулистов (в некоторых тетрадях нехватает один или два полулиста). Водяной знак виден почти на всех листах, а именно: по середине первой страницы сложенного листа имеется филигрань — лигатура № 1, а на второй странице видна лигатура № 2. Расшифровка этих лигатур: *Рольная фабрика Ф. Турунтаевского*. (Данные лигатуры являются ранними филигранями бумажной мельницы Ф. Турунтаевского, основанной в с. Шоломова, Вологодского уезда.¹⁰) На некоторых листах видна до сих пор не расшифрованная лигатура I МД (на левой странице) и лигатура РФ в картуше (на правой странице) (№ 3).¹¹ Изредка встречаются в книге и буквенные знаки-литеры Г У Б Р (на левой странице) и Ф С М П (на правой странице), указывающие на местоположение бумажной мельницы, где данная бумага производилась, а также и на владельца предприятия. Точная расшифровка литер: «Города Углича бумажная рольная фабрика содержателя М. Переяславцева.»¹²

На всех листах с обеих сторон оставлено широкое марго, достигающее в ширину 2,5 × 4,3 см, и примерно такое же пустое место имеется также вверху и внизу. За исключением первых 13 листов текст, написанный в один столбец, обрамлен чернильными линейками. На каждую страницу книги приходится от 26-и до 38 строк, в зависимости от ширины межстрочного пространства, а также и от размера строчных букв, обычно достигающих в высоту 3—4 мм. Строки, незначительно искривленные, свидетельствуют в навыках переписчика в переписке старинных книг. К разлиновке листа он прибегал только в начальной части книги, выполненной им с особой тщательностью и старанием. Первая тетрадь книги и половина второй тетради разграфлена так, как об этом рассказывает Е. В. Барсов, имея в виду способ работы старообрядцев Выговской пустыни по переписке книг в конце XVII — начале XVIII вв.: «На доске, соответствующей формату и величине книги, слегка наклеивались довольно толстые нитки. Доска эта накладывалась на листы книги и прижималась, вследствие чего на листах обозначались так называемые кераксы, т. е. графы, соответствующие расположению ниток.»¹³ Доски книги, обтянутые кожей, сделаны из склеенных листов церковной записной (метрической) и прихода-расходной книг. На верхней доске переплета имеется тиснение в виде двойной рамки. Внешняя рамка состоит из зигзагообразных линеек, а внутренняя рамка представляет собой цепь, состоящую из маленьких ромбиков с кружком в центре каждого из них. Этими же ромбиками соединены

⁹ «Грамматики славенския правильное синтагма. Потщанием многогрешного мниха Мелетия Смотрицкаго», 1618

¹⁰ см. С. А. Клепиков Филиграния и штемпелли на бумаге русского и иностранного производства XII-XX века. М., 1959, стр. 14—15.

¹¹ Там же, стр. 49.

¹² Там же, стр. 47.

¹³ Е. В. Барсов, Описание рукописей и книг, хранящихся в Выголексинской библиотеке, стр. 5—6.

и соответствующие углы внешней и внутренней рамок. По углам внутренней рамки и в середине видны тисненные узоры, сочетающие растительные мотивы с вычурными линиями. На полях многих листов книги, как об этом уже говорилось выше, читаются многочисленные пополнения, вставленные повидимо, непосредственно после переписки статьи или книги на основе сопоставления переписанного текста с текстом, с которого сделана копия. Единственная запись, не связанная с текстом самого Хронографа имеется на обороте последнего листа и указывает на владельца книги. Сама фамилия бывшего владельца рукописи неразборчива, так как вся запись замазана чернилами, а сверх того некоторые из букв, обозначающих фамилию владельца, выскоблены. Поэтому запись восстанавливается нами только отчасти: «Сия книга принадлежить И. А. Е.... водове.»

Палеографический анализ почерка сам по себе позволял бы отнести рукопись к концу XVII века, а русская бумага делает более вероятным переписание книги в середине XVIII века. Но мы склонны отнести данный сборник статей Хронографа к сравнительно поздним эпохам не просто по бумаге. Сравнительно точная датировка рукописи облегчается еще одним несомненным данным: переплет книги мог быть сделан только после первой четверти XVIII века. Дело в том, что картонные доски книги — как мы уже указали на это, сделаны из склеенных листов церковной метрической и приходо-расходной книг Каргопольской Благовещенской приходской церкви.¹⁴ Эти листы дошли до нас от 1725—26 гг. и содержат ценные сведения о семейных событиях каргопольцев за указанный промежуток времени, а также сообщают интересные данные о хозяйственной жизни вышеупомянутого Благовещенского прихода. Текст на листах из метрической книги написан единым, разборчивым скорописным почерком начала XVIII века. Иным, более сложным скорописным почерком отличаются, сложенные в «четверку», листы из приходо-расходной книги. Очертания букв на листах из метрической книги тождественны с скорописными очертаниями букв в самом тексте сборника и на полях его листов. На этом основании мы высказываем наше предположение относительно авторства данного сокращенного списка Хронографа. Этим автором-переписчиком, по нашему мнению, мог быть поп Каргопольской Благовещенской церкви, именем *Иоанн Афанасиев*. Его подпись имеется на склеенных листах досок переплета дважды. Внизу на одной из страниц метрической книги читается следующая фраза: *Всего в томъ вышеписанномъ Благовѣщенско^м приходѣ въ 725-омъ годѣ вѣнчано 8 браковъ Иоаннъ Афанасиевъ*». Другая подпись Иоанна Афанасиева встречается на обороте последнего листа, взятого из приходо-расходной книги Благовещенского прихода, вместе со следующими подписями:

«Щетчикъ попъ Иоаннъ Афанасиевъ руку приложилъ.»

«Щетчикъ попъ Ионъ Максимовъ руку приложилъ.»

«Щетчикъ попъ Иоаннъ Федоровъ руку приложилъ.»

«Щетчикъ попъ Андрей Афанасиевъ руку приложилъ.»

Ряд подписей заканчивается неразборчивой подписью соборного пономаря.

¹⁴ Каргополь — старинный русский город, расположенный в Архангельской области на левом берегу р. Онеги, у озера Лача. К. примечателен ценными памятниками каменного зодчества. До сих пор сохранилось несколько церквей, построенных в XVI—XVII вв., в том числе и церковь Благовещения (1692), о которой в данном случае идет речь.

О составе Хронографа

Изучаемая нами рукописная книга представляет собой продолжение первой (1512) редакции Хронографа. Большинство статей входит в третий разряд третьей редакции Хронографа, переработанной после 1620 г., но иногда встречаются и отступления — текст становится более близким к первому разряду третьей редакции. Особенностью данного сборника статей из Хронографа — также как и всех других, многочисленных полных и сокращенных списков этого монументального древнерусского сочинения по всемирной истории, является его компилятивный характер. Не только отдельные главы сборника взяты из нескольких источников, но и почти каждая глава составлена по нескольким источникам. Большинство статей, занимающихся русской историей начиная от царствования Василия Васильевича до воцарения Михаила Феодоровича восходит к трем основным источникам начала XVII века, а именно: 1) ко второй редакции Хронографа 1617 года; 2) к «Сказанию» Авраамия Палицына, 3) к «Иному сказанию.» Кроме русских статей в данный сборник включены и некоторые статьи из всемирной истории польского историка *Мартина Бельского*, а в приложении к русским статьям находятся родословные таблицы русских князей и т. н. «Летописец вкратце». Не входя в подробное описание источников сборника, в дальнейшем мы ограничиваемся только перечислением заглавий статей, включенных в сборник, а также и начальными и заключительными словами отрывков, взятых из разных источников. Отрывки из рукописи печатаются с модернизированной графикой: титла раскрыты, надстрочные знаки опущены, знаки препинания расставлены по правилам современного правописания, надстрочные буквы внесены в текст; *І* заменено через *И*, *ѣ* через *Е*, *ѡ* через *О*, *ѣ* через *Ф*. и т. д.

О великом княжении Русском

(л. 1 — л. 1 об.)

«В лето 6960 князь великий Василий Васильевич Можайск взял,» до конца статьи: «В лето 6970 преставися на Москве князь великий Василии Васильевич марта в 28 день.» Из 2-й ред. X-а.

О княжении на Москве великого князя Ивана Васильевича

(л. 1 об. — л. 3 об.)

«И по великом князе Василии Васильевиче сяде на великое княжение Иван Васильевич.» — до конца статьи: «... мнози поидоша грецы служаще еи.» Из 2-й ред. X-а.

О церкви пречистыя богородицы честнаго ея Успения

(л. 4 — л. 4 об.)

«Тое жь весны апреля в 1 день заложил Филипп митрополит церковь на Москве» — до конца статьи: «В лето 6984 преставися преподобный Пафнутий, иже на Великом бору.» Из 2-й ред. X-а.

О Новгородских крамолницах

(л. 4. об. — л. 5 об).

«В лето 6986 новгородцы жь от Московския области отложишася ...» — до конца статьи: «..Занеже хотяху оубити Якова Захарича намесътника Новьгородскаго.» Из —2-й ред. X-а.

О еретиках Новгородцких, откуда явишася и в кое время

(л. 6 — л. 10 об).

«От нележе крещена бысть Руская земля, вси единомудръствующе славяще святую Троицу..» — до конца статьи: «... при его княжении был Александр Сверский Зосима и Саватии Соловецкие чудотворцы, иже в морских отоцех.» Эта статья — по указанию А. Попова — является сокращением предисловия к «Сказанию о новоявившейся ереси Новгородских еретиков, Алексея протопопы, и Дениса попа, и Феодора Курицына, и инех, иже также мудръствующих» Просветителя Иосифа Волокаламского.¹⁵ В данный список X. статья перешла непосредственно из 2-й ред. X-а.

О островах диких людей, кои немецкие люди называют новою свет, или четвертая часть Вселенная

(л. 11 — л. 12 об.)

«При сем княжении в России великого князя Ивана Васильевича всея России ...» до конца статьи: «... и сказывал, что на морских островах видел многих людей и диких — и древес и свякого оудивления.» Из «Всемирной хроники» Мартина Бельского.¹⁶

О иных ходех Америкех

(л. 12 об. — л. 13 об.)

«Ходил прежде некто со Христофором же испанские земли немчин имянем Деспидей ...» до конца статьи: «... потому что сказывают в той стране море николи не стаивает». Из «Всемирной хроники» Мартина Бельского.

Сказание о месте Мидийском, идеже глаголют гробу быти Магмета Прелестника

(л. 14 — л. 15 об).

«Тогда же во княжении Руския державы великого князя Ивана Васильевича всея России...» до конца статьи: «...и оттуду сие писание к нам доиде, мы же и сего неотставихом». Из «Всемирной хроники» Мартина Бельского.

¹⁵ см. А. Попов, Обзор хронографовъ русской редакции, ч. I—II, М., 1866.

¹⁶ Имеющиеся в сборнике рассказы о вновь открытых землях встречаются в 4-ой книге первого издания 1550 г. Полное заглавие этой книги: „Ksyęgi czwartę kroniki wssego swyata, o wyspach morskich nowo nalezyonych, ktore mogę być rzeczzone swyat

*Княжение в Руской земли великаго князя Василия Ивановича
всёя России*

(л. 16 — л. 17 об.)

«По великом князе Иване Васильевиче нача княжити в Руской сын его князь великий Василий Ивановичъ всеа России» — до конца статьи: «И по нем бысть державы Руского государства сын его царь и великий князь Иван Василюевичъ всеа России.» Из 2-й ред. X-а.

Царство царя и великаго князя Ивана Васильевича всеа России

(л. 17 об. — л. 19 об.)

«В лето 7042 декабря в — день нача в Руской земли царствовати сын его благоверный царь и великий князь Иван Васильевичъ всеа Руссии» — до конца статьи: «... от нея же роди сына царевича Димитрия.» Оригинальное цельное сочинение неизвестного русского автора; взято из 2-й ред. X-а.

*О взятии града Казани и всея земли по Волге реки и по Каме,
яже и болгары поволжския нарицахуся*

(л. 19 об. — л. 20 об.)

«Не до сего убо речи точьства станем, но на преже текущую историю возвращася..» до конца статьи: «...идеже положени быша честныя мощи ея.» Продолжение сочинения неизвестного русского автора о княжении Ивана Васильевича; взято из 2-й ред. X-а.

Сказание о святем граде Иерусалиме Трифона Коробейникова вкратце

(л. 21 — л. 21 об.)

«Приход ко граду Иерусалиму во врата градныя...» до конца статьи: «... над гробом господним аки теремок соделан от камени мраморна.» Отрывок из Хождения Трифона Коробейникова.¹⁷

О возжении свещи ст святого гроба Господня (в) день великия субботы

(л. 22 — л. 23 об.)

«Егда бывает в пяток великий.» до конца статьи: «... и потом патриарху совершающу божественную литургию.» Отрывок из «Хождения» Трифона Коробейникова.

nowy, iż nyc były znayome nigdi starim ludzynom żeglarzom, kupcom, albo też y Astro-
nomom, tak na wschod słońca yako i na zachod, na północy, takżeż na połudnye: u
prez meże na wodzye sprawne a byegle w gwyaz darskich naukach ktjorzy byli: Napirwey
Krysstoff Kolumbus, Pinzonus, Aloizius, Petrus Alonzus, Kadamustus, Amerikus Wes-
pucius, Ludowicus Wartomannus, Portugalczycy, Lusitani i drudzy. Tez o Kalekucye
wuelkim porocy na wschod słońca y o innych krainach w Indiyey.” Русский передов
Хроники Мартина Бельского появился в 1584 году.

¹⁷ Трифон Коробейников русский путешественник. Будучи послом Ивана IV, а потом и Федора Ивановича, в конце XVI века он ходил в Царьград и Иерусалим. Долгое время ему приписывалось «Хождение Трифона Коробейникова и како ходил во Иерусалим и многие святые места видел», которое, однако, является пересказом более раннего «Хожде-
ния.»

О вере армен и протчих

(л. 23 об.)

«Дивно видехом тоя ноши в церькви еретиков...» до конца статьи: «...так оубо написа во своеи книзе Трифон.» Отрывок из «Хождения» Трифона Коробейникова.

О преставлении царя и великаго князя Ивана Васильевича всея России

(л. 24.)

«В лето 7092 марта в 19 день на память святых мучеников Хрисанфа и Дарии.....» до конца статьи: «Бысть бо благоумна и смысленна и разумна зело, яко могуща оуправити Руского государства державство. «Заключительная часть исторического сочинения неизвестного русского автора о княжении Ивана Васильевича; взята из 2-й ред. X-а.

Царьство государя царя и великаго князя Феодора Ивановича всея России

(л. 24 об. — л. 29 об.)

1) В лето 7092 божим судом и изволением паче же человеколюбивым хотением бысть.» — до слов: «три юноши нападше на святого, по выи его и прореза гортань ему, яко агнца незлобива смерти предаша» (л. 24 — л. 28). Из «Иного сказания», гл. «Той же первой истории последует вторым сказанием, иже же в первой скращено....» (л. 242 — л. 249 об.)¹⁸

2) «Его же краснейшего юношу отсылают и не хотяща вечныи покои...» до слов: «И сия внидоша во уши Бориса» (л. 28 — л. 28 об.) Из «Сказания» Авраамия Палицына; гл. I. л. 9 об. — л. 10 об.¹⁹

3) «О злое сластолюбие власти, о звере страшный, иже вся поядая и он тончевая и останки ногама истребляя, немилости внимая, ни будущего прещения поминая, нещадить сродных, ни устрашается великородных, ни милует старости, ни умиляется о юности; но аки злыи врань, иже злобою очерневши доброцветущую ветвь благоплоднаго древа сокруши и пагубу злу велику учини» (л. 28. об). Отрывок из 2-й ред. X-а.

4) «Благоверный царь и великий князь Феодоръ Ивановичъ всея России не радя и земном царьствии мимоходящем, но всегда ища непременемаго.» — до слов: «И толико знаменит бе, яко и от Перских цареи и от Италии и от всего западу приносящих дары честныя царю Феодору Ивановичю и тому Борису равно подобно царьстеи чести дарования приношаху» (л. 28 об. — л. 29). Из «Сказания» Авраамия Палицына, гл. I (л. 8 об. — л. 9).

¹⁸ Здесь и в дальнейшем мы ссылаемся на издание «Иного сказания» 1907 года. В основе этого издания лежит текст, встречающийся в рукописном сборнике, который вначале принадлежал П. М. Строеву, а потом поступил к М. П. Погодину. Этот сборник содержит на лл. 1—240 «Сказание Авраамия Палицына»; на л. 241 послесловие к Сказанию Авраамия Палицына и, на лл. 242 — 390 «Иное сказание.»

¹⁹ Сказание Авраамия Палицына, под. ред. Л. В. Черепнина, М. — Л., 1955, стр. 101—249 (Текст окончательной редакции).

5) «Благоверныи же и боговенчанныи государь царь и великий князь Феодор Ивановичь всея России самодержец не точию убо в телесных добротях сияше, но и душу мужественну являя и благодатми святяшуся» до слов: «... иже царю и великому князю Федору Ивановичю шурин бысть» (л. 29.— л. 29 об.). Из 2-й ред. X-а.

6) Заключительная часть статьи: «Царица же и великая княгиня Ирина Федоровна всея Росси яже всеми благонравными добротами точна бысть и тезобытна Евдокии царицы, супруге Феодосия, юнаго царя греческаго, токмо не имяше чадородия.» — восходит к какому-то неизвестному нами списку 2-й ред. X-а.

*О совете митрополита Дионисия Московскаго всея России з бояры
и с купецкими людьми к государю царю*

(л. 29 об. — л. 32 об.)

«В лето 7094 премудрыи Грамотик Дионисии митрополит Московский и всея России..» — до слов: «Борис своим повеле отступити и его подати, яко же древле Иоав воевода Урию по Давида царя велению к сему же и лествица мастерам повеле ократити, и тако оубиен бысть.» (л. 29. об. — л. 30 об). Из -2-й ред. X-а.

2) «В лето 7099 царь и великий князь Феодоръ Ивановичь всея Руссии поиде в дом пресвятыя и живоначальныя Троицы...» — до слов: «Паче же всего разумных ослепи очеса имением многим и трапезами много сладкопитательными, по правде же побарающих; в пределы же далныя отсылая. И тако, вси советуещи нань престаша о отмщений помышляти» (л. 30 об. — л. 31 об) Из «Сказания» Авраамия Палицына, гл. I. (л. 10 об. — Л. 12).

3) «И паки тои Борис нача в сердцахъ беспрестанно желанием желати и яко негасимым огнем горети к державству Московскаго государства и всея великия России» — до конца статьи: «Но о них же оубо оставим зде много глаголати, но на предняя возвратимся, о нем же начахом» (л. 31 об. — л. 32 об). Из «Иного сказания», гл. «Той же первой истории последует вторым сказанием, иже же в первой скращено....» (л. 251 -л. 252 об).

*О преставлении государя царя и великаго князя Феодора Ивановича
всея Руссии*

(л. 32 об. — л. 33)

«В лето 7106 генваря в 7 день угасе свеща страны Руския, померче свет православия, государь царь и великий князь Феодор Иванович всея России самодержец приемлет нашествия облака смертнаго, оставляет царство временное и отходит в жизнь вечную» — до конца статьи: «О нем же преди речено будет». Из 2-й ред. X-а.

Царство Борисово, иже от сигклицкого сану рекомаго Годунова

(л. 33 — л. 37)

1) « В лето 7106 по государе царе и великом князе Феодоре Ивановиче всея России самодержце приемлет скипетр державство великия России госу-

дарьство шурина его Борис Федоровичь..» — до слов: «Годунов иже хитростроинными пронырѣствы престол царьства великия державы Руския восхити и самодержец наречеся» (л. 33), Из 2-й ред. X-а.

2) «Бысть же в лета по отшествии мира сего в кровы небесныя с (вя) таго и праведнаго царя государя и великаго князя Феодора Ивановича всея Руссии самодержца..» — до слов: «Он же устранився пришествия образа богоматери и абие восприемлет скипетр Россиискія державы в лето 7106 сентября в 3 день.» (л. 33 -л.35 об). Из — «Иного сказания», гл. «Тойже первой истории последует вторым сказанием, иже же в первой скращено....» (л. 252 об. -л. 257 об).

3) «Венчаему же Борису рукою святейшаго патриарха Иова и во время святыя литоргии стоя под той рукою не вемы, что ради испусти сиец глагол зело высок: Се о/т/че....» до слов: «....яко неповинно от полаты его разумнии истребляхуся и силнии в разсуждение далече отгоними бываху.: (л. 35 об. — л. 37). Из «Сказания» Авраамия Палицына, гл. I. (л. 12 об. -л. 14).

4) Того же 106 повелением государя царя и великаго князя Бориса Федоровича всея Руссии поставлен бысть град..... а ставил его Богдан Бельской и нарекоша имя ему нови Царь город Борисов.» (л. 37) Заключительная часть статьи, взята из 2-й ред. X-а.

О начале беды всея России и о гладе велицем и о мору на людех

(л. 37 — л. 39)

1) «В лето 7109 году. И яко сих ради Никитичев паче же всего мира за премногия и тмочисления грехи наша и за безаконие и неправды вскоре того ж лета 7109 излияние гнево - быстрое бысть от бога.» — до слов: «Тако жи нас не пощадеша врази наши» (л. 37 — л. 38 об). Из «Сказания» Авраамия Палицына, гл. 2. (л. 14 об. — л. 17).

2) «А ржи четверть тогда купиша по три рубли и выше» до слов: «....а осмину именовали осмую доль бочки, а бочку или оков купливали по три алтыны и по гривне, а коли дорого или по пяти алтын» (л. 38 об. — л. 39). Из 2-й ред. X-а.

О зачале разбоинчества по всей России

(л. 39 — л. 44)

1) «Последова же царь Борис в неких нравех царю Ивану Васильевичю, еже бы наполнити на краи пределех земли своя воинственным чином....» до слов: «Их же немощно исписати и изглаголати продолжения ради немощным слуха и забытия» (л. 39 — л. 42). Из «Сказания» Авраамия Палицына, гл. 3. (л. 17 -л. 22).

2) «И паки состави о себе царь Борис к богу молитву мудрыми слагатели и написа и предаст еже на трапезах и вечерях..» до слов: « тако же честь и слава его царьского величества высилися превыше всех великих государств навеки веков.» (л. 42 — л. 44). Эта «Молитва» Бориса включена в сборник по I-ому разряду 3-й ред. X-а.

3) «В лето 7111 бысть грех ради наших мор лут зело во граде Москве и во странах его и толико множество помроша людех елико погребати их не успеваху» (л. 44). Это сообщение о море взято из 2-й ред. X-а.

4) «И егда рекохом мир и утверждение о управлении Бориса..» до слов: «Схему достойно сказание, плача же велико дело бысть.» (л. 44). Из «Сказания» Авраамия Палицына, гл. 3. (л. 22 — л. 22 об.)

О Ростриге Григории и о смерти царя Бориса

(л. 44 об. — л. 52 об.)

1) «Видев же сие всевидящее око недреманное Христос, яко неправдою восхити скипетр Российския области Борис...» — до слов: «И возжеле (вм. возделе И. Э.) искати и внишати со усердием в премудрости богомерских книг и впаде в прелютую ересь» (л. 44 об. — л. 45 об.). Из «Иного сказания», гл. «Той же первой истории последует вторым сказанием, иже в первой скращено...» (л. 258 — л. 259 об.).

2) «И потом предста ему темномутный дух...» до слов: «И царя Бориса Московскаго зле изверже и царство сице восхити.» (л. 45 об.). Из 2-й ред. X-а.

3) «И егда же жительство имыи в царствующем граде Москве..» до слов: «...чернца Михаила Повадина да чернца Варлаама.» (л. 45 об. — л. 46). Из «Иного сказания» гл. «Той же первой истории последует вторым сказанием, иже в первой скращено...» (л. 259 — л. 260).

4) «Поидоша же во 110-м году в великий пост на другои недели во вторник...» — до слов: «... и ту зимовал, и после Велика дни бысть в городе Брачине у князя Адама Вишновецкаго» (л. 46). Сильно сокращенная переделка из «Иного сказания» гл. «Изветь старца Варлаама по убиении Разстригине царю Василию Ивановичю всеа Росии» (л. 260 -л. 265).

5) «И навыче языка Полскаго и волхвования Цыншаскаго и всякого чародейства бесовского...» до слов: «...слышав же латынин поведает князю Адаму» (л. 46 об.). Из 2-й ред. X-а.

6) «Князь же Адам Бражник и безумен тому поверил...» — до слов: «... да и завладеет царством каково тебе разумей и немного ему глагола...» (46 об. -л 47 об.). Из «Иного сказания» гл. «Извет старца Варлаама по убиении Разстригине царю Василию Ивановичю всеа Росии» (л. 264 об. — л. 266).

7) «Занеже словесен зело и велеричив во мнозе...» до слов: «... и крест целовал и утвержденную запись на себя с клятвою дал за своею рукою, а Сардомирской так же на себя ему лист, а писали они по противням листы» (л. 47 об. — л. 48 об.). Из 2-й ред X-а.

8) «И слышаху тогда в Кieve литовстии людие и запоростии казачия..» — до слов: «... не возможно бяше ему проклатому совершити таковаго великаго начинания» (л. 48 об. — л. 52 об.). Из «Иного сказания» гл. «Извет старца Варлаама по убиении Розстригине царю Василию Ивановичю всеа Росии...» (л. 267 об. - л. 275 об.).

О второй брани

(л. 53 — л. 53 об.)

«И паки не по мнозех днях бысть вторая брань на Добрыницах под Комарицкою волостию..» до конца статьи: «И паки воиско копити нача, откуда елико можаше.» Из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на Добрыницах». л. 276 — л. 279. об.). Статья переписана в сильно сокращенном виде.

О пленении Комарицкие волости от Бориса

(л. 54)

«Борис же Комаритцкую волость в те поры улучив себе время пленити повеле..» до конца статьи: «...вся без остатка потреблени быша.» Из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на Добрыницах» л. 277 об. — л. 278) Статья сильно сокращена.

О приступех Кромы града Борисовых воев

(л. 54 — л. 54 об.)

«И по неколице времени прииде воевода Московскои Федор Шереметов с войском великим в Кромы и ста перед градом..» — до конца статьи «И множество тогда людие изомроша стужи ради настоящия зимнаго ради времени и ядовитых мразов.» Из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на Добрыницах», л. 279 об. — л. 280 об.).

О укреплении Борисове всенароднаго множества Московского

(л. 54 об. — л. 55 об.)

«Борис же царь в Московском государстве и выных государствах и градах Россииския державы...» — до конца статьи: «... и никакже от людей глагола сего и чаяния возможе.» Из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на Добрыницах» л. 280 об. — л. 282 об.).

О смерти царя Бориса

«Борис же цар слыша, яко его воеводы ни единого града к нему от Гришки не возвратиша...» — до конца статьи «... а по нем остался жена его царица Мария, да сын Феодор, имянем, да дщи суци девою Ксения.» Из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на Добрыницах», л. 282 — л. 283 об.).

Царство Феодора Борисовича Годунова

(л. 56 — л. 63)

1) «Того же лета по царе и великом князе Борисе Феодоровиче всея Руссии сяде на Московское государство Феодоръ Борисовичъ». — до слов «..убо быти того плоду потребна всячественному доброу.» Из 2-й ред. X-а (л. 56 — л. 56 об.).

2) «И посылает же в полки по воевод своих...» до слов «..инии не восхотеша креста целовать и митрополита к Москве отослаша.» (л. 56 об.). Из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на Добрыницах», л. 283 об. — л. 284).

3) «Уже бо мнози тогда возмущишася от прелести кровояднаго львичнаго щенка Ростриги» — до слов: «Иже всех в России тишину жития, аки лютая буря возмути» (л. 56 об.). Из 2-й ред. X-а.

4) «Видев же сия Московскии воеводы князь Василии, да князь Иван Васильевич Голицыни, да Петр Борисович в полцех сомнение и паки усум-

нишая.» до слов: «Послании же от него з гармотою сею к Москве приезжают и прочетше на Лобном месте пред всем множества народа Московскаго» (л. 56 — л. 60 об.). Из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на Добрыницах, л. 284 — л. 292 об.)

5) «Слышавъше же Московстии народи сия лжесловесия...» — до слов «И лестию прельсти не токмо великия России народ, но и Литовские земли короля со всеми паны и предстоящими его, яко духу в немъ всельшемуся лукавому и лъстивому от сатаны и действующу им тако» (л. 60 — л. 62). Из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на Добрыницах, л. 292 об. — л. 295 об.). Данный отрывок отличается от основного текста «Иного сказания» сокращениями.

6) «И тако тои еретик поиде, аки лютыи звер, иже спия в горах восхищая с великим стремлением и пламень ярости испущая», — до слов: «И вся грады Руския страны и места ово убо лестию, ово же и озлоблениемъ поработи» (л. 62 — л. 62 об.). Из 2-й ред. X-а.

7) «И посла напредь себе осуди Московскаго государя царя Феодора Борисовича злою лютою смертию..» — до слов: «.. и не обретающе никого же себе помощника, яко в последней нищете обретесе удавлению вдавшеся» (162 об. — л. 63). Из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на Добрыницах, л. 295 об. — л. 296 об.).

8) «Феодор же точию два месяца бысть на Московскомъ государстве после отца своего Бориса» — до конца статьи: «О нем же мнози от народа тако в сердцах своих възрыдаше, за не порочное его житие, но от избавляющих ему ни едины обретесе, в день бо ярости рече не ползует имение» (л. 63). Из 2-й ред. X-а.

*Царство Рострига Григорья Отрепьева, иже взят на ся именовая
царевича Димитрия Ложнаго*

(л. 63 об. — л. 65 об.)

1) «И тако виде тои еретик Гришка предивнаго и пресловущаго, в поднебесней сияющаго, яко светила великаго града Москвы, и вниде в он 113 году, месяца июня въ 20 день в четверток, ничим же вредим» (л. 63 об.). Отрывок из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на Добрыницах, л. 297 об.).

2) «По царе и великом князе Феодоре Борисовиче восхити престол Россиискаго государства Рострига Григорей Отрепьев.» — до слов: «Тако ж и о латыне глаголаше, яко несть порока в них одинако все, яко же вера латынская, так ж вера и греческая.» (л. 63 об. — л. 64 об.) Из 2-й ред. X-а.

3) «И егда не у еще ему вшедшу внутреннии град, идеже бе обиталища царская» до слов: «... по приходе его въ царствующи град Москву июня в 23 день, дав того боярина и со единокровными его братьями засторожи» (л. 64 об. — л. 65 об.). Из «Иного сказания» (гл. О второй брани на Добрыницах, л. 296 об. — л. 298).

О изгнании патриарха Иова Московскаго и всея Руси

(л. 65 об. — л. 68 об.)

1) «Ближеннаго и смиренномудреннаго медоточныя сладости источника Иова патриарха ругательно от престола великия церкви отринуты повеле:..»

— до слов: «...еже православия догматы неистово исполняюще и творяще» (л. 65 об.). Из 2-й ред. X-а.

2) «Июня в 25 день в понедельник и повеле того великаго боярина посреде града мечем главу его усекнути..» — до конца статьи: «И великии плачь и рыдание в людех сотвори, яко николи же такия беды находящия на ны бяше» (л. 65 об. — л. 68) Из «Иного сказания» (гл. О второй брани на Добрыницах», л. 298 — л. 302).

О сотворении ада на Москве реце Ростригою

(л. 68 — л. 68 об.)

«И сотвори себе в маловременней жизни потеху, а в будущи век знамение превечнаго своего домовища» — до конца статьи: «... и готову быти в некончаемая веки вонь на веселие и с протчими единомысленники своими.» Из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на Добрыницах», л. 302 — л. 302 об.)

О женитве Ростригине

(л. 68 об. — л. 72 об.)

1) «И поят себе жену бесерменския веры некрещену от могущих Литовския земли люторску...» до слов: «... оставя все свое имение, еже во области Литовствеи.» (л. 68 об.) Из «Иного сказания» (гл. О второй брани на Добрыницах, л. 302 об.).

2) «И привед с собою на брак незаконныи пиршественников шесть тысяч избраннаго воинства..» до слов: «и абие браку присягнув съ еретицею венчан бысть в дому божи» (л. 68 об. — л. 69 об.). Из «Сказания» Авраамия Палицына (гл. 4. л. 25 об. — л. 27).

3) «...114 году месяца мая в 8 день в четверток, в праздник Иоанна богослова против пятка и против памяти чудотворца Николы» (л. 69 об. — л. 70). Отрывок из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на Добрыницах», л. 303).

4). «Много же он окаянныи прежде спряжения браку насильством девственных душ оскверни, женского полу и...» -до слов: «Вы же жидовствию о том сетующе» (л. 70). Из «Сказания» Авраамия Палицына (гл. 4. л. 27—27 об.).

5) «И вскоре после женитвы своея в тои час воздвиже велику веру...» до слов: «... яко же обещася папе о том, а в среду и пяток млеко и телчя мяса и протчия нечистоты ясти» (л. 70). Из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на добрыницах», л. 303).

6) «И бысть тогда от множества Литвы и Поляков и Жидов всем русским людем великое гонение и насильство и поругание всяко.» — до слов—«... и исчезновением взврази и не во мнозе времени славы насладися» (л. 70 — л. 70 об). Из 2-й ред. X-а.

7) «Первое умысли бо он сей окаянныи гонитель со своими злосоветники мая в 18 в день неделный бояр и гостей и всех православных (христиан) побити.» — до слов: «И теми было скверна вами вся сия напасти в сии неделный день содевати» (л. 70 об. — л. 71). Из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на Добрыницах», л. 303 — л. 304).

8) «Видяще же Москвичи погибель свою и на покаяние к богу не обращахуся, но радующеся в торзех многим прибытком.» — до конца статьи:

«Господь же гордым противитися и смысл их разорит и совет его в дело не произыде» (л. 71 — л. 72 об.). Из «Сказания» Авраамия Палицына (гл. 4. л. 27 об. — л. 29).

О совете Ростриги, яко бы побити ему Московских бояр

(л. 72 об — л. 73 об.)

«Враг же тои Рострига умысли съ еретики посети всякого чина от вельмож и до простых начальствующих...» — до конца статьи: «В тои же день повелением Божиим вси на него востаха и многа кровь еретическая по улицам протече.» Из «Сказания» Авраамия Палицына (гл. 5, л. 29 — л. 30).

О смерти Ростригине со злосоветники его

(л. 73 — л. 76)

1) «Искони же сотворивши нас раб своих велико творец и содетель наш...» — до слов: «... и наименова себе неточию царем, но непобедимым цесарем и вскоре всея земныя и мимотекущая славы лиши себе» (л. 73 — л. 73 об.). Из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на Добрыницах», л. 304 об. — л. 305).

2) «Сице же егда вниде во ушеса бояром и всему народному множеству кончина и смерть..» до слов: «Тако же и самого его злояднаго щенка глаголю Ростригу мечем и протчим оружием убиственным убиен бысть» (л. 73 об. — л. 74). Из 2-й ред. X-а.

3) «И со всякою нуждею злосмрадную свою душу извну злонравнаго своего телеси и..» — до слов: «И отъят от наю тука пшенична и гроздн дондеже злосмрадное тело его на земли повержено бяше» (л. 74 об. — л. 75). Из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на Добрыницах», л. 305 — л. 307).

4) «Присего царьствию мерзостнаго Ростриги от многих лет собранная многочисленная царьская сокровища Московскаго государства истощися» — до конца статьи: «... и отрочатом истощи» (л. 75). Из 2-й ред. X-а.

Царьство Василия царя по приреканию Шуискаго и родословие ему

(л. 75 об. — л. 76)

1) «Божиим промыслом и пречистыя его богоматере к рождшемуся из нея молитвами и великих чудотворцов..» — до слов: «.. царские жь полаты сигклита мужа праведна и благочестива» (л. 75). Из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на Добрыницах», л. 307).

2) «Иже быша от сродства князеи Суздальских...» до слов: «И великий князь Василии Ивановичь всея Росии.» (л. 75 об. — л. 76). Из 2-й ред. X-а.

3) «От того святаго короне великаго боярина князя Василия Ивановича Шуискаго...» — до слов: «...еже первие пострадал за православную христианскую веру. Неречен бысть на царьство» (л. 76) Из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на Добрыницах», л. 307 — л. 307 об.).

4) «В лето 7114..... по убиении Ростригине в 4 день..» (л. 76). Из «Сказания» Авраамия Палицына (гл. 6. л. 31).

5) На месте многоточий в вышеприведенной фразе из «Сказания» Авраамия Палицына вставлены слова: «...месяца мая в 18 день..... в день понедельный» (л. 76). Из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на Добрыницах», л. 307 об.).

О поставлении Германа патриарха

(л. 76 об. — л. 77)

4) «Тогда же повелением государя царя и великаго князя Василия Ивановича всея Руссии...» до слов: «...свет от очей его взятся от него» (л. 76 об.). Из 2-й ред. X-а.

2) «Сотворителю жь нашему человеколюбцу богу не попускающу свои твари...» до конца статьи: «Еже и бысть: ссожен на месте, нарицаемом Котле...», (л. 76 об. — л. 77). Из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на Добрыницах» л. 307 об. — л. 308).

О злом развратнице Петрушке и о протчих мятежниках

(л. 77 — л. 77 об.)

«Мало убо некое время людие почиша от ратных полк...» — до конца статьи: «... и святаго новаго почестоносца Христова и чудотворца царевича князя Димитрия Углецкого. О нем же сице речется.» Из 2-й ред. X-а.

О пренесении мощей святаго мученика Димитрия и о избавлении града Москвы от безбожных мятежников

(л. 77 об. — л. 83)

1) «В первое лето царствования государя царя и великаго князя Василия Ивановича всея Руссии...» — до слов: «.. в державе града его Москвы положени быша были, еже и бысть.» (л. 77 об. — л. 78). Из 2-й ред. X-а.

2) «И сего ради посылает на Углеч...» — до конца статьи: «А мы великий государь царь и великий князь Василии Ивановичь всеа России самодержец хотим вас жаловати и любити свыше прежняго. Писан на Москве лета 7114, мая в день» (л. 78 — л. 83). Из «Иного сказания» (гл. «О второй брани на Добрыницах», л. 308 — л. 319 об.).

Выписка ис целовальной записи

(л. 83 — л. 94)

1) «И поволил есмя я царь и великий князь Василии Ивановичь всея Руссии целовати крест на том, что мне великому государю всякого человека не осудя истинным судом....» — до слов: «... и от того скручины много болен бывал, то и бояром нашим ведомо было» (л. 83 — л. 86). Из «Иного сказания» (гл. «Запись целовальная, по которой сам царь целовал крест.») (л. 320 — л. 325 об.).

2) «И мы слыша такового злодея и богоотступника еретика чернца Гришки злые умысли...» — до слов: «Писан на Москве лета 7114 июня в день»). (л. 86 — л. 90). Из «Иного сказания», (гл. «Запись целовальная, по которой сам царь целовал крест», (л. 331 об. — л. 336).

3) «Мы же сви людие, рустии народи возрадуемся и возвеселимся, яко обретохом днесь навого страстотерпца благоверного князя Димитрия:» — до конца статьи: «... и от иноплеманных сицевого промыслу и беды, яко же от своих си» (л. 90 — л. 94). Из «Иного сказания» (гл. Запись целовальная) по которой сам царь целовал крест.» (л. 343 — л. 350).

Повесть сия есть велми дивна и зело полезна нынешнему роду лукавому и непокорливому и отбегшему от божия милости и уклонившемуся от заповедей его святых и впадшему в сети диаволя много-различныя

(л. 94 — л. 97)

«Поведа мне грешному, святыи мужь, ему же имя бог весть, сице.» — до конца статьи: «Около царствующаго града Москвы всех дорог засести; злыи сеи совет и умыслих тогда вскоре разорися божиим великим промыслом. Из «Иного сказания» (гл. «Повесть сия есть велми дивна и зело полезна нынешнему роду...», л. 350 об. — л. 355).

О приходе к Москве Смоленские силы и Двинских стрельцов

(л. 97 — л. 100)

«Прииде тогда к царствующему граду Москве сила и Смоленска града...» — до конца статьи: «... под Калугу же посылает князя Федора Ивановича Мстиславского, да боярина же князя Михаила Васильевича Скопина.» Из «Иного сказания» (гл. «Повесть сия есть велми дивна и зело полезна нынешнему роду...», л. (355 — л. 360).

О мужестве царьскаго воеводы князя Михаила Васильевича Шуйского, Скопина

(л. 100 — л. 101)

«В лето 7117 государь царь и великии и князь Василии Ивановичь всеа России послал во Свеискую землю воеводу от сродства своего князя Михаила Васильевича Скопина...» — до конца статьи: «... аки мразом раздробляеми отпадоша и в темноту нужныя зимы Литовскаго неправоверия впадоша.» Из «Иного сказания» (гл. «О мужестве царьскаго воеводы князя Михаила Шуйского Скопина.», л. 367 об — 369).

О сонмище мятежников на царя Василия

(л. 101 об. — л. 102)

«В лето 7118, февраля в 17 день в субботу Сырныя недели, крамолники народу и мятежницы тишине учиниша...» — до конца статьи: «... и всех гра-

дов крамолницы не спят, но щетным поучаются и зломыслят и творят». Из — «Иного сказани» (гл. «О сонмищи мятежников на царя Василия.», л. 369 — л. 370).

О чудеси бывшем во царьство Василия царя

(л. 102 — л. 102 об.)

«В лето четвертое царьства царя Василия октября в 20 день с четвертка на пятницу...» до конца статьи: «...яко царьство Василия царя вскоре с плачем скончатися имать.» Из «Иного сказания» (гл. «О чудеси бывшем.», л. 370 — л. 370 об).

Паки ино бысть преславное чудо

(л. 102 об. — л. 103).

«Того же лета месяца февраля в 18 день бысть ино чудо преславно...» — до конца статьи: «...яко в мале царьствовашему свете яся благодати, и мимо иде.» Из «Иного сказания» (гл. Паки ино чудо, л. 370 об. — л. 371).

О новоявльшемся развратнице Тишине, его же имя нарицашеся дикоу вор Тушинскоу

(л. 103 — л. 104).

«В лето 7116 паки ин зверь подобен тема же явился, или, рекше лютеиши сих воста...» — до конца статьи: «... и теснотою скудости ратныя люди стесняшеся вси». Из «Иного сказания» (гл. «О новоявльшемся развратнице Тишине, его же имя нарицашеся дикоу вор Тушинскоу», л. 365 об. — л. 367)

О пострижении царя Василия

(л. 104 — л. 105)

«В лето 7118 июля в 19 день рязанец дворянин Захарей Ляпунов, да князь Петр Засекин со своими советники царя Василия силоу постригоша...» — до конца статьи: «И вскоре с поляки совет положиша, еже бысть Владиславу царем королевичю на Москве». Из «Сказания» Авраамия Палицына, гл. 61, л. 172 — л. 174).

О крестном целовании Москвичь с поляками

(л. 105 — л. 105 об).

«Гетман же Желтовский целовал крыжь коревскою (вм. королевскою Э. И.) душею, что королю сына своего Владислава дати...» и до конца статьи: «...патриарх же зело плакася, видя таково нестроение.» Из «Сказания» Авраамия Палицына (гл. 61, л. 174 — л. 174 об).

О послех

(л. 105 об. — л. 107)

«В лето 7119-го сентября в 9 день избравше всею Россиискою землею в послы преосвященнаго Филарета, митрополита Ростовского и Ярославского

...» — до конца статьи: «Но и о сем поляки не утешисася, но паки оружием препоясуются и повсюду ратным обычаем насилуют.» Из «Сказания» Авраамия Палицына (гл. 62, л. 174 об. — л. 176 об.).

Сказание вкратце о разорении царствующаго града Москвы

(л. 107 — л. 108)

«Кто не восплачется и не возрыдает и теплых слез источники не излиет ...» — до слов: «Но о семь оубо впредь изъявлено будет.» Из «Сказания» Авраамия Палицына (гл. 65, л. 179 — л. 180 об.).

Начнем же ныне, о нем же нам слово предлежит

(л. 108 — л. 112)

«В царствующем граде Москве прежде речении они лютори безаконнии поляки и литва и немцы и отступницы и предатели христианствеи вере...» до слов: ...» и за Московово рекою против ворот острошки поставили и сотвориша польским и литовским людем великую тесноту.» Из «Сказания» Авраамия Палицына (гл. 65, л. 180 об — л. 187).

О взятии поляков и литвы и немец во граде Кремле

(л. 112 об. — л. 114)

«Во граде же Кремле во осаде поляки и литва и немцы и русские изменники гладом зело стесняеми люте умирающе.» — до конца статьи: «... и тако разыдошася каждо во своя славяще и благодаряще бога в троицы славимаго, ему же слава во веки. Аминь.» Из «Сказания» Авраамия Палицына (гл. 70, л. 204 — л. 208).

О боярской державстве Московскаго государства

(л. 114 об. — л. 115)

«По царе и великом князе Василии Ивановиче всяя Руссии приша власть государства Русскаго седмь Московских бояринов,...» до конца статьи: «...аще оубо изгубив свое достояние, но и паки свое отечество взыскати хотяху, яко же и бысть.» Из «Иного сказания» (гл. «О боярском державстве Московского государства», л. 372 об. — л. 373 об.).

О Гермогене патриархе и о кончине его

(л. 115 — л. 116)

«В первое лето царство Василия царя возведен бысть на престол партиаршеский велицей церкви Гермоген, иже бысть Казанский митрополит.» — до конца статьи: «... но яд бысть немилосердыма рукама, аки птица в затворе, или в заклепе гладом оумроша, и тако ему скончавшеся.» — Из «Иного сказания» (гл. «О Гермогене патриархе и о кончине его», л. 373 об. — л. 375).

О избрании благовернаго и благороднаго великаго государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича всея России самодержца о поште и о молитве всех православных христиан

(л. 116 — л. 118 об.)

«Егда господь сокруши главы прегордых змиев поляков и латынь и христоненавистных руских и изменников...» до конца статьи: «Сие же бысть посмотрению единаго всесилнаго бога.» Из «Сказания» Авраамия Палицына, (гл. 71, л. 208. — л. 212 об.).

О послании ко государю х Костроме с молением и о наречении его царем

(л. 119 — л. 123)

«По (и) сторгнути же из оуст змиевых и поляков царствующаго града Москвы благоверному и благородному государю Михаилу Феодоровичу пребывающу на Костроме..» до конца статьи: «Бысть же тогда въ царствующем граде Москве велика радость всем православным христианом, яко от великия скорби и утешение прияша.» Из «Сказания» Авраамия Палицына (гл. 72, л. 212 об. — л. 218 об.).

О введении государя на высочайшии царьскии престол Московскаго государства и всея Русии

(л. 123 — л. 124 об.)

«Возведен же бысть благородныи и благоверныи от бога избранныи и богодарованныи великии государь царь и великии князь Михаилу Феодоровичу самодержец на великии превысочайшии царьскии его престол Московскаго государства...» до конца статьи: «...яко тому подобает всякая слава...» Из «Сказания» Авраамия Палицына (гл. л. 218 об. — л. 221 об.).

Сказание о приходе под царствующии град Москву ис Польши королева Жикгимонта сына Владислава со множеством воинства, с польскими и литовскими людьми и с немцы и с черкасы и с рускими изменники и с ыными ногами а ис-под Москвы прииде под Троицкои Сергиев манастырь и с московскими послы взем мир и возвратися во свою полскую землю

(л. 125 — л. 128)

«Иже искони ненавидяи христианскому роду добра враг супостат наш диавол и еще недоволен льстивый насыщается крови христианския.» — до конца статьи: «... к великим послом к Федору Ивановичю Шереметеву с товарищи для мирнаго поставления.» Из «Сказания» Авраамии Палицына (гл. «Сказание о приходе...», л. 222 — л. 226).

Чюдо преподобнаго и богоноснаго отца нашего Сергия Чюдотворца о исцелевшем немом и глухом

(л. 128 — л. 129 об.)

«Не престану, повести пиша, ни же умалчю о чудесех поведати преподобнаго и богоноснаго отца нашего Сергия Радонескаго чюдотворца» до конца стьтьи:

«...яко неотстует преподобныи, снабдя обител свою и чающе избавления молитвами его.» Из «Сказания» Авраамия Палицына, (гл. Чудо преподобнаго и богоноснаго отца нашего...», л. 226 — л. 229).

*О приходе в монастырь послом Московскаго государства и о миру
с королевскими послы*

(л. 129 об. — л. 131 об.)

«Ноября в 19 день приидоша в Троецкой Сергиев монастырь государевы царевы и великаго князя Михаила Феодоровича всеа России великие послы...» до конца статьи: «... яко тому слава и честь и поклонение со отцем и святым духом во веки. Аминь.» И «Сказания» Авраамия Палицына (гл. «О приходе в монастырь послом Московскаго государства...», л. 229 — л. 233).

Родословие русских государей

(л. 132 — л. 137)

«Первое прииде из варяг Рюрик со двема братома своимм Синеусом и с Тревуром....» (Руских князей; Род Тверских князей; Род Белозерских князей; Род Смоленских князей; Род Суздальских князей; Род Рязанских князей; Род Муромских князей; Род князей русских (Литовские князи). Родословная статья заканчивается словами: «А был варяг из-за моря, ино от толь Воронцовы повелися.»

О языцех си речь о татарех

(л. 137 — л. 137 об.)

«Се же вы хошу второе сказати и поведати о них же свидетельствует Мефодии...» до конца статьи: «... заклепами Александром царем Македонским, нечистыя человеки.»

После статьи «*О языцех си речь о татарех*» читаются следующие строки:

«Казанстии татарове рекомии болгаре беглецы от Крымскаго царя и первые поставили Казань на Волге при великом князе Василии Васильевиче всеа Руссии, иже тогда с ним крамолу воздвигоша и сотвориша безбожнии» (л. 137 об.).

Летописецу вкратце

(л. 137 об. — л. 138 об.)

Начало:



















«От Адама до потопа вселенныя 2242 лета, от потопа до разделения язык 530, от разделения язык до начала Авраамова лет 552, а от Адама..» Заключительные слова «Летописца»: «... а от переложения книг до крещения Рускаго лет 123, а от крещения до конца седмыятысящи лет пять сот четыре.»















Варианты букв, встречающихся в рукописи











	1	2	3	4	5	6	7
А	Ɑ	Ɑ	Ɑ	Ɑ			
Б	Ɱ	Ɱ	Ɱ	Ɱ	Ɱ		
В	Ɐ	Ɐ	Ɐ	Ɐ	Ɐ	Ɐ	Ɑ
Г	Ɒ	Ɒ	Ɒ	Ɒ			
Д	ⱱ	ⱱ	ⱱ	ⱱ	ⱱ	ⱱ	ⱱ
Е	Ⱳ	Ⱳ	Ⱳ				
Ж	ⱳ	ⱳ	ⱳ				
С	ⱴ						
З	Ⱶ	Ⱶ	Ⱶ				
И	ⱶ	ⱶ	ⱶ	ⱶ	ⱶ	ⱶ	ⱶ
І	ⱷ	ⱷ	ⱷ	ⱷ			
К	ⱸ	ⱸ	ⱸ	ⱸ	ⱸ	ⱸ	
Л	ⱹ	ⱹ	ⱹ				
М	ⱺ	ⱺ	ⱺ				
Н	ⱻ	ⱻ					
О	ⱼ	ⱼ					
П	ⱽ	ⱽ	ⱽ				
Р	Ȿ	Ȿ	Ȿ	Ȿ	Ȿ	Ȿ	
С	Ɀ	Ɀ	Ɀ				
Т	Ⳑ	Ⳑ	Ⳑ	Ⳑ	Ⳑ		

	1	2	3	4	5	6	7
У	Ѹ	у	ѹ				
Ф	Ѳ	ѳ					
Х	Ѻ	ѻ	Ѽ				
Ѡ	ѡ	Ѣ	ѣ				
Ц	Ѥ	ѥ					
Ч	Ѧ	ѧ					
Ш	Ѩ						
Щ	Ѫ	ѫ					
Ъ	Ѭ	ѭ	Ѯ	ѯ	Ѱ	ѱ	
Ы	Ѳ	ѳ	Ѵ				
Ь	Ѷ	ѷ					
Ѣ	Ѣ	ѣ	Ѥ				
Ю	Ѧ	ѧ	Ѩ	ѩ	Ѫ		
Ѫ	ѫ	Ѭ	ѭ				
Ѭ	ѭ	Ѯ	ѯ				
Ѯ	ѯ	Ѱ	ѱ				
Ѱ	ѱ	Ѳ	ѳ				
Ѳ	ѳ	Ѵ	ѵ				
Ѵ	ѵ						
Ѷ	ѷ	Ѹ					
Ѹ	ѹ						

Инициалы, востпечающиеся в рукописи

	1	2	3	4	5
Б					
В					
Г					
Д					
Е					
И					
К					

	1	2	3	4	5
Л					
М					
Н					
О					
П					
Р					
С					

	1	2	3	4	5
T					
X					
Ŵ, ω					
II					
Ч					

Водяные знаки



№ 1
(Рольная фабрика)



№ 2
(Ф. Грунтаевского)



№ 3
(Рольная фабрика)

Штелинскомъ княженіи Рускомъ .

Въ лѣто 548 - князь великій Василій въ Горо
рнѣ
сидевать - можанскъ оудъ - вѣсть
548 - преставися іуна митрополитъ
киевскій всѣа русіи - марта въ 11 - иполо
чмѣнь бысть вѣркан - стѣла бѣи обпенія -
намоскаѣ . Сего іонъ митрополита поста
виша намоскаѣ архіепікпы іепікпы - по
бѣгословенію цѣа гора - патіадеа амастасіа .
ходилъ сѣи іуна вѣр гора - ивѣа бѣгосло
веніе іуного - сѣе намоскаѣ постаожиса
митрополитъ русіи - архіепікпы іепікпы
ако цѣа гора неходити - понеме тѣрси путь
цѣа гора іуша . Тогомъ лѣта постаавенъ
бысть - митрополитъ намоскаѣ - федосіа
архіепікпъ ростовскій - присеиче митропо
литъ киевскій столъ - шмосковскій ми
трополіи шлѣа . Прице бѣи и зейма въ
киевѣ - григоріи митрополитъ - ипеіа
сѣи король - иениль іс епіповъ литовъ
скихъ . Тогомъ лѣта мѣа въ 3 днѣ
быль снѣгъ и мѣа въ великъ по дѣни . и
ипо забѣи надревесѣхъ мѣстоіе всѣ . То
гомъ лѣта - князь великій Василій воевалъ

К проблематике писательской манеры Достоевского

Л. Каранчи

Вопрос о художественном своеобразии творчества Достоевского является не менее спорным, чем идейная проблематика его произведений. Наряду с высокими оценками его мастерства критиками и исследователями отмечена и известная неровность, неясность, запутанность и расплывчатость его произведений. Слабости писательской манеры Достоевского нередко понимаются упрощенно, как следствие пренебрежительного отношения писателя к художественной форме.

Художественные «недостатки» произведений Достоевского, однако, различные по своему происхождению и характеру. Одни вытекают из внешних условий писательской работы, другие органически связаны с эстетическими взглядами и художественной манерой писателя. Настоящая статья посвящена анализу последних. Освещение проблемы может содействовать решению вопроса о том, в чем сущность своеобразного реализма Достоевского, чем объясняются и какое значение имеют его известные отклонения от общепринятых литературно-художественных норм.

Настоящая статья не претендует на полную, законченную систематизацию всех существенных черт писательской манеры Достоевского; она ограничивается анализом творчества писателя с точки зрения некоторых известных категорий теории литературы (система идей, система характеров, способ повествования, композиция, сюжет, использование трагизма и комизма). Исследования наши сосредоточены преимущественно на больших романах Достоевского, поскольку они являются наиболее значительными и вместе с тем наиболее проблематичными как в идейном, так и в художественном аспекте.

1.

(Скепсис как определяющий фактор художественного мышления и писательской манеры Достоевского. — Положительные и отрицательные последствия скепсиса.)

Идейные противоречия и вытекающие из них художественные «недостатки» — вернее: специфические художественные особенности — творчества Достоевского недостаточно объяснять одними мировоззренческими факторами. Писателя не следует обвинить в том, что он не нашел правильного ответа на те вопросы, в которых заблуждались и другие писатели-современники. На его писательскую манеру весьма сильно повлияла та особенность его мышления, которая — несмотря на то, что она уже давно замечена критиками и исследователями — все еще не учитывается в оценке писателя. Особенность

эта — скептическое отношение писателя не только к чужим и враждебным ему идеям, но и к собственному учению.

Писатели, как правило, верят в то, что они проповедают, в независимости от того, сколько в этой проповеди объективно верного или порочного. Писатели русской революционной демократии, например, верили в правильность борьбы за переустройство общества; Тургенев верил в возможность какого-нибудь постепенного преобразования. Лев Толстой, правда, уже заметно сомневался в целесообразности проповеди непротivления и нравственного самоусовершенствования. Этот же скептицизм у Достоевского углубился до того, что превратился в органическую часть его художественного мышления.

У Достоевского как публициста или мыслителя могли быть принципы и идеи, в которые он безусловно верил. У Достоевского-художника не было таковых. Как только проблемы ставились им не отвлеченно, а в присущем художественному мышлению жизнеподобном виде, они представляли перед ним вместе со всеми своими противоречиями, утрачивая свою абсолютность. У Достоевского понятие «идея» немислимо без противоречивости, без компонента отрицания и сомнения. У него нет тезисов, претендующих на безапелляционность и неопровержимость. Несомненно, он сам хотел бы выдвигать таковые, но это стремление приводило его опять-таки к мучительным сомнениям, к борьбе с самим собой — т. е. еще более углубляло его противоречия. Утверждение у него всегда беремнно отрицанием и неверием. Противоречивость Достоевского-писателя следует понимать прежде всего как скепсис к собственной идеологии. Морально-религиозный финал «Униженных и оскорбленных» окраивается меланхолической тихой неудовлетворенности и безысходности. Подлинные испытания Раскольникова начинаются только после поступления его на предлагаемый автором путь; трудно и мучительно ему променять свою идею на авторский идеал. Христианская любовь Мышкина приводит к результатам, резко противоположным его благородным намерениям. Над проповедью Макара писатель и сам смеется глазами рассказчика-подростка. Идеальные герои «Бесов» или тщетно ищут себе верный путь, или стоят уже на такой ступени религиозного сумасбродства, на которой они не менее карикатурны, чем Петр Верховенский или Шигалев. Труп Зосимы так же загнивает, как и труп других смертных, Алеша же, который в ненаписанном продолжении «Братьев Карамазовых» мог бы стать революционером, во многом вынужден согласиться с Иваном, — опаснейшим противником авторских идей. Достоевский нередко достигает такой степени неверия в утверждаемое, что уже начинает сомневаться в порочности отрицаемого; у него утверждение и отрицание равным образом относительны.

По замечанию критика-современника «Достоевский был такой искусный диалектик, что иногда весьма трудно сказать, где он убедительнее, там ли, где он побивает собственную теорию, или там, где ее приводит и отстаивает»¹. Однако таким «искусным диалектиком» мог быть только писатель, осознавший слабости «собственной теории».

Но можно ссылаться не только на произведения писателя и на критиков. Скепсис у Достоевского — не только объективное последствие стихийно-диа-

¹ Цитированные слова относятся к С. А. Андреевскому; цитируются по книге: Д. Н. Овсяннико-Куликовский, История русской литературы XIX века. Москва, 1910. Т. IV. стр. 286.

лектического мышления писателя, но явление совершенно сознательное. Он и сам называет себя «дитятею века, дитятею неверия и сомнений до сих пор и даже до гробовой крышки»². Самого себя он характеризует словами «смешного человека» в одноименной фантазии: «...Пусть, пусть это никогда не сбудется, и не бывать раю (ведь уж это-то я понимаю). — Ну, а я все-таки буду проповедывать!»³ У Достоевского эти слова звучат горьким самооправданием, мучительным признанием неверия в собственную проповедь, в ее осуществимость.

Этот пессимистический скептицизм накладывает свой отпечаток на всю писательскую манеру Достоевского. К нему восходит и своеобразие идейной структуры его романов, и усложненность системы характеров, и вытекающая из нее широта композиций, и сложность сюжетов, и тяготение к трагизму и еще целый ряд художественных особенностей, в совокупности которых много непривычного, много отклонений от принятых законов литературного строительства, но которые далеко не случайны, не самоцельны, а лишь своеобразные формы выражения своеобразного содержания.

Прежде чем приступить к освещению связи отмеченного свойства художественного мышления Достоевского с конкретными формами его писательской манеры, следует подчеркнуть тот факт, что скептицизм и неверие писателя могут приводить не только к непривычным и даже слишком смелым художественным приемам, но и к более положительным последствиям. Сомневаться в объективной истине значит совершать ошибку. Но сомневаться в ложных истинах, так и не выдержавших испытание времен, значит идти в ногу — хотя бы относительно — с объективной истиной, даже тогда, если достичь ее и не удастся. Поскольку Достоевский отказывается от последовательной защиты своих идеалистических, иррациональных или прямо реакционных позиций, объективно он уступает дорогу иным, более реальным, более трезвым, пожалуй, более прогрессивным идеям, несмотря на то, что в своей сущности они не могут быть отражены в созданных им образах. Поэтому идейное звучание романов Достоевского шире и вернее авторского мировоззрения не только в объективной оценке, но и субъективно. Это обстоятельство во многом способствует проявлению реалистического дарования Достоевского. Скепсис, таким образом, есть положительная черта художественного мышления писателя, несмотря на то, что с другой стороны, он может приводить к ряду художественных условностей, — от ирреальности характеров вплоть до запутанности композиции.

2.

Идеологический роман Достоевского. — Идея, как предмет изображения. — Отношение проповеди к изображению действительности у Достоевского и Толстого. — Природа реализма Достоевского.)

Роман Достоевского своеобразный, «идеологический» роман, или «роман-идея», т. е. роман, в котором идея играет большую и даже качественно иную функцию, чем в «стандартных» литературных произведениях. Один

² Централх фонд 212 № 1/9 л. 68.

³ Ф. М. Достоевский. Собрание сочинений в десяти томах. Т. 10. Москва, 1958. Стр. 441.

исследователь считает, что в романах Достоевского идея является *героиней*;⁴ по другому критику она — *предмет* изображения;⁵ по третьему литературоведу идея — *материал* для изображения.⁶ В каждом из этих определений выражается общая мысль, что для Достоевского в изображении первичное значение имеет не конкретный жизненный материал, а изложение какой-нибудь идеи или совокупности идей. Другим словом: романы он пишет преимущественно не для того, чтобы изобразить внешние явления жизни, а для того, чтобы конкретизировать какие-нибудь идеи или теории. Самое отражение действительности у него имеет как бы второстепенное значение, оно подчинено «изображению» идей. «Преступление и наказание» — история раскольнической идеи власти; «Идиот» — трагическая эпопея идеала христианской любви; «Подросток» — хроника перипетий ротшильдизма и версильщины; «Братья Карамазовы» — поле для сражения разных идей и теорий; даже политический роман-памфлет «Бесы» построен на конфликтах идейного порядка.

Нетрудно заметить из перечисленных примеров, что идея, составляющая центральный предмет или материал изображения, в большинстве случаев не совпадает с «обыкновенной» идеей, т. е. с идейной тенденцией произведения. Подобное совпадение наблюдается только в «Идиоте», хотя и тут лишь субъективно, так как объективно в этом романе Достоевский доказал как раз противоположное тому, что хотел: вместо апофеоза христианского смирения он написал его критику. Во всяком случае, в большинстве романов Достоевского центральным предметом изображения делается идея, не совпадающая с авторским учением. Писатель стремится к тому, чтобы его проповедь выразилась в обнаружении неверности или несостоятельности враждебных ему идей. Достоевский утверждает одно отрицанием другого, а отрицание у него всегда сильнее утверждения. Этот прием нужен писателю, питающему сомнения и к собственному учению. Поскольку проповедь самому писателю кажется недостаточно веской и убедительной, он вынужден выдвигать такие идеи, теории или жизненные принципы, несостоятельность которых яснее вытекает из изображения, чем шаткость проповеди. Нетрудно заметить, что идеи, составляющие предмет изображения, бывают поэтому весьма странные, гротесковые, гиперболизированные до болезненности. Критическое отношение писателя к собственному учению заставляет его выдвигать на первое место именно такие идеи, в сравнении с которыми может выразиться хотя бы относительная правильность этого учения. Таким образом идея овладевает романами Достоевского, превращается в предмет изображения, берет верх над изображением жизни, так создается роман-идея.

Возникает проблема, какой степени реализма может достичь писатель, основную задачу искусства видящий не в описании фактов действительности, а в «изображении» каких-нибудь идей, к тому же, как правило, достаточно странных.

В романах Достоевского, конечно, выведены и важные общественные явления и проблемы эпохи, которые волновали и писателей-современников, занимающих иные идейные позиции и работавших иным методом. Но отражение этих сторон жизни у Достоевского не претендует на такую широту и

⁴ Ср. Н. Энгельгардт. Идеологический роман Достоевского. Москва—Ленинград, 1924

⁵ Ср. М. М. Бахтин. Проблемы творчества Достоевского. Ленинград, 1929. Стр. 38.

⁶ Г. И. Чулков. Как работал Достоевский. Москва, 1939. Стр. 326.

социальную конкретность, как, например, у Толстого. В романах Достоевского социальная тематика, изображение и критика общества являются преимущественно лишь оболочкой, а важна не эта оболочка, а то, что она прикрывает — идеи, также не столько социальные, сколько морально-философские по содержанию.

Хотя реализм литературных произведений обуславливается не только идейной основой, а в значительной мере зависит от дальнейшей разработки, все же природа реализма Достоевского вытекает преимущественно из задач, поставленных романом-идеями. В учении Достоевского и Толстого, как известно, много общего: оба они проповедывают непротivление и нравственное самоусовершенствование. И все-таки у Толстого нельзя говорить о романе-идее, о такой *самостоятельной, предметной* функции идеи. У него противоречия идей не играют такой решающей роли, так как учение его несравнимо тверже и безусловнее, чем проповедь Достоевского. Все это приводит к резкому различию реализма Достоевского от реализма Толстого. У последнего часто и неопытный читатель без затруднения разделяет писателя-реалиста от проповедника. В романах он нередко посвящает самостоятельные главы изложению своего учения. Таковы, например, историко-философские размышления «Войны и мира» или выведенная из Библии положительная программа на последних страницах «Воскресения». Проповедь у Толстого не пронизывает все изображаемое, не сливается с ним в присущих Достоевскому форме и мере. У Толстого проповедник, следовательно, лишь в небольшой степени мешает писателю-реалисту. У Достоевского же проповедник устами писателя, как правило, не высказывается (об этом подробнее ниже), а вся совокупность идей растворяется в конкретных формах изображения. Эти две различные манеры изложения — проповедничество Толстого и чрезмерная объективность Достоевского — имеют свои преимущества также, как и свои недостатки. Так как у Достоевского совокупность идей растворяется в изображении, его романы, пожалуй, более едины в литературном отношении, прямой проповеди в них меньше, сколько бы в них ни полемизировали герои — все это как-то сливается с непосредственно-художественным началом в то время, когда у Толстого соответствующие композиционные единицы могут и вовсе не претендовать на художественность. С другой стороны у Толстого реалистические достоинства изображения и вытекающую из них объективную тенденцию легче отделить от субъективной идеи. У Достоевского же изображение также подчиняется известным идейным задачам, а это, в свою очередь, может идти в ущерб реализму. Из-за пронизательности и дифференцированности идейного начала романы Достоевского могут казаться более отвлеченными, более мистическими, чем романы Толстого.

Источником своеобразия реализма Достоевского принято считать то, что проблемы он ставит не в социальном, а в морально-философском плане. Подобная точка зрения несколько односторонняя. Ведь та же нравственно-философская направленность присуща и Толстому, и все же, исходя из вышесказанного, можно говорить о различии не только в качестве, но, пожалуй, и в уровне реализма двух писателей. В конечном счете скепсис, до известной степени смягчающий ошибочность учения Достоевского, в результате необыкновенной идейной насыщенности и отвлеченности мешает полному осуществлению несомненно крупного реалистического дарования писателя.

Согласно сказанному, реализм Достоевского становится своеобразным, «идейным» «идеологическим» реализмом. Писатель сам считает себя реалистом,

но не в обыкновенном, а в «высшем» смысле слова. Он отмежевывает свой метод от метода писателей-современников. «Мой идеализм (разрядка моя — Л. К.) реальнее ихнего ... — утверждает Достоевский. — Это-то и есть реализм, только глубже ... ихним реализмом сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь ...»⁷ Достоевский правильно называет свой идейно-насыщенный реализм идеализмом. Но он неправ, считая, что такой реализм более удовлетворяет требованиям всестороннего изображения действительности, чем реализм «обыкновенный». Это ему только кажется так, поскольку, как он и сам в этом признается, «... у меня особенный взгляд о действительности и искусстве; и то, что большинство называет фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущность действительности. Обыденность явлений и коренной взгляд на них по-моему не есть еще реализм, а даже напротив.»⁸ Эти слова освещают характер, тенденции и потенциальные достижения реализма Достоевского. Натурализм, как вообще, так и тут отвергается Достоевским. «Фантастическое» — это и есть те самые идеи, которые у него выступают предметом изображения. Оно облекается в «исключительных» художественных образах. Отражение «сущности действительности» для Достоевского есть отражение мира идей, в которых он усматривает как бы своеобразную квинтэссенцию «обыденной» действительности.

Достоевский полемизирует с критиками, укоряющими его в том, что он вообще в романах своих берет «будто бы не *те* темы, не реальные... Я напротив, не знаю ничего реальнее именно вот этих тем ...» — отмечает писатель.⁹ Для него в самом деле именно эти темы были наиболее реальны, ибо они соответствовали его своеобразным понятиям о действительности, его своеобразной идеологии и своеобразному пониманию реализма. Но весьма характерно, что даже и Мережковский видит «неестественность, необычность, искусственность, отсутствие так называемого „здорового реализма“» в произведениях Достоевского.¹⁰ Причина всего этого в том, что, как отмечает Луначарский, «власть Достоевского над вызванными им духами ограничена.»¹¹ Реалистические элементы неизбежно искажаются, оттесняются на второй план, если предметом художественного изображения вместо «обыденной» действительности выступают идеи, составляющие лишь часть действительности и даже не столько «квинтэссенцию» ее, сколько своеобразное преломление ее в весьма противоречивом сознании писателя.

По мнению одного — впрочем, мистически настроенного — дореволюционного критика реализм Достоевского основан не на познании, а на проникновении.¹² Это определение одностороннее, оно не учитывает целый ряд художественных достижений Достоевского, выдерживающих любое испытание критического реализма и реальную основу «фантастических» идей и «исключительных» образов писателя, но, как и замечание Мережковского, оно правильно указывает на относительность «здорового» реализма Достоевского,

⁷ Биография, письма, и заметки из записной книжки Достоевского. Спб., 1883. стр. 202.

⁸ Там же, стр. 267.

⁹ Красный Архив Т. II. Стр. 242—243.

¹⁰ Д. С. Мережковский. Толстой и Достоевский. («Мир искусства», Москва, 1900., стр. 139).

¹¹ А. В. Луначарский. О многоголосности Достоевского. («Новый Мир»), 1929. № 10. стр. 195).

¹² Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия. («Борозды и межи», Москва, 1916).

на те условности его писательской манеры, которые не могут быть оправданы намеренностью их употребления.

Нельзя согласиться с точкой зрения того исследователя, который реалистичность творческой манеры Достоевского пытается доказать ссылками на его реальные прототипы, интересом писателя к непосредственному жизненному материалу.¹³ Прежде всего никто не отрицает наличие множества непосредственно реалистических элементов в произведениях Достоевского, дело только в том, что не они определяют общий облик его метода. С другой стороны, таким путем можно доказать только существование некоего эмпирического, т. е. натуралистического реализма, Достоевскому, впрочем, совершенно чуждого. Жизненный материал, конечно, сам по себе реалистичен; степень и характер реализма зависит от его художественной разработки, переработки, от способа включения его в изображение. Непосредственное использование жизненного материала может способствовать лишь «верности подробностей», у Достоевского, впрочем, также весьма часто заброшенных. Но в этих подробностях также может отражаться своеобразное понимание писателем реализма. Достоевский имел предрасположение не только к замене изображения жизни изложением идей, но и к отражению явлений действительности в абстрагированной, иррационализованной форме, т. е. к искаженному, мистифицированному использованию реалистического жизненного материала. Один из новейших исследователей Достоевского, например, в чорте-двойнике «Братьев Карамазовых» усматривает иррационализированный портрет встречаемого дворянина-приживальщика, а в «Легенде о Великом Инквизиторе» — нереалистическое отражение событий во Франции в 1876—1877 гг.¹⁴ В данном случае иррационализация не таит в себе угрозу реализму, так как форма сна или вставной новеллы, в которой эпизоды эти передаются, предотвращает влияние фантастического начала на реализм изображения. Тем не менее подобные метаморфозы служат убедительным доказательством склонности писателя к отвлеченному, идейно насыщенному использованию конкретных фактов жизни. Тот же исследователь приводит и другой, еще более показательный пример: идею Раскольникова, которую он называет своеобразным «преломлением неумолимых законов капитализма в человеческой психике.»¹⁵ Идея эта имеет свою жизненную основу, но в таком болезненном, гипертрофированном виде идет в ущерб «здоровому» реализму, снижает реалистичность своего носителя. Неудивительно поэтому, что Достоевский, которого, как было отмечено, часто укоряли в том, что он «берет не *те* темы», и сам беспокоился о том, что «Преступление и наказание» — роман, в котором «обыкновенный» реализм еще преобладает — критикой будет воспринято эксцентрическим, несмотря на то, что верности деталей этого романа он уделял особенное внимание.

«Идеализм» Достоевского, конечно, не романтический идеализм. Романтическое приукрашивание жизни ему так же чуждо, как и односторонний взгляд на собственный идеал. В этом отношении его скепсис получает опять-таки положительное звучание.

¹³ Ср. Л. Гроссман. Проблемы реализма Достоевского. («Вестник Европы», 1917. №.2.)

¹⁴ Ср. Ф. И. Евнин. О художественном мастерстве Достоевского в 1860—70. гг. («Известия Академии Наук СССР», Отделение литературы и языка, 1955. Стр. 564—565 и 563—564).

¹⁵ Там же, стр. 570.

(„Impassibilité“ авторской речи в романах Достоевского. — Идеологическая функция речи и характера героев. — Человек-идея и проблема его социальной типичности. — Роль двойников в раскрытии противоречий идей и идеалов.)

Одна из основных особенностей писательской манеры Достоевского — объективность, доходящая до „impassibilité“, сразу же заметна в стиле авторской речи его романов. Нередко читателю мешает эта несообщительность, безличность и сухость повествования, ничего не объясняющая, не оценивающая, ничего не говорящая о логическом или эмоциональном отношении автора к изображаемому или излагаемому. Объективность есть природная черта реализма, но у Достоевского она нередко доходит до скрытничания и приводит к неясности, в идейно наиболее значительных моментах так же, как и в второстепенных деталях.

Однако эта, лишенная суждений и объяснений манера повествования не является у Достоевского ни поверхностностью, ни самоцельным скрытничанием, ни низкопробной погоней за внешним эффектом, а совершенно сознательное явление, имеющее глубокие идеологические корни. В создании такого бесстрастного способа повествования полный неверия и сомнения автор руководствовался целью отклонить с себя ответственность среди противоречий сложной идейной проблематики романов. В записках к «Идиоту» он сам так определяет стилистические требования авторской речи: «...короче писать; одни факты; без рассуждений и без описания ощущений...»¹⁶ Рассказчик в романах Достоевского не совпадает с автором, так как не передает мнения и рассуждения последнего об изображаемом и излагаемом. Он скорее какой-то безразличный, посторонний наблюдатель, у которого, кажется, вовсе нет мыслей и эмоций, по крайней мере относительно важнейших проблем. Рассказчика «Преступления и наказания» Достоевским называет «невидимым, но всеведущим существом»¹⁷. Благодаря такому рассказчику «Преступление и наказание» и является наиболее уравновешенным и ясным романом Достоевского. Во время создания этого романа им еще не овладели полностью скепсис и неверие, впоследствии все более заглушавшие голос автора.

Однако рассказчиков последующих романов Достоевского следовало бы называть или «хотя и всеведущими, но невидимыми», или просто «невидимыми», так как «всеведущность» свою они не стараются выявить в объяснениях и оценках. И даже рассказчик тех романов Достоевского, в которых повествование ведется от первого лица, не выражает свое отношение к излагаемому, а если и выражает, оно никогда не является мнением самого автора и чаще всего совсем не удовлетворяет читателя. Ведение повествования от первого лица Достоевский начинает применять неслучайно именно после «Идиота» (в конечном варианте «Преступления и наказания», как известно, он отказался от этого приема). Неясности и путаности «Идиота» в значительной мере содействовало именно отсутствие авторского голоса. Но поскольку скепсис и неверие в Достоевском впоследствии еще более углублялись, не желал он и после отказаться от своей объективности. Поэтому ему нужен был новый способ повествования, освобождающий его от вынесения приговора над проблемами, воплотившимися в его романах. Повествователи «Бе-

¹⁶ Ср: Ф. И. Евнин. Выдающийся мастер романа. («Октябрь», 1956. № 1., стр. 163).

¹⁷ Ср: Г. И. Чулков. Как работал Достоевский. Москва, 1939., стр. 141.

сов» или «Братьев Карамазовых» — в самом деле «всеведущие» в том смысле, что они рассказывают и о таких происшествиях, о которых в действительности они вряд ли могли узнать (тайные разговоры, сны, убийства) — введены для того, чтобы читатель у них требовал пропущенные автором объяснения, которых, между прочим, не дают и они. В свою очередь, повествователем в «Подростке» выступает главный герой для того, чтобы читатель не удивлялся незрелости и неудовлетворительности в толковании версиловщины и макаровской проповеди. Подобные рассказчики могут выражать свое минутное отношение ко второстепенным происшествиям или проблемам, но оценки и освещения идеям они не дают.

То, что чрезмерная объективность повествования вытекает из противоречивости и нерешительности авторских позиций, может быть доказано и некоторыми особенностями языковой структуры романов Достоевского. Весьма часто употребляются, например, слова, выражающие неуверенность, оговорку.¹⁸ Они наблюдаются уже и в стиле «Бедных людей», но тут они еще призваны подчеркнуть боязливость, растерянность угнетенного «маленького человека»; в «Двойнике», где повествователь до известной степени уже обособляется от героя, такие же слова способствуют исчезновению границ между действительностью и бредом; в романах же они превращаются в языковое выражение мышления повествователя, призванного заслонить авторскую личность. Речь повествователей у Достоевского испещрена всякого рода «говорять», «может быть» и подобными стилистическими приемами, исключаящими ясное выражение мнений. Известный лаконизм Достоевского, сближающий его с Пушкиным, отсутствие у него характерных для Толстого аналитических, объясняющих и дополняющих друг друга предложений — могут быть объяснены тем же стремлением автора заслонить свою личность.

Доказательством того, что последовательная объективность романов Достоевского коренится в противоречивости и скептицизме автора, может служить то обстоятельство, что в повестях и рассказах писателя, более простых по идейной структуре, авторский голос не заглушается в такой мере как в романах. В произведениях Достоевского малого и среднего объема ставятся проблемы, более близкие к обыденной жизни, в которых скепсис и неверие автора могут и не проявиться.

Но если авторская речь, обычно столь значительная в раскрытии и объяснении идеи, у Достоевского служит именно затемнению авторских позиций, то писатель вынужден найти иные приемы литературного строительства для раскрытия идей в наиболее удобной для писателя форме. Если идеи не даются прямо, то они должны быть выражены более сложными художественными средствами.

При отсутствии авторского голоса особенно важную функцию приобретает речь героев. Советский исследователь Бахтин роман Достоевского называет «полифоническим» романом, в котором слово героя получает большую самостоятельность.¹⁹ Но не только речи героев принадлежит такая усиленная идеологическая функция, но и всему их существу. Герои, во-первых, вы-

¹⁸ Ср. В. В. Виноградов. Эволюция русского натурализма. Ленинград, 1929; Давыдович. Проблема занимательности в романах Достоевского («Творческий путь Достоевского», Ленинград, 1924.) и П. М. Бицилли. К вопросу о внутренней форме романа Достоевского, София, 1946.

¹⁹ Ср. М. М. Бахтин. Проблемы творчества Достоевского. Ленинград, 1929.

ступают носителями идей, составляющих предмет и изображения. Но вместе с тем, они являются и комментаторами собственных и чужих идей; каждый из них носит какой-то элемент противоречивого отношения автора к противоречивым же проблемам. Герои Достоевского — носители и комментаторы идей — непосредственно отражают на себе идейную насыщенность романов. Роман Достоевского — роман-идея; человек в романах писателя «человек-идея.»

Поскольку идеи, служащие предметом изображения, весьма сложные, противоречивые, необыкновенные и часто даже иррациональные и гротескные, постольку и носители оказываются, как правило, чересчур сложными, исключительными и в конечном счете отвлеченными, мало похожими на обычных людей. В характере людей, воплощающих какую-то идею, социальный компонент оттесняется на второй план, так как и идеи, их породившие, бывают у Достоевского преимущественно нравственно-философского содержания. Социальное начало в человеке-идее налицо весьма в опосредствованном виде. Их существованием, внутренней жизнью, деятельностью руководят не общественные факторы, а своеобразные идеи автора, или идеи, своеобразно понимаемые автором. Раскольниковым руководит болезненная идея власти, являющаяся, как было отмечено выше, своеобразным преломлением жестоких законов существующего общественного порядка. Раскольников мало похож на типичных представителей разночинской молодежи; это — особенное, исключительное явление и виной этого не только неприязненное отношение автора к революционной молодежи, но и неразрешенность воплощаемой героем идеи. Образ своего «фантастического» идиота, Мышкина, Достоевский считал «самой обыденной действительностью, утверждая, что «именно теперь-то и должны быть такие характеры в наших оторванных от земли слоях общества — слоях, которые в действительности становятся фантастическими».²⁰ Но на самом деле в Мышкине мы видим не столько выродившегося потомка захудалых аристократов, сколько человека, по своим физиологическим и нравственно-психологическим способностям призванного носить миссию нового Христа — идеала автора. Ставрогин и Версиков также слишком исключительные и сложные, неповторимые существа, конкретных социальных черт в них мало по сравнению с идеологическим элементом. В Иване и Алеше Карамазовых доминируют не черты окружающей их среды, а какой-нибудь элемент авторского учения или какой-нибудь его антипод. Человек-идея содержит в себе социально-типические черты только в той мере, в какой мере его идея порождена конкретными общественными условиями. В Раскольникове еще достаточно сильно подчеркнуты эти черты. Но чаще всего Достоевский не делает упор на связь идеи и ее внешними источниками, не ставит их в каузальное отношение, а в лучшем случае располагает их, как равные факторы. Художественная индивидуализация также может придавать героям более конкретные, общественно типичные черты. Но если в обычных героях они составляют сущность, то у идейно насыщенных героев Достоевского они служат только внешней оболочкой. Идеологическое обобщение у Достоевского преобладает не только в постановке проблемы, но и в формах ее художественной реализации и самим непосредственным образом это отражается, конечно, в характерах.

²⁰ Биография, письма и заметки из записной книжки Достоевского. Спб. 1883., стр. 267.

Вытекающие из авторского скептицизма идейная насыщенность и своеобразное понимание реализма, таким образом, сужает и делает относительной и типичность характеров. Андре Жид даже считает, что у Достоевского и вовсе нет типов, есть только индивиды.²¹ Это, конечно, преувеличение, но Жид прав в том, что среди типов Достоевского редко встречаются центральные персонажи, а если и попадают, они не носят присущей раскольничьим и мышкиным сложной идеологической функции. Герои Достоевского — или идейно-насыщенные фигуры, или же социальные типы — одновременно синтеза этих качеств в палитре Достоевского не бывает. У Достоевского есть психологические типы, слитые с человеком-идеей, но нередко и они весьма исключительны и ирреальны. В образе Версилова, Аркадия, Ставрогина мало и психологической верности и убедительности.

Идейно-насыщенный герой у Достоевского может быть двоякого рода, в зависимости от того, является ли он носителем авторского идеала или какой-нибудь, противоположной ему идеи. Следовательно, существует человек-идеал и человек-идея. Хотя Достоевский старается избегать всякой идеализации, человек-идеал по своей природе бывает еще более отвлеченный и безжизненный, чем человек-идея. В Мышкине, Шатове, Алеше еще меньше социальной типичности, чем в Ставрогине или в Иване. Весьма бледным является и образ Сони, несмотря на то, что в общем «Преступление и наказание» — наиболее реалистичный роман Достоевского и его герой, Раскольников — более реальное лицо, чем человек-идея последующих романов Достоевского.

Конечная тенденция романов — собственными словами автора никогда не высказываемая — выясняется не в столкновении человека-идеи с человеком-идеалом, а в раскрытии их внутренних противоречий, раскрытие которых автор считает своей главной художественной задачей. Для этого Достоевский пользуется не только сюжетно-композиционными средствами, но и внутренними приемами построения характеров. Этой цели служит и введение т. н. двойников или изображение героя психологически раздвоившимся — две разновидности одного и того же приема.

Двойник — такой же человек-идея, как и его «оригинал», — несмотря на то, что его идейная насыщенность не столь заметна — но в какой-нибудь форме все же представляет собой его отрицание. Двойник может быть воплощен в самостоятельном персонаже (Раскольников—Свидригайлов—Лужин, Иван-Смердяков), но может проявляться и в психической болезни героя (Версилов, Ставрогин). Оба приема требуют своеобразных средств психологической или композиционной разработки.

Поскольку любую идею можно по-разному, с разных сторон и с разных точек зрения отрицать, поскольку противоречия в ней могут быть весьма сложными, герой может иметь не только одного, но и нескольких двойников. У Раскольникова, как мы видели, их два; два двойника и у Ивана Карамазова, если иметь в виду появляющегося ему во сне чорта, также представляющего собой своеобразное «самоотрицание» или «самообличение» идеи героя.

Неслучайно, однако, что двойников имеет прежде всего человек-идея, при изображении человека-идеала прием этот применяется Достоевским реже. Неправильно считают, например, Рогожина двойником Мышкина, поскольку последний — определенный социальный тип, а не является носителем идеи в таком смысле слова, как например Раскольников или Иван, несмотря на

²¹ Ср. ANDRÉ GIDE. Dostoievsky. („Articles et causeries“, Paris, 1923.)

психологическое сходство между ними. В группе человека-идеала только Шатов имеет своеобразного двойника в лице Кириллова, своим религиозным сумасбродством уже чуть не пародизирующего то, что у Шатова ещё только формируется и кажется еще гармоничным. Однако, как правило, у человека-идеала не бывает не только двойника, но и шизофрении, а имеются только другого рода психические болезни — например, «идиотизм», вернее беспомощность и слабость (Мышкина), или «опроченность» (Макара). При отсутствии двойников внутренние противоречия и слабости идеалов у Достоевского будут выражаться не столько во внутренней системе характеров, сколько иными приемами, главным же образом в самом построении действия.

Характерно, с другой стороны, то, что двойники могут содержать в себе больше непосредственной реальности, больше социального типизма, чем сами оригиналы. Лужин, например, представляющий собой «практический вариант» идеи Раскольникова, более конкретный социальный тип, чем его «оригинал». У Достоевского есть несомненное стремление сблизить свои иррациональные идеи с той «обыденной» действительностью, которая в первичном представителе идей не может содержаться в чистом виде. Правда, двойники могут проявляться и в фантастической форме, но тогда они мотивированы сном или другими внешними композиционными приемами.

Во всей системе характеров Достоевского и в частности, в введении двойников мы видим постоянное стремление автора к глубокому раскрытию внутренних противоречий явлений и идей. Это критическое и диалектическое отношение писателя к созданному им своеобразному миру имеет положительное значение и часто приводит к обогащению его идейно-насыщенного творчества конкретно-реалистическими элементами.

4.

(Сложность композиции романов Достоевского. — Идеиные функции эпизодов. — Природа конфликта. — Функции авантюрно-уголовного сюжета. — Внутренний драматизм. — Функции трагического и комического. — Разновидности трагизма.)

При отсутствии авторского голоса в раскрытии внутреннего движения идей композиционное единство романов Достоевского выполняет такую же важную функцию, как и система характеров. Писатель сам формулирует этот принцип такими словами: «Все внутреннее должно быть выражено в действии»²². Своеобразная идеологическая структура романов требует, конечно, своеобразных же композиционных средств.

Работая над каким-нибудь романом, Достоевский всегда имел десятки вариантов, из которых каждый мог вырасти в новый роман.²³ Критическое отношение писателя к собственному учению, противоречивость идей и идеалов и соответствующая им сложность и многосторонность характеров предоставляли возможность для разнообразной разработки первоначального сюжета. Особенно много было вариантов у «Идиота» — романа, в котором автор тщетно стремился к твердому и убедительному выражению своей положительной программы. При центральной роли человека-идеи противо-

²² Ср. М. П. Алексеев. О драматических опытах Достоевского. («Творчество Достоевского», Одесса, 1921., стр. 2)

²³ Ср. Г. И. Чулков. Как работал Достоевский. Москва, 1939., стр. 53.

речия и слабости проповеди представлялись Достоевскому с особенной ясностью. Помимо объективных условий написания романа этим может быть объяснено то, что автор не сумел провести эти варианты в полный порядок — поэтому «Идиот» и стал наиболее путаным, несоразмерным и неясным из всех романов Достоевского.

Анализ композиции романов Достоевского представляет собой сложную задачу, между прочим, и потому, что в одном романе фактически приходится разбирать несколько романов. «Множество отдельных романов и повестей разом втискивается у меня в один, так что ни меры, ни гармонии ... не спросясь со средствами моими, и увлекаясь поэтическим порывом, берусь выразить художественную идею не по силам»²⁴. В романах соединяются разные, порой даже совсем разнородные на вид проблемы отчасти от того, что, превращение идеи в предмет изображения заставляет писателя выделить изображение внешней действительности в самостоятельные характеры и сюжетные линии; но идеологическая линия и сама бывает весьма многогранная, поскольку разные стороны идей воплощаются в разных характерах, каждый из которых может требовать самостоятельной сюжетной линии. Связь «отдельных повестей и романов» иногда недостаточно ясна, некоторые из них могут составлять в произведении как бы самостоятельный роман, или нечто в роде пространного ряда эпизодов.

Критическое отношение писателя к чужим и собственным идеям, внутренние противоречия идей и последовательная «объективность» писателя, таким образом, создают сложную систему характеров, способствующую, в свою очередь, усложненности композиции. «Преступление и наказание», например, состоит, по меньшей мере, из трех, на нескольких местах друг с другом соприкасающихся сюжетных линий. Первая и важнейшая — линия Раскольникова, с историей его идеи, с уголовными происшествиями, с любовью и с примыкающим к ней просветлением. Однако фигурой Сони линия эта связана с историей Мармеладовых, благодаря чему эта — наиболее реалистичная — линия становится органической частью идеологического романа. В то же время разные стороны идеи Раскольникова воплощены в образе Свидригайлова и Лужина, стоящих не только в идейной, но и в сюжетной связи с главной линией действия; хотя, с другой стороны, линия Свидригайлова настолько резко выделяется в романе, что некоторые исследователи его считают центральной фигурой романа.²⁵

Однако, как было отмечено, «отдельные романы и повести» не всегда находятся в такой тесной связи. Давно отмеченная исследователями неровность, бессистемность, неясность и чрезмерная усложненность «Униженных и оскорбленных», «Идиота», «Подростка» объясняется преимущественно внешними причинами. Источников расплывчатости «Бесов» следует искать в стремлении писателя к слиянию идеологического романа с политическим романом-памфлетом, создание которого представляло для Достоевского необычную задачу.²⁶ Но и в «Идиоте» собственно социально-изобразительная линия отрывается от главной линии действия, воплощающей идею, как предмет изображения, а в «Подростке» идеологическая линия романа теряется в перипетиях семейного романа. При таких условиях идейное содержание

²⁴ Письма Достоевского, т. II., стр. 358. Москва, 1930.

²⁵ MIDDLETON MURRY. Fyodor Dostojevski. London, 1916.

²⁶ Ср. Письма Достоевского. Т. II., стр. 301. Москва, 1930.

романов может оказаться неясным, а изобразительное начало — неубедительным.

Сложной структуре романов Достоевского способствует и важная функция эпизодов. Особенное значение эпизоды имеют в «Идиоте», «Подростке» и «Братьях Карамазовых.» В образе Макара, например, воплощена та — близкая автору, но достаточно примитивная — моральная философия, носителем которой из главных персонажей романа, относящихся к аристократическим кругам, никто не может выступить. Выделение проповеди в эпизоде, скорее философском, чем эпическом по содержанию, благоприятно действует на реализм изображения. Композиционное положение Макара в «Подростке» похоже на положение Каратаева в «Войне и мире» Толстого. Если бы ясности романа не мешала чрезмерная усложненность эпической композиции, «Подросток» был бы, пожалуй, наиболее реалистичным романом Достоевского.

В «Братьях Карамазовых» подобную функцию выполняет линия Зосимы, эпизодами же о детях представлена постоянная у Достоевского тема «униженных и оскорбленных», а с другой стороны рисуется снисходительно уничтожающий портрет с революционной молодежи, представителем которой тут выступает симпатичный и умный, но еще незрелый мальчик — в этом смысле также своеобразный двойник Ивана.

Нередко вводятся Достоевским и т. н. «вставные» рассказы, с действием уже совсем не связанные, но имеющие важную роль в выражении идеи или каких-нибудь ее компонентов и сторон. Такова в «Идиоте» исповедь Ипполита, в «Подростке» притча Макара о «великом грешнике», а в «Братьях Карамазовых» автобиография Зосимы и «Легенда о Великом Инквизиторе.» Подобные эпизоды также призваны заменить мнения и рассуждения писателя, укутывающегося в «*impassibilité*». В идейном отношении они необходимы, но нередко способствуют разрушению традиционного единства действия. В таких случаях мы имеем дело не с преобладанием формы над содержанием, а с тем явлением, когда форма сама по себе становится «бесформенной» в своем стремлении полностью соответствовать чрезвычайно сложному содержанию.

В композиции романов в целом решающее значение имеют два отмеченных обстоятельства; во-первых то, что в центр своих романов Достоевский ставит враждебную ему как мыслителю идею и соответствующего ей героя; во-вторых то, что критика такой идеи у него не обозначает полного прития собственного идеала, так же полного противоречий, как и идея.

Благодаря первому обстоятельству центральную сюжетную линию романов Достоевского составляет — за исключением «Идиота» — линия человека-идеи. В центре «Преступления и наказания» стоит Раскольников, а не Соня; роман является преимущественно историей падения раскольниковской идеи, а не историей победы сонина идеала: первое подробно излагается, психологически углубляется, второе дается только в намеках в финале романа. Главным героем в «Бесах» выступает не Шатов, или Кириллов, а Ставрогин и Верховенский, в «Подростке» — не Макар, а Версиков и Аркадий. Своеобразна композиция «Братьев Карамазовых». В этом романе, несмотря на то, что Достоевский и во время работы над ним не отказался от критического отношения к собственной идеологии, все же несомненно отразилось стремление писателя к усилению положительной программы, а стремление это, в свою очередь, способствовало изменению соотношений в роли человека-идеала и человека-идеи. В романе Иван и Алеша выполняют примерно равную роль, так как между ними появляется Митя, как своеобраз-

ный центр равновесия, история которого составляет наиболее выпуклую линию действия. Такую роль выполняет герой, не являющийся ни человеком-идеей, ни человеком-идеалом. Подобное расположение сил способствует широте и «здоровой» реалистичности романа.

В результате второго отмеченного обстоятельства эпический конфликт идеологического романа у Достоевского возникает не на основе резкого противопоставления идеи и идеала, т. е. их носителей, а из-за внутренних противоречий обоих. Противопоставление, конечно, есть, но нет столкновение конфликтного характера между представителями идейного и идеального начала. Не может быть и речи о конфликтном противопоставлении Раскольникова и Сони, Ставрогина и Шатова, Ивана и Алеши. Они могут сталкиваться в некоторых, даже и в самых напряженных моментах, вообще подчеркнуты их идеологические, политические расхождения, разница между ними выражается и в особенностях их психического склада или темперамента, но не в этом состоит главный конфликт романов, не эти факторы являются движущими силами действия. Такого схематического противопоставления не может быть у писателя, критическое чутье которого распространяется не только на враждебные ему идеи, но и на собственную идеологию.

Поскольку в романах Достоевского борьбы в собственном смысле слова между носителем идеи и носителем идеала нет и быть не может, конечная, авторская тенденция выкристаллизовывается не в исходе борьбы двух противоположных начал, а в исходе их борьбы с самими собой, причем исход этот может отражаться не только на судьбе человека-идеи и человека-идеала, но и на судьбе посторонних лиц, которые во внешнем действии романов могут играть большую роль, чем они. В таком случае создается новый источник композиционного усложнения романа.

Отмеченные особенности идейной структуры обуславливают и дальнейшие средства и приемы композиции романов Достоевского. Идеи, служащие предметом изображения, — морально-философского порядка; поэтому Достоевскому нужны сюжеты, в которых проблемы эти могут проявиться с особенной яркостью. Но идеи эти вместе с тем и весьма противоречивы; поэтому писателю понадобятся развязки, в которых может проявиться не только детронизация идей, но и критическое отношение писателя к собственной проповеди. Искомые композиционные приемы Достоевский находит в первом случае — в авантюрно-уголовных сюжетах, во втором случае — в трагической развязке романов.

Авантюрно-уголовный сюжет романов Достоевского — важный источник их привлекательности и занимательности — служил предметом разнородных объяснений. Формалисты и компаративисты склонны были считать его самоцелью и приписать одному влиянию романтики. В вопросе самоцели они опирались на некоторые высказывания самого автора, как например: «Талантливо составить — значит занимательно составить»;²⁷ «...занимательность я, до того дошел, ставлю выше художественности»;²⁸ или, «За занимательность я ручаюсь, за художественность не беру на себя ответственности».²⁹ Достоевский, несомненно, большое внимание уделял занимательному изложению действия. Однако неправильно считать занимательность и авантюрно-уголовный характер его романов самоцелью.

²⁷ Ср. Л. Гроссман. Поэтика Достоевского, Москва, 1925., стр. 9.

²⁸ Письма Достоевского. Т. II., стр. 291. Москва, 1930.

²⁹ Ср. Ф. И. Евнин. Выдающийся мастер романа. («Октябрь», 1956. № 1., стр. 167.)

Более правильно исходить из определения того советского исследователя литературы, который мастерство Достоевского-романиста видел в том, что увлекательную фабулу он сделал «средством решения трудных психологических коллизий, сложных идейных задач.»³⁰ Да, Достоевскому нужны были именно такие формы к убедительной постановке морально-философских проблем, к решению которых он сам относился с критикой и скепсисом. Бесчеловечность идеи «сверхчеловека» наиболее резко выяснится тогда, если превращает в убийцу человека, лично неплохого и явно неспособного вынести морально-психологические последствия убийства. Величие христианской любви чистейшим светом просияет тогда, если носитель ее примет в брата своего человека, в котором он предвидит убийцу общего предмета их любви. Убедительнейшим доказательством безнравственности нигилизма кажется убийство ими человека, порвавшего с ними потому, что искал подлинной правды. Наиболее надежным пробным камнем достоинств и пороков братьев, стоящих на разных нравственно-философских позициях, является отцеубийство. А убийство открывает дорогу обыкновенной уголовной истории: начинается следствие, кто-то подвергнется суду — если по ложным обвинениям, тем лучше — а в связи с судом можно показывать и разные психологические бравады, например, осветить темное дело с разных сторон: с точки зрения обвинения, в интересах защиты и наконец, так, как происходило оно в действительности. Перипетии уголовной истории могут использоваться в своих целях не только психолог и моралист, но порой и писатель-реалист: появляются разные типы, создаются разные отношения между людьми, возникают разные проблемы — и все это нетрудно связать с мыслями философа-моралиста и психолога. И создается совершенно своеобразный жанр, совершенно своеобразная композиция: авантюрно-философский роман,³¹ или морально-психологический роман-идея с весьма занимательным авантюрно-уголовным сюжетом, в сложности которого могут встречаться пробелы, но который чаще требует большого мастерства у романиста. Автор и тут может увлекаться «поэтическим порывом»; он вносит и эпизоды, в самом деле самоцельные, не раз и до него использованные в лубочной литературе, неожиданное сплетение разных линий и моментов действия, нарочитое затуманивание некоторых мест, для возбуждения интереса читателя не только к фабуле, но и к идеям, ей прикрываемым. Если, например «двойник» героя подслушивает тайный разговор, весьма важный и опасный для разговаривающих, но не злоупотребляет им, если без трепета смотрит в упор на пистолет, чтобы отпустить на волю девушку, когда в пистолете уже нет пуль — из всего этого становится ясно, что не в этом герое воплощены самые отрицательные, самые отвратительные стороны идеи. Бурное развитие действия может мотивировать беглость авторских объяснений, на деле имеющую совсем иную причину; а наоборот, в насильственном замедлении действия или в ужасающе точном описании убийства предчувствуется психический кризис героя; если же среди подобных перипетий характер героя остается не вполне ясным, это может быть объяснено той же противоречивостью, той же невыясненностью его перед собой, подчеркивание которых может быть и прямой целью автора. Таким образом, уголовный роман нужен Достоевскому не только в целом, но и в своих деталях, которые могут приобретать и определенную идейную функцию.

³⁰ Там же.

³¹ Ср. Л. Гроссман. Поэтика Достоевского. Москва, 1925., стр. 8.

Напряженность, подвижность, оживленность действия придает романам драматический характер. Есть в романах Достоевского и другие драматические черты: сосредоточенность идей на героях, на действии и не в последнюю очередь на диалогах; отсутствие авторского голоса или сведение его до лаконичности сценических ремарок и пр. Исходя из подобных особенностей композиции романов Достоевского, некоторые исследователи и назвали их романом-трагедией³² или романом-мистерией.³³

Драматизм романов Достоевского определяется, однако, не этими внешними чертами, тем более, что в его романах очень много и черт, драматической композиции совсем не присущих. Драматизм романов Достоевского — своеобразный, внутренний драматизм.

Достоевский делает упор на внутренние, возникающие в сознании человека конфликты; внешний, сюжетный конфликт, как было отмечено выше, не может быть слишком острым у писателя, у кого нет и резкого противопоставления и столкновения носителей идей с носителями идеалов, у которого идеи борются не между собою, а сами с собой.

Драматическая сжатость и суженность также не могут быть присущими роману, охватывающему самые разнообразные области жизни и мира идей, как раз с целью как можно более полного раскрытия противоречий последнего. Осторожного подхода требует и вопрос о драматичности диалогов. Несомненно, в проявлении тенденции идеологического романа им принадлежит важная роль: в них сталкиваются большие проблемы — но и в них указывается прежде всего на собственные противоречия идей; по верному замечанию советского исследователя; «герои Достоевского, споря с другими, убеждают себя»,³⁴ т. е. и тут мы имеем дело с проявлением внутренних конфликтов, неудовлетворенностью героев Достоевского самими собой, т. е. — опять-таки с своеобразным, внутренним драматизмом. К тому же диалоги эти почти никакой роли в накоплении элементов внешнего конфликта — чересчур условного — не имеют, не помогают развитию действия, не способствуют взаимовлиянию человека-идеи и человека-идеала, потому что такое прямое влияние в романах Достоевского встречается редко. Исключением можно считать до известной степени лишь «Преступление и наказание» и «Братьев Карамазовых»; особенно большое значение имеют диалоги «Преступления и наказания» в углублении душевного кризиса Раскольникова и перехода его в лагерь авторского идеала, который, однако, не стоит в центре внимания художника. Но не следует забывать о том, что в «Преступлении и наказании» проповедь Достоевского еще сильнее и определеннее, чем в последующих романах; тут еще можно говорить о своеобразном поединке идеи с идеалом и о победе последнего; в этом романе и диалоги оказываются более сюжетными, так как конфликт внутри героя совпадает с конфликтом всего романа, следовательно диалоги, способствующие «просветлению» героя, содействуют и продвижению действия в целом. Однако в большинстве романов Достоевского диалоги несюжетные; они питаются той внутренней напряженностью героев, которая чаще всего во внешнем действии непосредственно не проявляется.

³² Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия. («Борозды и межи», Москва, 1916.)

³³ Ср. Л. Гроссман. Путь Достоевского («Творчество Достоевского», Одесса, 1921.)

³⁴ Ср. История русской литературы в 10-ти томах. Т. IX/2. стр. 108. Москва—Ленинград, 1956.

Своеобразный внутренний драматизм романов Достоевского органически связан с их трагической тональностью и трагическим характером развязок, имеющими, как было отмечено, важнейшую функцию в раскрытии противоречий идей и идеалов композиционными средствами.

Трагизм у Достоевского коренится в природе идей, в их слабостях и противоречиях, и в соответствии с этим его содержание, функция и форма бывают очень разными. Трагические герои Достоевского терпят поражение вследствие неверности, слабости, несостоятельности или нереальности воплощенных в них идей. Трагедия, таким образом, таит в себе начало критики, приговора. Но трагическими Достоевский считает только тех из своих героев, кому в то же время как-то и почему-то о сочувствует. Сочувствие же он питает не только к героям, воплощающим его идеалы, но и человеку-идее, если он осознает собственную уродливость.³⁵ Достоевский даже и Ставрогина считает лицом трагическим,³⁶ потому что и в его сознании идет борьба между добром и злом. Такая широта понимания трагизма у Достоевского может быть объяснена не только его человеколюбием, но тем же интересом к противоречиям, которые обуславливают и другие особенности его художественного метода.

В трагедии Раскольникова, Ставрогина, Версилова и Ивана Карамазова Достоевский указывает на несостоятельность враждебных ему идей. Однако не меньше критического начала и в трагедии Мышкина. Как ни прекрасна, чиста и бескорыстна проповедь христианской любви и всепрощения, на практике она не может достичь своей цели. В трагедии Мышкина обнаруживается скептическое отношение писателя к собственному учению. Мышкин трагичен не только в финале романа, когда его идеал терпит окончательный крах. Его трагедия — и вместе с тем несостоятельность воплощенного в нем идеала — предвещается на всем протяжении романа в том, что он предвидит убийство и однако, не в силах предотвратить его. Такое критическое отношение писателя к собственной теории в финале романа, может быть, смягчается, но только в понимании автора, объективно же оно еще более углубляется.

Трагедия человека-идеи и человека-идеала может приводить и к катастрофе посторонних лиц, не имеющих определенной идейной функции в авторском понимании слова. В их трагедии с новой стороны подчеркивается противоречивость или нереальность идей и идеалов. Подобного рода трагедии иногда кажутся самоцельными и неоправданными. Такова, например, гибель Лизы в «Бесах», мотивированная только стремлением писателя углубить трагическую тональность романа. Такие «трагедии случайностей» рождаются из трагической основной идеи по принципу «цепной реакции», так же, как из формы уголовного романа могут возникать разные самоцельные лубочные подробности.

«Трагедии жертв», однако, в большинстве случаев принадлежит определенная идейная функция. Такова, прежде всего, гибель Настасьи Филипповны в «Идиоте». Слабость Мышкина приводит прежде всего к ее гибели, ее требует жертвой в физическом смысле слова. Такой же жертвой в «Братьях Карамазовых» является Митя; его трагедия — следствие вредности ивановой идеи и вместе с тем бессилия алешина идеала. В этом романе одновре-

³⁵ Централ. арх. фонд. 212. № 1/9, л. 68.

³⁶ Ср. Письма Достоевского, т. II., стр. 288—289. Москва, 1930.

менно, одним и тем же средством Достоевский указывает и на несостоятельность идеи так же как и идеала.

Трагедия-жертва встречается и в некоторых рассказах и повестях Достоевского. Причиной ее в них являются, конечно, не идейные факторы, а более-менее конкретно выведенные социальные условия (мы имеем в виду трагедию Горшкова в «Бедных людях», Шумкова в «Слабом сердце» и Ефимова в «Неточке Незвановой»). В рассказах и повестях Достоевского нет той идейной насыщенности, которой отличаются его большие романы, следовательно и трагедии разыгрываются в более «обыденном» плане. Но весьма характерно, что и в романах трагические жертвы эти принадлежат к группе тех персонажей, в которых вместо идейной насыщенности преобладают социально-типические черты. Этот вид трагедии, таким образом, композиционно связан со «здоровыми» реалистическими элементами романов Достоевского, в общей концепции автора имеющими, как было отмечено, только подсобное и побочное значение. Связывая трагическую судьбу социально-типичных героев с крахом идей и идеалов, Достоевский заставляет «идейный» реализм соприкоснуться с «обыкновенным» реализмом.

Трагическое у Достоевского нередко проявляется в комическом виде. Такая форма трагизма присуща также прежде всего его рассказам и повестям. В судьбе Голядкина («Двойник»), Фомы Опискина («Село Степанчиково»), Трусоцкого («Вечный муж»), несмотря на комическую оболочку, таится своеобразная трагедия «маленького человека.» По мнению автора, не лишена трагичности и судьба подпольного человека — тут она состоит «в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и невозможности достичь его.»³⁷ В этом смысле трагичен и образ «смешного человека» из одноименной фантазии — ведь именно он формулирует собственными словами те скепсис и неверие, которые в произведениях автора растворяются в их обще-идеологической структуре.

Смешение трагического и комического нетрудно найти и в романах Достоевского. Неслучайно Мышкин на всем протяжении «Идиота» представляется смешным: автор сам сравнивает его с Дон-Кихотом и даже подчеркивает, что «он прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон.»³⁸ В комичности Мышкина предвещается его трагедия, неизбежный крах его идеала. Комичность донкихотствующего Мышкина в романе автором не подчеркивается, — ведь авторская речь у Достоевского не анализирует, не объясняет героя — но в сравнении с Дон-Кихотом уже раскрыто расхождение между нравственным величием и практическим бессилием идеала. Было уже отмечено, что слегка ироническое изображение Макара или Кириллова вытекает из того же скептического отношения Достоевского к собственной идеологии — это также своеобразное проявление трагического в комическом виде. Все это сводится к тому, что комизм Достоевским так же используется для раскрытия противоречий, для обличения и отрицания чужих и собственных идей, как и трагизм.

Самые уродливые разновидности человека-идеи не могут стать трагическими, даже тогда, если их жизнь оканчивается катастрофой. Описание самоубийства Свидригайлова дается в подчеркнута комических тонах, отражающих цинизм и полную опустошенность героя. Петра Верховенского

³⁷ Централх. фонд. 212. № 1/9, л. 68.

³⁸ Письма Достоевского. Т. II., стр. 71. Москва. 1930.

Достоевский также считал лицом комическим.³⁹ Комизм, доходящий до сарказма, Достоевский использует для обличения враждебных ему идей. Комизм в человеке-идее — только комизм, в то время, когда человек-идеал и в своей комичности может стать трагическим. Тут все-таки выясняется, на чей стороне симпатии несообщительного автора, осознающего не только бесчеловечность данного состояния общества и отражающих его идей, но и бессилие и несостоятельность собственного учения.

Трагизм и комизм в романах Достоевского служат средством выражения конечной тенденции, которая по причине критико-скептического отношения автора к выведенным идеям не может быть дана прямо, недвусмысленно и без оговорок. Трагические или комические развязки указывают и на положительные, и на отрицательные стороны авторских идеалов также, как и противоположных им идей. Развязки эти так же противоречивы, как и авторское понимание изображенных в романах идей. Но именно в таких развязках отражается та объективная диалектика жизни, которая, несмотря на наличие иррациональных элементов в произведениях Достоевского, все же присутствует в них и является важным компонентом верного, объективно-реалистического изображения противоречивого потока идеологически воспринятой жизни.

5.

(Итоги)

Критико-скептическое отношение Достоевского не только к чужим теориям, но и к собственному учению — источник и определяющий фактор его своеобразной художественной манеры. Самый жанр идеологического романа своим возникновением обязан тому обстоятельству, что изображению действительности в обычном понимании слова Достоевский предпочитает изложение чужих и собственных идей, точнее: раскрытие в них тех противоречий, которые осознаются им благодаря указанному свойству мышления. В скепсисе скрывается начало диалектики; скепсис Достоевского полностью оправдывается не только ирреальностью, исключительностью и порой даже болезненностью критикуемых им идей, но и бессилием, непрактичностью и в конечном счете несостоятельностью собственной идеологии.

Этим своеобразным подходом к действительности обуславливаются и конкретные формы и средства художественной структуры романов Достоевского. Эти формы и средства можно разделить на три группы. К первой группе следует отнести те из них, которые имеют, несомненно, положительное значение и такие же последствия в писательской манере Достоевского. Ко второй группе относятся те формы и средства, которые являются совсем своеобразными, присущими одному только Достоевскому, даже и тогда, если они применяются и другими писателями, только с известным видоизменением и в иной функции, и которые, следовательно, способствуют единоличной специфике художественной манеры писателя. К третьей группе относятся те, которые в известном смысле и степени могут быть признаны художественными недостатками, отклонениями от общепринятых литературных норм,

³⁹ Ср. Н. Степанов. Как работал Достоевский над романами. («Литературная учеба», 1932. № 6., стр. 77.)

мешающими художественной целостности и ясности содержания произведений.

Положительное значение и положительные художественные последствия имеет стремление Достоевского к раскрытию противоречий, его критический подход к тем явлениям жизни, которые проблематичны не только в глазах писателя, но и объективно. Особенно важно то обстоятельство, что Достоевский далек от полного принятия собственной, нравственно-религиозной проповеди. Объективность писателя — один из главных источников реалистических достоинств его романов.

К специфическим чертам писательской манеры, присущим одному Достоевскому, следует причислить самую форму идеологического романа, стремление выделить идеи в качестве самостоятельного предмета изображения, своеобразную идейную насыщенность героев, введение двойников в целях раскрытия их внутренних противоречий, композиционную сложность романов, их своеобразный внутренний драматизм, своеобразное использование трагизма и комизма и еще ряд особенностей.

Однако некоторые из этих специфических черт писательской манеры Достоевского могут привести и к отрицательным последствиям, к недостаткам в художественной структуре романов Достоевского. Реализм романов — своеобразный, «идейный» реализм, конкретно-реалистические достоинства которого нередко достаточно относительны, второстепенны и проблематичны. Несмотря на диалектический подход Достоевского к выведенным им идеям, они все же сильно пронизывают его романы, берут верх над конкретным изображением жизни. Поэтому реалистический элемент и объективно верная тенденция из романов Достоевского все же труднее извлекается, чем, например, из романов другого крупного писателя-проповедника Толстого. К отрицательным последствиям своеобразного мышления и писательской манеры Достоевского следует отнести и известную расплывчатость композиции романов, и чрезмерную «*impassibilité*» авторской речи, нередко мешающие ясному пониманию романов и приводящие к пренебрежению по отношению к описаниям внешних деталей также, как и последовательным психологическим анализом.⁴⁰

Правильная оценка реализма и писательской манеры Достоевского может быть проведена только с постоянным учетом противоречивых последствий полного неверия и сомнений мышления писателя.

⁴⁰ Ср. KARANCZY LÁSZLÓ. A pszichológiai ábrázolás néhány problémája Dosztojevskij műveiben („Acta Universitatis Debreceniensis” 1959—60/I. Budapest, 1960).

Архитектоника пьесы Бориса Ромашова «Воздушный пирог»

Г. Голотина

Рассматривая вопрос совершенства формы не как самоцель, а как средство наиболее точного и полного воплощения идеи, мы постоянно обращаемся к изучению лучших достижений советской литературы предыдущих десятилетий. Среди пьес, созданных драматургами в 20-е годы, годы по существу для советской драматургии экспериментаторские, привлекает внимание своей композицией сатирическая комедия Ромашова «Воздушный пирог».

Эта пьеса была написана на материалах нашумевшего в те годы «Дела Краснощекова» и имела актуальный, злободневный характер. Драматург выступал против нэпмановской буржуазии, против ее попыток завладеть советской торговлей — важным политическим фронтом борьбы в то время.

Задача пьесы — разоблачение нэпманов — обуславливает ее композицию. Прежде всего в пьесе при многочисленности действующих лиц (одних поименно названных их 35 человек) нет одного главного героя. Никто не может претендовать на это звание — Илья Коромыслов, красный директор, ассимилируясь, в мыслях, желаниях, поступках тесно связан со своим братом Федором. Федор Коромыслов — барин, господин, коммерческий воротила и негодяй — ничто без окружающей его теплой компании — без Мелкина, Плюхова, Лобзина, Брунка — служащих банка. Эти люди порождение нэпа, каждый в отдельности — по сути — мелкая сошка, но все они вместе образуют враждебную и антигосударственную силу. Не главный герой и Семен Рак — откровенный нэпмановский жулик и пройдоха, виртуоз своего дела. Он, пожалуй, самый активный из всех действующих лиц, он же наглее всех и бесцеремоннее. В своем очень темном прошлом он дважды сидел в Чека, занимался спекуляциями в разных городах, имел «мокрое» дело, был связан с такими аферистами, как Обрыдлов, Кизяковский, Моржинский. В настоящем он пристраивается к Коромысловым и К°, находя там родную атмосферу жульничества и предпринимательства. Рак — колоритная фигура, но нельзя сказать, что на нем сосредоточивается основное внимание автора. Гусаков — председатель месткома в банке, человек молодой, честный, борющийся против беззаконий, творящихся в банке, человек, находящийся в себе силы последовательно бороться против всей шайки коммерческих мошенников. Но и его нельзя назвать главным героем — слишком непропорционально мало занимает он места в пьесе, как и Крышкин — секретарь партийной организации.

Нет *центральной* фигуры в пьесе, нет главного героя, *одного* человека, судьба которого находилась бы в центре внимания автора, но это, видимо, не случайно, т. к. все действующие лица, за исключением эпизодических, могут быть условно разделены на четыре группы. Первая группа — служа-

щие банка: приближенные перерожденца Ильи Коромыслова и его родственники. Другая — откровенные мошенники, спекулянты, проходимцы во главе с «честным коммерсантом» Семеном Раком и его врагом Обрыдловым. Третья группа — «мир искусств» нэпа. И четвертая группа — самая малочисленная — группа служащих банка, так или иначе борющихся против беззаконий и безобразий, совершающихся в учреждении.

Такое деление подсказывается самим автором в последовательности списка действующих лиц: от Ильи Коромыслова до Брунка (I группа), Гусаков — Крышкин (IV группа), от Мордаева до международного жулика мистера Пульса с переводчиком (II группа) и Рита Керн — Фитилев (III группа).¹

Такая групповая расстановка сил создает пьесу полифоническую, полную различными характерами. Много героев и их судеб проходит перед глазами зрителя. Но интересно, что при всем многоголосии пьесы судьбы героев в основном одинаковы: при поддержке своих сослуживцев, защищая их и государственные интересы и при помощи общественных и государственных организаций добивается победы Гусаков, а весь нэпманский сброд, живущий по волчьим законам капиталистического общества, стремящийся через гибель ближнего достичь своего мещанского благополучия, — обречен на гибель.

Продуманно подошел автор не только к вопросу «главного героя», но и к проблеме связи героев между собой. Ведь специфика драматургии заключается и в том, что драматург не может делать отступлений описательного характера — с детства освещать биографии героев, внимательно следить за *формированием* характеров, подробно останавливаться на предыстории взаимоотношений героев и т. д. Это все — привилегии романиста. Драматург же должен очень искусно скомпоновать материал, так, чтоб связь героев была бы ясна без особых экскурсов в прошлое, чтоб объяснение взаимоотношений между героями не задерживало бы движение интриги вперед.

В пьесе Ромашова взаимосвязь героев разрешена очень хитро: часть героев родственники, часть — сослуживцы. Между ними отношения сложились еще до поднятия занавеса в первом действии. До начала пьесы они «нашли» друг друга, обрели общий язык, провели не одну жульническую операцию сообща и появляются перед зрителем разноликим, но единым фронтом, полные планов и надежд на счастливое, как им кажется, будущее, активизируясь уже внутри банка. (Единственный человек, который еще не совсем принадлежит им — это Илья Коромыслов).

«Группа Гусакова» — служащие и тоже, следовательно, знакомые между собой люди. Но их объединение, если можно так сказать, складывается на глазах у зрителей. (Вторая сцена I действия). Это объясняется логикой развития действия — коромысловская компания распоясывается, а это рождает сопротивление среди честных служащих и в месткоме.

Итак основная масса героев знает друг друга, но есть персонажи, которые знакомятся на глазах у зрителей. Так впервыежимают руки Рак с Коромысловым (Федором), хотя, как выясняется позже, они раньше знали один другого заочно, и даже вели сообща кое-какие щекотливые дела. За Раком тянется на сцену Обрыдлов с вексельями, представляясь — по-

¹ Б. Ромашов, Пьесы, Советский писатель, М. 1954, стр. 65. В дальнейшем цитирую по этому изданию.

мимо воли Рака — его «друзьям», и начинает действовать самостоятельно. Рак же, расширяя деловые знакомства, вводит в компанию мистера Пульса, представителя американской акционерной компании «Бродвей и сыновья». И дело рук того же Рака — договор с Моржинским. Как раз за счет новых знакомств (Рак, Пульс) объясняется ряд неожиданных поворотов интриги — Федор Коромыслов заключает блок с Обрыдловым против Рака, Рак — с Кизяковским и Моржинским против Коромыслова, а малознакомый Пульс оказывается международным шарлатаном, — и это ведет к финансовому банкротству многих, — Моржинский тоже оказывается очень ловким спекулянтom и аферистом, обманывающим и Рака, и Обрыдлова, и Федора Коромыслова.

Может быть, если бы эти люди раньше и лучше знали друг друга, то у них не произошло бы столько просчетов и промахов. (Но тогда интрига потеряла бы свою полнокровность). И здесь встает вопрос о мастерстве драматурга в разрешении проблемы прошлого. Сообщники Коромыслова — все без исключения — избегают рассказов о себе, они не только не стремятся познакомить окружающих со своим прошлым, но сознательно избегают вспоминать о нем. Более того, когда все-таки приходится обращаться к нему, они фальсифицируют факты, доводя их до гротесково-юмористических размеров. Вспомним сцену утверждения правления АРПА, когда Федор Коромыслов, просматривая бумаги, приложенные к уставу, начинает волей-неволей выяснять биографии некоторых действующих лиц.

«Федор Евсеевич: ... Семен Яковлевич в своем жизнеописании сообщает: «Служил на Украине в 1918 году главным директором по продовольствию.» Как будто такой должности нет, господа?»

Рак: В то время как раз была.

Федор Евсеевич: Дальше: «Владею всеми европейскими и американскими языками после окончания коммерческой академии в Вашингтоне». Вы разве жили в Америке, Семен Яковлевич?»

Рак: Не будем придираться, граждане. Нам нужен кредит, для кредита нужна марка. Только не будем придираться» (Стр. 96—97).

И дальше —

«Федор Евсеевич: Иван Демьянович тоже напустил: «До революции занимался пролетарской классовой борьбой.» Нескладно как-то.

Кизяковский: Отец у меня служил десятником, а мать имела прачечную в Проскурове.» (Стр. 97).

Но таких *самовольных* экскурсов в прошлое в пьесе очень мало, они песчинками распылены по тексту всей пьесы, и автор очень осторожно, и в то же время очень умело пользуется этим приемом. Так о прошлом мистера Пульса мы узнаем только из одной реплики — на вопрос Кизяковского: «Никогда до сего времени не бывали в Москве?» Штопкин отвечает: «Мистер Пульс ездил раньше в Москву по делам акционерной компании „Джонни-Гангстер.“» Скупое сказано, но в то же время совершенно ясным становится образ американца, бывшего представителем ассоциации, носящей столь славное имя. Или вспомним одну только реплику об Обрыдове: «А кто у гетмана пятки лизал? Кто при петлюровском правительстве играл на марках?»

Драматург находит нужным даже в последней сцене пьесы обратиться к прошлому своих героев — жена Рака восклицает: «Семен, тебя предают суду?» На что Рак хладнокровно отвечает: «Подумаешь, какая новость! Удивляюсь тебе, Рая! Граждане, не обращайтесь внимания. Это семейная сцена.»

Действительно, суд для Рака не новость и не случайность, и автор сознательно подчеркивает это и в финале пьесы.

Есть ряд героев, о прошлом которых мы совсем ничего не знаем, — например, братья Коромысловы. Как они стали столь различны и по характерам и по общественному положению, как Федор смог-таки склонить брата на свою сторону, опутать его — все это остается в пьесе невыясненным, но это и естественно — драматург не собирался писать историю грехопадения Ильи Коромыслова, поэтому он с правом обошел эти вопросы. Неизвестно нам и прошлое Гусакова, мы знаем только, что он молод и на этом основании можем строить свои догадки, которых будет не очень-то много: честный молодой человек, когда советской власти уже лет семь-восемь, явление закономерное.

В пьесе экскурс в прошлое в форме относительно систематического рассказа встречается только два раза, причем один рассказ занимает не более двух-трех минут и постоянно прерывается репликами. Прошлое передается в нем через настоящее, в сравнении с настоящим и в осуждение настоящему (по мысли рассказчика).

Здесь имеются в виду разглагольствования Анны Семеновны в ее гостиной. Жена Коромыслова занимает гостя:

«Анна Семеновна: Жизнь в Советской России была почти невыносима для нас — людей, привыкших к высшему обществу. Вы подумайте, сэр, моя горничная должна иметь членский билет профсоюза! (Вздыхает). Нравы упали, вера упала, церковь шатается. Ах, у меня есть старинный друг, мистер Пульс, человек высокой религии, теперь он скупает червонцы для спасения паствы.

Пульс говорит что-то по-английски, качая головой.

Штопкин (переводя): Поразительный пример христианской морали в тяжелые годы!» (Стр. 90).

Здесь факты (о тяжести жизни при советской власти людям бывшего высшего общества, о принадлежности Коромысловых к этому обществу, об объединении трудящихся в профсоюзы) чередуются с юмором — все падает, все шатается в представлении Анны Семеновны, — юмор уступает место факту (кто поумнее скупает золотые червонцы), а вслед за этим англичанин произносит свою сатирическую реплику о христианской морали.

Но простодушная хозяйка продолжает:

«Анна Семеновна: Что с нами сделали! Как нас потрясли! Рябушинские мне родня, мистер Пульс. Мой кузен Коко служил при дворе. У нас всегда обедали люди высшего света. Княжна Кузькина, — вы знаете, верно, та самая Кузькина, что жила с Григорием Распутиным, — запросто заезжала к нам к обеду.

Пульс меланхолически мычит вполголоса.

Штопкин: Мистер Пульс объясняет, что Кузькина мать очень популярна в Америке.” (Стр. 90—91).

Сколько двусмысленности в словах Анны Семеновны слышит зритель — и удачно найденный глагол «потрясли», и кузен Коко, служивший (не на задних ли лапах?) при дворе, и княжна Кузькина, ассоциирующаяся с кузькиной матерью. И все это служит сатирическому разоблачению персонажей через их восприятие прошлой жизни и настоящей.

Но разговор идет дальше —

«*Анна Семеновна*: России не стало, сэр. Вы подумайте, нас заставляли мыть полы и ходить на черную работу! Это варварство! Я, например, полгода не делала себе маникюр. Если бы вы видели мои руки, сэр, через эти полгода! Моя сестра, Евдокия Семеновна, в восемнадцатом году не могла нигде достать сливок для собаки. Вы подумайте! И бедная Кукки, очаровательная левретка, не вынесла голода.

Пульс мрачно реагирует.

Штопки: Мистер Пульс просит Вас принять выражение сочувствия ввиду понесенной утраты.

Анна Семеновна: Ах, спасибо, мой друг!» (Стр. 91).

Здесь смешано все — и блеф (России не стало), и серьезные, радующие зрителя факты (всеобщая трудовая повинность), и факты анекдотического порядка (левретка Кукки), и юмор, построенный на сочетании непонимания и глупости. Весь рассказ построен разнообразно, однотонным его назвать никак нельзя, он полон неожиданностей и зрителя не утомляет, а благодаря своей небольшой величине — не задерживает интригу.

Другой рассказ — рассказ в форме диалога Обрыдлова и Рака в третьей сцене. Оба героя случайно встречаются на бульваре, и сперва Рак, верный себе, сознательно не хочет узнавать Обрыдлова, т. к. за ним тянется целый ряд самых нежелательных воспоминаний. Но Обрыдлов заставляет Рака не только признаться к нему, но и сесть, и съесть с ним мороженое, и выслушать его, Обрыдлова. Рассказ-воспоминание, точнее рассказ-напоминание и добавление к тому, что было, занимает целую сцену, но автор здесь не жалеет времени, т. к. это не описательный, сатирический, обличительный рассказ — как в гостиной Анны Семеновны, — а в нем заключается одно из зерен интриги (история с векселями).

Не случайно и не напрасно прошлое героев приводится в пьесе: оно подталкивает и развивает интригу, но главное в ее движении — настоящее, *дела*, одни дела движут интригой. Единственная в пьесе любовная линия (Илья Коромыслов — его жена — Рита Керн) дана где-то сбоку и имеет больше описательный, характеризующий Коромыслова, смысл.

Как же развивается в пьесе интрига?

В первой сцене первого действия движения интриги еще нет, первая сцена вместе с пятнадцатой, заключительной, образуют рамку пьесы — в первой заказан пирог, пирог-памятник, пирог-монумент, пирог-кондитерское воплощение нэпа, а в пятнадцатой сцене пирог готов, и оказывается он не памятником, а гробом нэпу. Но уже в первой сцене намечается стремительный ритм пьесы, характерный в основном для всех сцен: в кафе влетает Рак, требуя сахара, потом мороженого, потом кофе со сливками и пирожными с ромом, и, наконец, выбирая одни пирожные с миндалем, он тут же вызывает хозяина кондитерской, по пути выясняя о зубах кельнерши — «голубоватый фарфорчик» и рекомендуя ей своего племянника, механика зубоделочной лаборатории. Затем начинается быстрый разговор с Понди, где с калейдоскопической быстротой чередуются увертки хозяина, необычный заказ, осторожность Понди, напористость Рака, упоминания об учреждениях-казачиках и т. д. Кончается сцена словами Понди: «Аэроплан! ... Сумасшедший заказ!»

Во второй сцене перед зрителем хозяйственный отдел банка, и уже в первой реплике Гусакова (чем-то отдаленно она напоминает в композиционном отношении знаменитую реплику гоголевского городничего), на первый

взгляд ничего не значащей, таится многое, что даст различные линии в пьесе — взаимоотношения Гусакова с директором, линия Риты — Софьи Мироковой, отрыв директора от масс, неблагополучие в банке. А в банке, действительно, неладно — группа руководящих работников фабрикует дутые счета, требуя провести их и открыто называя это искусством, хотят ни за что выгнать с работы одну из служащих банка, государственной автомашиной пользуются как своей собственной, предъявляют документы, в которых заключается очевидный подлог.

Это мы узнаем на протяжении всей второй сцены. Большое количество героев, различных по своему положению и по своему отношению к безобразиям, творящимся в банке, проходит перед нами. Первое впечатление от этой сцены обманчиво — кажется, что Гусаков хозяин положения, но позже эта иллюзия рассеивается, и запоминаются слова Крышкина: «Естественно, что капиталисты будут всячески стараться использовать в своих видах наше временное отступление... Вопрос обстоит так: кто кого.» Гусаков отвечает: «Вот я и дерусь.» Это ключ ко всей пьесе.

Действие во второй сцене развивается не столь стремительно, как в первой, это объясняется спецификой места и характером действующих лиц, но завязка интриги уже видна. Третья сцена переносит зрителя на бульвар, где встречаются Рак с Обрыдловым. Как уже говорилось, здесь производится экскурс в прошлое, но оно, это прошлое, тесно связано с настоящим: векселя целы, надо платить двенадцать тысяч золотом, а платить Рак не хочет, Обрыдлов же не намерен отказываться от денег. Так рождается новая линия в клубке интриги.

И первая, и вторая, и третья сцены внешне совершенно не связаны между собой: они происходят в разных местах, герои в них еще не повторяются (кроме Рака), но эта известная мозаичность помогает драматургу шире и многостороннее осветить обстановку, характеры действующих лиц и дать многочисленные линии одного центрального действия — жульничества и его разоблачения. Причем эти различные сюжетные линии сразу же начинают развиваться после «заявки» на них: Так, например, Гусаков в конце второй сцены, когда зрителю уже в основном ясна обстановка в банке, дает Крышкину «Дело о торгах на подряд к ремонту общежития» и говорит: «Познакомься. Интересный материалчик. Пахнет подлогом...» Отсюда тянется логическая цепь событий, ведущих к двенадцатой сцене — собранию, где тот же Гусаков выступит с прямым обвинением, а потом и к пятнадцатой — непосредственному краху мошенников и проходимцев.

Четвертая и пятая сцены описательные, но, — если можно употребить этот термин, — и закрепительные, т. к. перед нами сам Илья Коромыслов, человек о котором мы уже слышали много плохого, — а теперь воочию убеждаемся, что директор банка уже фактически не руководит учреждением. Вспомним символическую картину, полную сатиры и презрения по отношению к Коромыслову, сцену, когда Коромыслов пишет статью о новой экономической политике, пишет и в то же время выслушивает сплетни, разговаривает по телефону со своей любовницей, напеваает какую-то пошлую песенку, скандалит с женой, и в конце концов, — из-за своего равнодушия к теме статьи, — отдает дописать ее Плюхову, который, ухмыляясь, кончает ее по-своему.

Пятая сцена тоже показывает нам то, о чем мы уже подозреваем из четвертой сцены — неприглядность Ильи Коромыслова со стороны нравствен-

ной. Но Ромашов мастерски строит и эту сцену — он не повторяет известное, а расширяет, углубляет его и обобщает факты, причем некоторые из них опять-таки внешне не имеют прямого отношения к действию (здесь имеется в виду обрисовка искусства нэпа). Сцена на квартире у Риты Керн построена сложно, тут и кухня искусств, действующих по принципу: «Вам может показаться странным, но мы можем жить без идеологии. Нам нужна только еда.» Тут и отношения Коромыслова и Керн, тут же и Рак, который все время торопит Коромыслова уехать от Риты, обратиться к *делам*, ведь их ждет мистер Пульс. Когда Коромыслов, глядя на танцующую Риту восторгается: «...Обратите внимание, какая экспрессия.» Рак, чтоб отвязаться: «Айседора Дункан!», — и затем по-деловому, — «Мы не опоздаем, Илья Евсеич?»

От первого действия начинают тянуться многочисленные линии интриги: Коромыслов — сослуживцы, Коромыслов — жена — Рита Керн, Гусаков — служащие банка, Гусаков — Крышкин, Гусаков — Коромыслов, Рак — Обрыдлов. Обстановка такова, что кажется, что жуликам улыбается жизнь, впереди богатство, власть, даже воздушный пирог. Не даром кончается первое действие словами Рака, как бы цементирующими воедино все виденное и слышанное зрителями: «Не пройдет и месяца, как Семен Рак будет танцевать фокстрот... Веселая картинка в назидание потомству.»

Первое действие кончено, действие пьесы начато, интрига завязана.

Во втором действии пьесы одна сцена, но в ней совершается много событий: продолжается знакомство между некоторыми героями, создается и утверждается АРПА (Американо-русская промышленная ассоциация), заведомые проходимцы получают в АРПА крупные посты, но и тут же появляется угроза благополучию АРПА — высовывается морда старого — Обрыдлов с векселями, грозящими разоблачением.

В третьем действии (седьмая сцена) Рак выручает обманом векселя и «ликвидирует» Обрыдлова: старому должен быть конец, АРПА должна благоденствовать. В банке же (восьмая сцена) продолжают безобразия — увольняются честные люди, принимаются на работу любовницы, в рабочее время заказываются цветы опять же для любовниц, а посетителя, представителя кооператива из Усть-Сысольска, нагло выпроваживают за двери, и не слушая его жалоб на то, что он уже неделю спит на вокзале, издевательски предлагают ему «заглянуть через пару недель». В девятой сцене Гусаков открыто говорит о безобразиях, прямо предостерегая Коромыслова о том, что болото затянет его. Гусаков и Коромыслов, споря, договариваются о собрании всех служащих банка. Это опять прямая угроза для АРПА, поэтому Рак немедленно интригует против Гусакова, а, обозленный предыдущим разговором, Коромыслов бросает: «Если Гусаков будет мне мешать работать, я уволю его.»

В четвертом действии темп развития интриги нарастает. Рак продает Коромыслова и его шатию, Коромыслов в свою очередь продает Рака возвратившемуся Обрыдлову, Обрыдлов готовит реванш, Гусаков уже уволен с работы, происходит собрание — бой в открытую — где герои обличают, клеветают, защищаются, доказывают. (Нужно отметить, что сцена собрания несколько затянута за счет объяснения зрителям механики жульничества). После собрания линия Гусакова в пьесе фактически исчезает (до самой последней сцены), а «победившие» мошенники реализуют то, о чем только говорили (в одиннадцатой и двенадцатой сценах) — Рак получает вексель

от Моржинского, продавая Коромыслова, Рита в свою очередь продает своего принципала и предрекает гибель всех; Обрыдлов дает реванш, и Рак, вынужденный расстаться с чеком на сто тысяч, летит в окно с четвертого этажа «за милиционером» — как ехидно комментирует Обрыдлов.

В пятом действии по традиции должна наступить развязка, и она наступает при бешено развивающемся действии. Пирог, — символ победы нэпманов — уже погружен на автомобиль, все готовятся к празднику, но выясняется вдруг потрясающая вещь, предательство в своем лагере! — американец мистер Пульс оказывается жуликом и шарлатаном: пять тысяч долларов, выданные ему, «плачут». Вслед за этим оказывается, что Обрыдлов, надув всех, уезжает в Одессу. Следующий сюрприз — чек, выданный Моржинским, оказывается фальшивым и сто тысяч золотом, нефтяные цистерны — все пропало. Кизяковский — правая рука Рака — удирает по неизвестному маршруту. В следующие минуты на глазах у зрителей происходит разрыв Коромыслова с Ритой. И, наконец, зрители узнают о том, что Илья Коромыслов снят, а на его место назначен Гусаков. (Как произошло это последнее событие, мы не знаем; нам известен только конечный результат — Гусаков победил). А перед нами мерзавцы, которые мечутся, сознавая свой конец. Но и тут не прекращаются неожиданности, и тут герои поворачиваются к нам новыми, неизвестными еще сторонами: с ужасом прозревает Илья Коромыслов, его обличительный монолог, кажется, должен добить Рака и К°, но нет — Рак, не падая духом, приглашает всех к уже доставленному пирогу, чтобы разделить его. Рак еще не считает себя мертвецом, он не отказывается от поживы, нет, он произносит еще и речь. Но... она прерывается криком «Господа!» вбежавшего Федора Евсеевича. Этим словом он невольно, но верно объединяет всех присутствующих. И вот на пороге зала появляется группа красноармейцев. Сотрудник ГПУ, руководящий ими, произносит: «Граждане! По приказанию прокурора республики вы арестованы. Попытки к бегству бесполезны: здание оцеплено. Прошу сохранить полный порядок.»

Следует немая картина, завершающая действие пьесы.

Концовка пьесы интересна: наказание порока приходит извне, мы не знаем как добился выгнанный с работы Гусаков правды и победы, это произошло где-то за сценой, вне поля зрения зрителя. Но почему же конец пьесы кажется таким убедительным и логичным? Это происходит потому, что Ромашов показывает зрителю не только внешний крах нэпманов (вмешательство государственных органов), но и внутренний крах всех этих жуликов: они враги между собой, они продали и перепродали друг друга, они обмануты более сильными и ловкими аферистами, они — банкроты уже, до появления милиции. Но надо отметить, что стройная, многоплановая, логически развивающаяся интрига, подводя действие к завершению, в конце своем опирается и на фантазию и на знание драматургом жизни.

Нельзя не обратить внимание на то, что большинство сцен показывает враждебный советским порядкам и законам лагерь, и это опять-таки не случайно: автор стремится показать и звериное лицо врага и его внутреннее разложение.

Стройность композиции происходит и за счет организации времени. В «Воздушном пироге» много героев и много сюжетных линий, но за какой срок происходит действие пьесы? При внимательном чтении текста, обнаруживается, что сценическое действие происходит весной и протекает 10—12

дней. Причем первое и второе действие — один день. Третье действие происходит через день-два спустя, это первое число какого-то весеннего месяца (вероятно, апреля). В третьем действии мы находим указание на то, что развязка должна быть не позже чем через две недели, т. к. через этот срок Илья Коромыслов должен поехать в Ялту вместе с Ритой, а в пьесе они этого сделать не успевают. Через неделю после событий, происходивших в третьем действии (т. к. тогда было назначено собрание служащих, а теперь оно происходит), восьмого числа того же месяца, происходят события четвертого действия, которые тянутся только двенадцать часов — с полудня до полуночи. А через два дня совершаются события пятого действия, занимая только полтора часа сценического времени.

Автор, видимо, большое внимание уделял распределению часов и дней, так как, кроме ремарок, прямо указывающих на время действия, мы постоянно на протяжении всей пьесы знаем «сколько сейчас времени» из реплик героев. И больше того, герои часто говорят о том, что и когда произойдет. Посмотрим, к примеру, четвертое действие, когда в 12 часов дня — по авторской ремарке — в контору ТИКа является Обрыдлов (одиннадцатая сцена). В разговоре с Федором Евсеевичем он сообщает, что «в ресторане «Альпийский стрелок» сегодня за ужином» Рак продаст Коромыслова (события тринадцатой сцены), тут же, заключив договор с Федором Евсеевичем, Обрыдлов обещает после реванша (будущая четырнадцатая сцена), «после двенадцати ночи» приехать к Коромыслову на дом.

Интересно, что при сравнительно ограниченном времени (меньше двух недель) часто меняется место действия — зрители видят героев на бульварах, в частных квартирах, в ресторанах, в театральной уборной, в кафе, в гостинице. Даже в сценах в банке декорации должны постоянно меняться, так как герои не входят в одну и ту же комнату, а действие происходит в разных помещениях — в хозяйственном отделе, в кабинете директора, в секретариате, в конторе ТИКа, в зале для общих собраний. Все это, безусловно, оживляет пьесу, придает ей пространственную динамику.

Но и пространственная динамика, и время, и герои с их прошлым и настоящим, и сквозное действие пьесы подчинены автором одной цели — показать как гибок, умен и ловок враг, как он бесцеремонен и как он опасен. И перед зрителями в полной рост встает непреемлемость для нас этой сходящей со сцены капиталистической жизни с ее волчьими законами.

»Mazurki Chopina« — opowiadanie Adolfa Frankenburga

(Z okazji 150 rocznicy urodzin kompozytora)

I. CSAPLÁROS

Setna rocznica urodzin Chopina była pierwszą okazją, by na Węgrzech powstała obszerniejsza literatura o największym kompozytorze polskim.¹ Z okazji zaś jego setnej rocznicy zgonu János Bartók, kuzyn wielkiego kompozytora węgierskiego Béli Bartóka opracował znaczenie Chopina z punktu widzenia rozwoju muzyki węgierskiej.² Bartók w swojej pracy określa źródło i znaczenie wpływów muzyki chopinowskiej w muzyce węgierskiej w następujący sposób: „Społeczeństwo węgierskie widziało w mazurkach i polonezach Chopina — zwolennika rewolucji, zwiastunów wolności polskiej i poprzez artystm Chopina mogło ono odczuwać ówczesne aktualne zagadnienia jakże często, wspólnego losu polsko—węgierskiego... Chopin w ówczesnej stolicy świata — Paryżu — służył sprawie wolności swej ojczyzny”.³ Są to wpływy polityczne i stanowią pierwszą tajemnicę sukcesów muzyki Chopina na Węgrzech. Oddziaływanie artystyczne widzi Bartók w tym, że „rewolucyjnie nowoczesna muzyka Chopina właśnie wówczas dotarła na ziemię węgierską, gdzie zaczęto poszukiwać europejskich perspektyw również w muzyce i w skutek nieznamości węgierskiego rodzimego języka muzycznego, należało wybrać pomiędzy muzyką werbunkową, nie nadającą się do tworzenia większych utworów, a niemiecką muzyką romantyczną, będącą również wówczas w impasie... Muzyka chopinowska przede wszystkim dodała otuchy węgierskim muzykom, szukającym nowych dróg. Jej przykład pokazał, że naród może wyrażać się w utworach genialnego syna—twórcy nawet wówczas, gdy naród ten nie ma wielkich tradycji w kunsztownej muzyce artystycznej, o ile posiada jeszcze żywą muzykę ludową, na której można śmiało się oprzeć. Muzyka Chopina wniosła orzeźwiający powiew wolności, ukazała możliwości powodzenia muzyki narodowej w okresie jednostronnej orientacji germańskiej”.⁴ I to jest drugą tajemnicą powodzenia muzyki Chopina na Węgrzech.

Autor—wprawdzie nie muzykolog, lecz historyk literatury, badacz kontaktów literackich polsko—węgierskich — w 150 rocznicę urodzin Chopina, w niniejszym szkicu podjął próbę ustalenia wpływów Chopina na literaturę węgierską.

¹ BERTALAN CSUDÁKY, *Chopin*. „Élet”, 1910. Nr. 11. — ISTVÁN KERESZTY, *Chopin*. „Vasárnapi Ujság”. 1910. Nr. 9. — LIPÓT PALÓCZI, *Chopin*. „Pester Journal”, 1910. Nr. 48. — EMIL HARASZTI, *Chopin és George Sand*. „Budapesti Hírlap”, 1910. Nr. 44. — DEZSŐ JÁROSI, *Chopin zenei romantikája*. „Katolikus Szemle”. 1910. s. 477—489.

² JÁNOS BARTÓK, *Chopin és Magyarország*. „Énekszó”, rocznik XVII. Nr. 5, 1950. marzec, s. 174—184.

³ BARTÓK, *op. cit.* 180.

⁴ BARTÓK, *op. cit.* 183—184.

Zainteresowanie pisarzy węgierskich Chopinem jest niewątpliwie jedną z organicznych części składowych zainteresowania się Polską w ogóle. Jak wyglądało to ogólne zainteresowanie Polską za życia Chopina w pierwszym i decydującym etapie polskiego Romantyzmu w t. zw. Okresie Reform na Węgrzech? (1825—1848). Węgierski historyk Endre Kovács, wybitny badacz stosunków historycznych polsko—węgierskich w wydanej niedawno pięknej książce p. t. *Sprawy polskie na Węgrzech w okresie reform*⁵ ujmująco analizuje źródła przyjaźni dla Polaków w społeczeństwie węgierskim, akcje społeczne organizowane na rzecz powstania listopadowego, polonofilskie akcje komitatów węgierskich, sytuację polskich uchodźców na Węgrzech, rolę sprawy polskiej w parlamencie węgierskim w latach 1832—36 i wreszcie w jakim stopniu tak zw. młodzież parlamentarna zajmowała się zagadnieniami polskimi.⁶ W książce swej węgierski historyk pokrótce wskazuje na to, jak odzwierciedlały się te sprawy w literaturze węgierskiej i nawet w życiu muzycznym. Echa literackie jednak ogranicza on jedynie do najważniejszych pisarzy i najbardziej charakterystycznych literacko zjawisk. Nawet pisze o pewnych wpływach muzyki polskiej. Najpierw ogólnikowo stwierdza, że „pieśni przedstawiające cierpienia narodu polskiego przenikały przez granicę i rozpowszechniały się wśród ludności węgierskiej”. Cytuje on węgierską wersję polskiego hymnu, znajdującego się w rękopisemnej księdze wierszy Dániela Turiego⁷ z roku 1834 i pisze o koncercie zorganizowanym w Miskolcu latem 1838 r. na którym cztery Szwedki przebrane za trubadurów śpiewały pieśń p. t. *Pulk Czwarty*, odnosząc olbrzymi sukces. Tekst tej piosenki został natychmiast przepisany i rozpowszechniony wśród młodzieży. Ta ostatnia pieśń była ściśle związana z muzycznymi objawami polonofilstwa w Niemczech, był to bowiem umuzykalniony wiersz znanego, postępowego poety Juliusza Mosena p. t. *Die letzten Zehn vom vierten Regiment*.⁸ I nie jest to pieśń ludowa, — jak suponuje Kovács, a jej egzemplarze po dziś dzień zachowały się w spuściźnie wielu węgierskich pisarzy. Na scenach węgierskich wystawiano nie jedną sztukę polską lub o tematyce polskiej, np. w latach 1835—36 wystawiono trzy razy sztukę Fredry, *Damy i Huzary*, a 5 września 1837 roku wystawiono sztukę Gott-hilfa Augusta Freyhera von Maltitz⁹ p. t. *Zsoltky der alte Student*.

Nazwisko Chopina w książce Kovácsa występuje tylko raz jeden. Autor wspomina, że Chopin, Mickiewicz i Niemcewicz byli częstymi gośćmi Hotelu Lambert.¹⁰ Najlepszy polski bibliograf Chopina Bronisław Edward Sydow¹¹ również nie wie nic o tym, że w roku 1838 na Węgrzech ukazało się opowiadanie Adolfa Frankenbarga osnute na tle powstania listopadowego i ujęte w artystyczne ramy mazurków chopinowskich. Utwór ten jest w pewnym sensie odkryciem z okazji rocznicy chopinowskiej, lecz już dwukrotnie o jego

⁵ ENDRE KOVÁCS, *A lengyel kérdés a reformkori Magyarországon*, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1959. Zob. recenzję autora w „Wojskowym Przeglądzie Historycznym” 1960. Nr. 3. s. 405—418.

⁶ KOVÁCS, *op. cit.* s. 45—200.

⁷ KOVÁCS, *op. cit.* 373. oraz autor, *Lengyel sors és nemzettudat a magyar irodalomban*. Kecskemét, (1939) s. 11—12.

⁸ POR. WŁAD. HORDYNSKI, *Die deutsche Musik und der Novemberaufstand in Polen*. „Germanoslavica”. 1931/32. zes. 1. s. 132 oraz J. Simonówna, *Echa powstania listopadowego za granicą*. „Muzyka”, 1931. Nr. 1.

⁹ KOVÁCS, *op. cit.* s. 382. — Por. jeszcze autor, *op. cit.* s. 11.

¹⁰ KOVÁCS, *op. cit.* s. 246.

¹¹ BRONISŁAW EDWARD SYDOW, *Bibliografia F. Chopina*. Warszawa, 1949 *Suplement*, Warszawa, 1954.

istnieniu wspominał autor niniejszej pracy w swoich poprzednich artykułach.¹²

W naświetlaniu powstania *Mazurków Chopina* Frankenburga zmuszeni jesteśmy cofnąć się nieco w dziejach Węgier, aby odmalować tę atmosferę historyczną, w której Frankenburg napisał swoje opowiadanie. W okresie poprzedzającym powstanie tej noweli w latach 1832—36 odbyła się sesja parlamentu węgierskiego. Wielką zasługą zwolenników reform było to, że zrzekając się swych przywilejów walczyli oni także o postęp i wolność narodów europejskich, kiedy prowadzili walkę równocześnie przeciw absolutyzmowi na Węgrzech i absolutyzmowi Habsburgów.¹³ Ta sesja parlamentu węgierskiego obradowała również kilkakrotnie i nad sprawą polską. Zaledwie kilka tygodni upłynęło od zamknięcia sesji parlamentu, gdy reakcyjny dwór wiedeński rozpoczął likwidowanie postępowych ruchów na Węgrzech. Pierwszy cios skierowany został w młodzież parlamentarną. Aresztowano i uwięziono László Lovassyego i Jánosa Tormássyego przywódców tej młodzieży. Na próżno na łamach „Wiadomości Muncypalnych” bronił ich sam Kossuth, stając równocześnie w obronie wolności prasy, za co sam w maju 1837 r. został aresztowany i skazany na cztery lata więzienia.¹⁴ Lecz na posunięciach tych ruch opozycyjny jedynie zyskał, gdyż przyłączyli się do niego przedstawiciele inteligencji pochodzenia szlacheckiego, adwokaci, aplikanci, studenci i niezamężna młodzież szlachecka. Hrabia István Széchenyi na sesji komitatu peszteńskiego domagał się wolności prasy, podżupan komitatu Liptó Madocsányi żądał utworzenia węgierskich jednostek w armii w ramach każdej broni.

W tej napiętej atmosferze otwierał swe podwoje na rościę założony wówczas (22 sierpnia 1837r.) Węgierski Teatr w Peszcie, nowa twierdza kultury węgierskiej. W tej atmosferze Mihály Vörösmarty autor wielu wierszy o Polsce, pisze swoje wspaniałe *Wezwanie*¹⁵ do narodu węgierskiego (1836), w którym zachęca do wierności wobec ojczyzny. W wierszu tym pojawia się już wizja ewentualnej śmierci narodu, lecz myślą przewodnią wiersza jest powracające w refrenie wezwanie do wierności i wytrwania. *Wezwanie* zawiera nowy element poezji Vörösmartyego — międzynarodowość — którą wprowadził on jako element patriotyzmu do świadomości mnogich mas, powiązał interesy i walkę narodów wolnych i uciskanych, a do przeszłości narodowej dodał moralne źródło zasłużonej solidarności wolnego świata.¹⁶ Walka o wolność i śmierć narodu w tym czasie wiązały się w świadomości publicznej przez pamięć walki o wolność prowadzonej przez Rákóczyego, pod wpływem sugestii tragicznego przykładu Polski (upadek powstania listopadowego) i pod wpływem terorystycznych posunięć rządu. Fakt, iż społeczeństwo węgierskie obiektywnie jeszcze nie było przygotowane do walki o wolność, że ruch reformistyczny nie był w pełni rozwoju, a sytuacja jeszcze nie dojrzała do wywołania rewolucji — w związku z wywalczeniem niepodległości narodowej drogą zbrojnego powstania — wywołuje pewien pesymizm w wierszach Vörösmartyego pisanych w tych latach. Pesymistyczny ton jest jeszcze

¹² Autor, *op. cit.* s. 11 ten sam, *Tańce polskie na Węgrzech*. „Ruch Muzyczny” 1947. Nr. 24. s. 3—4.

¹³ ARATÓ—MÉREI—SPIRÁ—VARGA, *Magyarország története a feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet korában*, 1790—1849. Budapest, Tankönyvkiadó. 1957. s. 192.

¹⁴ *Ibid.*, s. 197—198.

¹⁵ Tekst *Wezwania* zob. w antologii WOLNOŚĆ. Warszawa, 1953. Czytelnik. s. 10—12.

¹⁶ DEZSŐ TÓTH, *Vörösmarty Mihály*. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1957. s. 230—231.

głębszy w wierszu *Druga pieśń Zrinyiego* napisanym przez Ferencę Kölcseyego autora hymnu narodowego w roku 1838. Kölcsey dobrze wiedział, że w miejsce „świata szlacheckiego” musi powstać świat nowy i tę konieczność dobrze rozumiał, mimo, iż sam był członkiem tego szlacheckiego świata, lecz w gorczy wywołanej terorem rządu, lękał się o przyszłe losy całej węgierszczyzny.¹⁷

To też zrozumiałym jest, że ten sam zasadniczy nastrój charakteryzuje ostatnie akordy *Mazurków Chopina* Adolfa Frankenburga. W tej atmosferze twórczość najlepszych poetów węgierskich może odzwierciedlać przeważnie smutne tylko następstwa powstania listopadowego. W roku 1834 w etapie pełnym rozmachu ruchu reform, powstanie polskie natchnęło Józsefa Bajzę do napisania wiersza przepelnionego wiarą w przyszłość Polski (*Apoteoza*), lecz już w roku 1838 pod wpływem zasadniczej zmiany — pogorszenia się sytuacji politycznej na Węgrzech — Frankenburg przedstawia wizję śmierci narodu — tym razem polskiego — w ramach opowiadania ujętego w artystyczną formę *Mazurków Chopina* lub jak sam nazwał *Capriccio* muzyczne.

Warto rzucić spojrzenie na życie Frankenburga. Lata dziecięce Frankenburga urodzonego w komitacie Sopron przebiegają równolegle z latami dziecięcymi młodego Liszta. Ojciec Frankenburga był tak samo rządcą majątków książąt Eszterházycy jak Ádám Liszt, ojciec Ferencę Liszta. Synowie ich są zatem rówieśnikami, Frankenburg jest starszy od Liszta o 20 dni i jak Liszt uczęszcza do pierwszej szkoły w Sopronie i tu mógł naturalnie być obecnym na pierwszych koncertach „cudownego dziecka”. Następnie Frankenburg kontynuuje swe studia przeważnie w zachodnich Węgrzech w Pécs, Győr i Sopronie. Kto wie czy zainteresowanie Frankenburga muzyką nie sięga dziecięcych wspomnień Lisztowskich. W roku 1833 przez pewien czas Frankenburg znajduje się w Budzie w poszukiwaniu pracy, z kolei przebywa w Presburgu jako aplikant (gdzie mógł przysłuchiwać się debatom na temat Polski w parlamencie węgierskim) następnie przez krótki czas jest kadetem ciężkiego pułku konnego im. Prinz von Sachsen, a od kwietnia 1837 zostaje kancelarzystą Węgierskiej Akademii Umiejętności, lecz będąc przeciwnikiem akademickiego ugropowania literackiego, rezygnuje ze swego stanowiska i poświęca się karierze literackiej.

W okresie silnego ucisku politycznego, dnia 13 marca 1838 r. nowe nieszczęście nawiedza naród węgierski: powódź w Peszcie, największa dotychczas w dziejach stolicy Węgier. Pisarze węgierscy organizują na rzecz powodzian wieczory autorskie połączone z koncertami, wydają okolicznościowe almanachy literackie z których dochód przeznaczono na powodzian.¹⁸ Takim wydawnictwem literackim był tomik wydany przez Ignáca Kunossa p. t. *Perły współczucia*¹⁹ przeznaczony „na rzecz podatników komitatu peszteńskiego, dotkniętego powodzią”, w którym *Mazurki Chopina* ukazały się, w pełnym brzmieniu. Frankenburg opowiada w swoich wspomnieniach, że

¹⁷ JÓZSEF SZAUDER, *Kölcsey Ferenc*. Budapest. Művelt Nép. 1955. s. 257.

¹⁸ JÓZSEF SZINNYEI, *Magyar írók élete és művei*. t. III. 1894. s. 732—738 oraz Lucia Machatschek, *Frankenburg Adolf*, Sopron, 1938.

¹⁹ *Részvét gyöngyei*. Az Árvíz által károsult Pestmegyei Adózó nép javára saját költségén kiadá Kunoss, Budán, a Királyi Egyetemi Nyomda betűivel. 1838. s. 161—171. — Drugie wydanie: *Mazurków Chopina* Frankenburg, *Munkái*. Pest, 1844. t. I.

pierwsza część ukazała się najpierw w „Lombok” (Korony drzew), dodatku literackim pisma „Természet” (Przyroda), lecz cenzor Rezeta w piśmie tym nie zezwolił na drukowanie dalszych części Mazurków. Drugi cenzor Stankovics biskup i radca namiestnictwa zezwolił jednak na wydrukowanie całości opowiadania w almanachu Kunossa.²⁰

Opowiadanie Adolfa Frankenburga p. t. *Mazurki Chopina*, składa się z serii fantastycznych wizji o zabarwieniu balladowym, w którym autor pewne sceny powstania listopadowego utożsamia z losem młodego, bezimiennego bohatera. Konstrukcja utworu oparta jest prawdopodobnie na jednym z utworów fortepianowych Chopina, składającym się z czterech mazurków. Odpowiednie do tego opowiadanie dzieli się na cztery części i stąd wynika pewna jego balladowość. Są to luźne obrazy, związane jedynie osobą i losem młodego bohatera. Tylko w ten sposób można ująć i rozumieć opowiadanie Frankenburga, które jest o tyle utworem epicznym, że przedstawia pewną historię — a balladowym o tyle, że jest przerywane, mgliste, zawierające dialogi. Brak tylko formy wierszowanej, a byłoby ono balladą. Tytuły poszczególnych części opowiadania (np. *Pierwszy mazur*) oraz ostatnie zdania w tym utworze („To jest pierwszy mazurek Chopina”) wskazują wyraźnie na jego kompozycję mazurkową.

Po tym krótkim wstępie przejdźmy do samego opowiadania. W pierwszym mazurze pisarz przedstawia krwawiącego, białego orła w locie. Z kropel krwi spadłych na ziemię, wyrastają olbrzymie drzewa, na których szczytach powiewają czerwone sztandary, wzywające do walki o wolność i powstania. Młoda, piękna dziewczyna z pełnymi łez oczami, tuli się do ukochanego. Prosi go by jej nie opuszczał i nie oddawał swego życia dla uludy. Lecz młody człowiek, spustoszenia kraju i entuzjazmu 50 tysięcy mężczyzn gotowych do boju — nie uważa za złudzenie: „Miłość ojczyzny — to nie marzenie” — Mówi do dziewczyny. W sercu młodego człowieka żyje teraz podwójna miłość: do ojczyzny i dziewczyny. Hasłem jego na przyszłość będzie wolność ojczyzny i miłość do dziewczyny. A kiedy wiatr nagle rozwinie czerwone sztandary, a z dala usłyszysz pieśń bojową wolnych ludzi, po czułym pocałunku „młodzian oderwie się od ukochanej, spiesząc pod sztandary ojczyzny”. To jest pierwszy Mazurek Chopina.

W drugim mazurku zabiera głos również sam autor. Zadaje czytelnikom pytanie: czy słyszą wojenną wrzawę, nadchodzącą z gór „czy czują w swych sercach odzywające się struny litości dla bratniego narodu? Czy słyszą modlitwę ludzi wolnych?”

I tu Frankenburg opisuje przygotowania do bitwy, nabożeństwo i modły pod gołym niebem. Następnie przechodzi do opisu armii „żołdaków”, którzy czterokrotnie liczbowo przewyższają nie wielką garstkę ludzi wolnych, a jednak ich się boją. Na twarzy żołdaków widnieje rumieniec wstydu, że mają wykonać tak hańbiący obowiązek. Przed wyruszeniem w bój z jednej strony ludzie wolni wołają „Bóg i ojczyzna”, z drugiej „Życie i żołd” — wrzeszczy armia żołdaków. Bitwa ma miejsce w dniu wiosennym, a następnego dnia staje się jesień, późna jesień. Żołdactwo zbiera obfity plon, lecz straszna klątwa obciąża zwycięzców. To jest drugi mazurek Chopina.

W trzecim mazurku nasz młody bohater walczy już zupełnie osamotniony. Nad nim w dali na horyzoncie pojawia się srebrzysty orzeł, dodając mu otuchy

²⁰ *Emlékiratok*. Írta Frankenburg Adolf. Pest, Emich Gusztáv. 1868. t. II. s. 81

i młodzieniec nabrawszy nowych sił walczy dalej. Stoi na stosie trupów nieprzyjaciół, skąd chcą go porwać i poprowadzić na stracenie. I kiedy słyszy głosy, że nie taka śmierć mu sądzona lecz zesłanie, nie chce się poddać. Wyrывa z otaczającego go pierścienia wrogów, by móc stać się zwiastunem upadku swego narodu, a później jego mścicielem. W autorze znów odzywa się tu pisarz węgierski: zachęca on bowiem polskiego bohatera do przebicia się przez pierścień nieprzyjaciela, gdyż „niedaleko jest granica, za nią mieszka naród szlachetny i bohaterski jak twój, który choć obcy mową, lecz bliski uczuciem i który przyjmie cię do swego domu dzieląc się z tobą bólem twej duszy, oplakując nie tylko twój los”. W tym miejscu Frankenburg we właściwy sposób wyraził uczucia pisarza węgierskiego, bowiem polonofilstwo wśród pisarzy węgierskich rozwijało się przeważnie wskutek podobieństwa losu lub żalu, że Węgrzy w tych latach nie mogli nawet myśleć o wystąpieniu,²¹ na które zdobyli się Polacy w latach 1830/31.

Teraz bohater wznosi modły do Boga, w których wyraża rozgoryczenie i żal, że ludzie-bracia tak się mordują wzajemnie i prosi Stwórcę by dał mu tyle sił, ażeby mógł pomścić ojczyznę. Bóg opuszcza na ziemię gęstą mgłę, co umożliwi bohaterowi ucieczkę. Tuż, tuż widać obraz pięknego i szczęśliwego kraju (węgierskiego). Jednak młodzieniec nie usłuchał przepowiedni czarodziejskiego potoku, ominął lasy o ciemnych koronach drzew i nie dotarł do narodu, który „mógłby jego lzy ukoić na swej piersi i na który mógłby liczyć”. Młodzieniec uwierzył „obłudnym uśmiechom ludzi podłych” i nie dotarł do tych, którzy zrozumieliby jego smutek i mogli mu pomóc. To jest trzeci mazurek Chopina.

W czwartym mazurku przez nizinę przechodzi zbrojny oddział prowadząc w środku bezbronnego młodzieńca. Nocą w mieście, gdzie się zatrzymał, aresztowano go. Oddział przechodzi koło cmentarza. Otwierają się trumny i cienie zmarłych braci suną w nocnym korowodzie — w ich ojczyźnie dopiero po śmierci stali się wolnymi. Pisarz pyta młodego bohatera, dlaczego nie tańczy ze swymi braćmi w nocnym korowodzie? „Ty chciałeś być wolnym za życia, nie wiedziałeś, że życia i wolności nie można pogodzić i że jedynie duch zapala nad żałobnymi szczątkami wieczną lampę wolności”. I wówczas młodzieniec zaczyna śpiewać. Śpiew jego podobny jest do śpiewu obłąkanego, który śmiejąc się dziko, zrywa ostatnią nić o swoim szczęściu. I to może być aluzją do muzyki Chopina, bowiem w związku ze śpiewem młodzieńca Frankenburg mówi następująco: „Ach, młodzieńcze, *jaka niebezpieczna jest twoja muzyka*. Czy nie chce ona wprowadzić w błąd tego, który jej słucha? Czy nie chce przekonać go, że jej wesola treść jest zgodna z twoim wewnętrznym stanem ducha. Jednak nie, ty nie chcesz zwodzić, bo okropnie brzmi twój ostrzegawczy głos w tej ponurej nocy”. Strasznie oddziaływała muzyka chopinowska na wroga. Jest to głos ostrzegawczy ponurej nocy niewoli i rozbiorów. A mały oddział oddala się coraz bardziej, pieśń młodzieńca (to jest symbol muzyki chopinowskiej) coraz bardziej rozplywa się w powietrzu i coraz słabiej go słyszeć. To jest czwarty mazurek Chopina.

Może zbyt szczegółowo omówiliśmy opowiadanie Frankenburga — „fantazję literacką”²² apoteozującą powstanie listopadowe. Jakież znaczenie posiada ten utwór dla węgierskiej literatury polonofilskiej? Co do treści —

²¹ Autor, *Lengyel sors*. . . s. 9. oraz Kovács, *op. cit.* s. 389.

²² МАНАТСЧЕК, *op. cit.* s. 71.

mało wnosi nowego. Pisarz ma prawo w taki lub inny sposób snuć marzenia na temat walk wolnościowych. W porównaniu do dotychczasowych utworów węgierskich o tematyce polskiej²³ nowością w nim jest kompozycja, ujęta na wzór opusów mazurkowych; nowością jest również znajomość muzyki chopinowskiej w węgierskim świecie literackim tak wcześniej — bo już w roku 1838. Napisaniem utworu literackiego, w oparciu — jeśli chodzi o kompozycję — o mazurki Chopina, pisarz węgierski — według naszych obecnych wiadomości — wyprzedził całą literaturę światową, przypuszczalnie i literaturę polską, a już poetów polskich na pewno. Władysław Broniewski, B. W. Chęciński, Marian Gawalewicz, Klemens Kołakowski, Aleksander Kraushar, Konstanty Krumłowski, Ignacy Maciejowski, Piotr Maszyński, Józef Mirski, Artur Oppman, Amelia Pruszkowa, Z. Przyrowski, Józef Sęp, Kazimierz Tetmajer, Kornel Ujejski, Włodzimierz Wolski, Paweł Kościński — pisali wiersze na temat mazurków Chopina, ale później.²⁴ Pisali wiersze o Chopinie i utworach chopinowskich również znani poeci zagraniczni,²⁵ jak np. poeta ukraiński — Maksym Rylski, Rosjanin — Borys Pasternak, Portugalczyk — Sylveira Netto, Francuz — Armand Silvestre²⁶ i inni. Jednak Frankenburgera nie wyprzedził nikt.

Dalszą zasługą pisarza węgierskiego jest to, że wybrał on jako ramy kompozycji swego opowiadania z twórczości Chopina właśnie mazurki — rodzaj najbliższy twórczości ludowej. Czy wybór mazurków przez Frankenburgera był wyborem świadomym i czy to w ogóle był wybór, czy znał on może tylko mazurki Chopina? — nie wiemy — bowiem w swoich wspomnieniach nic nie pisze o powstaniu tego utworu.

Rzeczą ważną i nową jest fakt, że pisarz węgierski dostrzegł związek, jaki zachodzi między muzyką chopinowską i polską myślą wolnościową. Jest rzeczą znamionną u pisarza pochodzenia mieszczańskiego, że to powiązanie muzyki chopinowskiej z polską walką wolnościową ujął nie w artystyczną formę szlacheckiego poloneza, co by nawet może bardziej odpowiadało szlacheckiemu charakterowi powstania listopadowego, lecz wybierając mazurki Frankenburger instynktownie wskazał na ludowość, cechę tak bardzo znamionną dla polskiego i węgierskiego Romantyzmu. Przypuszczenie to potwierdza jeszcze fakt, że bohaterem jego opowiadania jest bezimienny młodzieniec, autor nie opisuje nawet rysów jego twarzy ani ubioru, nie mamy więc żadnych wskazówek, że jest to powstaniec-szlachcic, lecz po prostu przedstawiciel narodu.

W związku z opowiadaniem Frankenburgera pozostają do wyjaśnienia dwa pytania: — jaką drogą pisarz węgierski doszedł do tematyki chopinowskiej — i który opus z mazurkami mógł być natchnieniem dla Frankenburgera. W obydwóch sprawach jesteśmy dopiero w stadium hipotez.

I tu nie można przemilczeć faktu, że mazurki jako salonowa muzyka taneczna, były już popularne na Węgrzech w latach 1830-ych. Istnieją kon-

²³ Najważniejsze wymienione w rozprawce autora, *Lengyel sors...* s. 9—12.

²⁴ Por. KRYSZYNA KOBYLANSKA, *Chopin. Antologia poetycka*. Wydanie Galster i S-ka. Warszawa, 1949. Pomijam wierszyk okolicznościowy Ignacego Maciejewskiego napisany do „Sztambuchu” uczonego czeskiego Wacława Hanki w r. 1829, bowiem został on drukowany dopiero w roku 1855. Por. Kobylanska, *op. cit.* s. 66—67. Por. jeszcze J. Miketta, *Mazurki Chopina* Kraków, 1944 s. 452—458.

²⁵ Por. JAN ŚPIEWAK, *Polska w poezji narodów świata*. Warszawa, PIW, 1959. s. 393—394. 382—384, s. 182.

²⁶ „Bulletin Polonais”, Paris, 1900. Nr. 138.

kretnie wzmianki o tym, że np. w dniu 11 stycznia 1833 r. na balu komitadowym w Nagyvárád, a 28 stycznia 1839 r. na zabawie tanecznej w Dabas tańczono mazurki.²⁷ Mazur zatem jako taniec polski na Węgrzech, nie był obcy w czasie powstawania opowiadania Frankenburga.

Możliwością zapoznania się z mazurkami Chopina mogła być ewentualnie pośrednicza rola uchodźców polskich, przebywających wówczas na terenie Węgier. Spośród nich nie jeden był pracownikiem kultury. — Michał Heilprin, który później próbował pisać po węgiersku wiersze — był księgarzem w Miskolcu. Józef Dzwonkowski był bibliotekarzem w latach 1840-ych u hrabiów Károlyiów w Fót, wybitny skrzypek Stanisław Serwaczyński w latach 1837—1840 był naczelnikiem orkiestry teatru peszteńskiego.²⁸ Frankenburg, który był twórcą nowego rodzaju literackiego, t. zw. migawek z życia stołecznego i który aktywnie współpracował z Węgierskim Teatrem w Peszcie²⁹ mógł poznać się poprzez muzykę polskiego z muzyką chopinowską.

Jest również możliwe, że z okazji pobytu w Sopronie, Budzie lub Preszburgu w początkach lat 1830-ych mógł pisarz węgierski na jakimś koncercie słyszeć owe mazurki. Mogło się również zdarzyć, że Frankenburg czytał jakiś podobny utwór lub po prostu w jakimś czasopiśmie recenzję muzyczną swego literackiego wzoru Saphira, bądź w „Wiener Theaterzeitung” bądź to w „Humoryście”. O Saphirze wiemy, że ze swymi występami autorskimi dotarł aż do Lwowa, czyli mógł mieć polskie kontakty. Ten sam Saphir w roku 1838 zorganizował w Peszcie wieczór autorski na rzecz powodźian w tym samym dniu co i Frankenburg.³⁰ Rola pośrednicza Liszta odpada, bowiem Liszt jako powszechnie uznany muzyk, występuje na Węgrzech po raz pierwszy dopiero w roku 1840. Odpada również rola pośrednicza wiedeńskiego życia muzycznego,³¹ gdyż jak nam wiadomo, pierwsze dane dotyczące koncertów chopinowskich, nie licząc występów Filtscha w r. 1843 — pochodzą z roku 1857. Brak również ówczesnych programów w zbiorach Akademii Muzycznej w Budapeszcie, jak również w dziale muzycznym Krajowej Biblioteki im. Széchenyiego.³²

Najbardziej prawdopodobne jest jednak to, że artykuły Roberta Schumanna zwróciły uwagę Frankenburga na mazurki Chopina. Prawdopodobnie pisarz węgierski o dużych zainteresowaniach kulturą i literaturą niemiecką, przeczytał entuzjastyczne recenzje Schumanna, dotyczące Pierwszego koncertu na fortepian (opus XI) oraz Drugiego koncertu na fortepian (opus XXI) Fryderyka Chopina. W artykule z roku 1836 na łamach „Neue Zeitschrift für Musik” pisze Schumann między innymi: „Und wie diese [polnische Nationalität] jetzt in schwarzen Trauergewändern geht, so ergreift sie uns am sinnenden Künstler noch heftiger. Heil ihm, dass ihm das neutrale Deutschland nicht im ersten Augenblick zu beifällig zusprach und dass ihn sein Genius gleich nach einer der Welthauptstädte entführte, wo er frei dichten und zürnen konnte. Denn wüsste der gewaltige selbtherrschende Monarch

²⁷ ELEKESNÉ VÉBER MARGIT, *Magyar táncok*. Budapest, 1935. s. 30—31.

²⁸ Encyklopedyja Powszechna, t. 23. Warszawa, 1866. s. 333.

²⁹ SZINNYEI, *op. cit.* s. 734.

³⁰ SÁRA FRIEDLÄNDER, *Saphir Móric Gottlieb*. „Irodalomtudományi Évkönyv” 1940, t. VI. s. 297.

³¹ FRANZ ZAGIBA, *Chopin und Wien*. Wien, 1951. s. 140—147.

³² Według informacji Margit Prahács, kierowniczkii Krajowej Biblioteki Akademii Muzycznej im F. Liszta i Jenő Vécsey, kierownika Działu Muzycznego Krajowej Biblioteki im. Széchenyiego w Budapeszcie.

in Norden, wie in Chopin's Werken, in den einfachen Weisen seiner Mazurkas, ihm ein gefährlicher Feind droht, er würde die Musik verbieten. Chopin's Werke sind unter Blumen eingesenkte Kanonen".³³ To znaczy: „Narodowość ta, która obecnie (1836) w czarnej chodzi szacie żaloby, tem potężniej i gwałtowniej porusza nasze serce w osobie marzącego artysty. Szczęście jego, że mu w pierwszej chwili neutralne Niemcy nie bardzo przypadły do smaku, i że go duch jego opiekuńczy uniósł wprost do jednej ze stolic świata, gdzie mógł dowolnie poetyzować i zżymać się. Gdyby bowiem samowładny, potężny monarcha Północy wiedział, jak niebezpieczny wróg grozi mu w dziełach Chopina, w pojedynczych melodiach jego mazurków. zakazałby pewnie tę muzykę. Dzieła Chopina, to ukryte wśród kwiaty armaty".³⁴

Według wszelkiego prawdopodobieństwa ten artykuł Schumanna dał Frankenburgowi natchnienie do napisania opowiadania p. t. *Mazurki Chopina*. Pisarz węgierski mógł przeczytać tę recenzję chopinowską w bibliotece uniwersyteckiej w Peszcie lub jako kancelista w Węgierskiej Akademii Umiejętności. Stosunkowo krótki czas między dotarciem czasopisma niemieckiego do stolicy Węgier, a napisaniem opowiadania przez Frankenburga wskazuje również na dużą możliwość prawdopodobieństwa, że źródłem dla pisarza węgierskiego mógł być właśnie Schumann.

Podobną sytuację między dwoma narodami, o której była mowa na wstępie, podkreśla Frankenburg, gdy w opowiadaniu mówi o sympatii narodu węgierskiego: „Naród (węgierski) przyjmie cię do swego domu ze współczuciem, dzieląc się z tobą bólem twej duszy, oplakując nie tylko twój los” (cytat z trzeciego mazurka). Natomiast kilka wierszy z czwartego mazurka przypomina recenzję Schumanna: „O, młodzieńcze, jaka niebezpieczna jest twa muzyka! czy nie chce ona omamić tego, kto jej słucha...?”

Cytowana przez nas recenzja Schumanna wyjaśnia jednak tylko treść społeczno-polityczną muzyki chopinowskiej. Pozostaje jeszcze wyjaśnienie ram opusu chopinowskiego, składającego się z czterech mazurków. Jeżeli przyjmujemy tezę pośrednictwa Schumanna, to wówczas trzeba nadmienić, że Frankenburg mógł czytać tak samo na łamach „Neue Zeitschrift für Musik” recenzję Schumanna, dotyczącą *Rondo à la Mazur*³⁵ przy końcu 1836 roku, oraz *Opus 30* składające się z czterech mazurków³⁶ około połowy właśnie 1838 roku, w czasie powstawania jego opowiadania.

Naturalnie recenzja schumannowska nie była jedyną formą zapoznania się z opusami chopinowskimi, składającymi się z czterech mazurków. Można i warto ustalić tę grupę mazurków, które powstały i ukazały się drukiem do roku 1838 czyli do momentu ukazania się opowiadania Frankenburga. Są to następujące: *Rondo à la Mazur, Op. 2* (1828), *Mazurki Op. 6 i 7* (1832), *cztery Mazurki Op. 24*, *cztery Mazurki Op. 17* (1834), *cztery Mazurki Op. 24* (1835), *cztery Mazurki Op. 30* (1837), *cztery Mazurki Op. 33* (1838).³⁷ Spośród wyżej wymienionych Mazurków muzykolog powinien wybrać tę grupę, o

³³ *Gesammelte Schriften über Musik und Musiker von Robert Schumann*, Leipzig, 1871. t. I. s. 164.

³⁴ *Robert Schumann o Fryderyku Chopinie*, przez U. U. Lwów, 1876. s. 18—19.

³⁵ *Gesammelte Schriften*... von Schumann t. I. s. 242.

³⁶ *Ibid*, t. II. s. 45—46.

³⁷ Por. *Kronika życia i twórczości F. Chopina. Korespondencja F. Chopina*. Zebrał i opracował B. E. SYDOW. PIW, 1955. t. I. s. 26—30. Por. J. МИКЕТТА, *Mazurki Chopina* Kraków, 1949. s. 462—464.

której Otto M. Żukowski pisze, że: „mają pewien nastrój balladyczny”.³⁸ Właśnie jakaś grupa Mazurków o charakterze balladowym mogła być natchnieniem do opowiadania dla pisarza węgierskiego. Niestety dotychczasowa analiza Mazurków Chopina była przeprowadzona przede wszystkim pod kątem muzykologicznym.³⁹

Nie jest w tej chwili już rzeczą ważną czy Frankenburg na podstawie inspiracji schumannowskiej czy też inną drogą doszedł do pomysłu napisania opowiadania p. t. *Mazurki Chopina*. Lecz ważnym jest fakt powstania tego utworu literackiego w r. 1838, w atmosferze nastrojów polonofilskich, zaistniałych w ślad powstania listopadowego, ponieważ jest to nowym przyczynkiem do wcześniejszych wpływów muzyki chopinowskiej na Romantyzm europejski. S. Łobaczewska jeszcze w roku 1955 pisała, że... „historia burżuazyjna nie dostrzegła społecznego sensu ukrytego w muzyce Chopina”.⁴⁰ Łobaczewska uważa Schumanna za jedyny wyjątek: „na ogół ani wiek XIX ani wiek XX nie dostrzegł nuty bojowości w muzyce Chopina”.⁴¹

Miło jest dla badacza kontaktów literackich i kulturalnych polsko-węgierskich uzupełnić tymi skromnymi rozważaniami cenny referat S. Łobaczewskiej, wygłoszony jeszcze w ramach obchodu Roku Mickiewicza w 1955 r.: Poza Schumannem był pisarz węgierski, który bardzo wcześnie — bowiem już w roku 1838 rozpoznał (prawdopodobnie pod wpływem Schumanna) ważne znaczenie muzyki Chopina, przede wszystkim jego Mazurków, dla polskich walk narodowo-wyzwoleńczych, to też swoje opowiadanie na temat powstania listopadowego ujął on w ramy Opusu chopinowskiego, składającego się z czterech Mazurków.

I właśnie na tym polega znaczenie opowiadania Adolfa Frankenburga i za tę jego koncepcję należy mu się uznanie nawet po stu dwudziestu dwóch latach.

³⁸ O. M. Żukowski, *F. Chopin w świetle poezji polskiej*. Lwów, 1910. s. 24.

³⁹ Por. JANUSZ MIKETTA, *Mazurki Chopina*, Kraków, 1949.

⁴⁰ S. ŁOBACZEWSKA, *Wkład Chopina do romantyzmu europejskiego*. Warszawa listopad, 1955. Materiały dyskusyjne Komisji Naukowej Obchodu Roku Mickiewicza, s. 7.

⁴¹ *Ibid.*, s. 124.

August Pavel, 1886—1946

(Ein Kapitel aus der Geschichte der ungarischen Slawistik)

A. ANGYAL

1. Am 2. Jänner 1961 jährte sich der 15. Todestag August Pavels, am 28. August desselben Jahres sein 75. Geburtstag. Nur sechzig Lebensjahre waren ihm beschieden, sechzig Jahre in einer unruhigen, von zwei Weltkriegen bestimmten Zeit. Aber auch diese unruhigen Jahre brachten bei Pavel eine reiche Ernte ein, die ihn zu einem bedeutenden Vertreter der modernen Slawistik in Ungarn erhebt.

Schon durch seine Herkunft schien er dazu bestimmt zu sein, als Vermittler zwischen Ungarn und Slawen aufzutreten, als Verkünder einer echten ungarisch—slawischen Wechselseitigkeit. Sein Geburtsdorf Cankova, ungarisch Vashidegkút genannt, lag auf slowenischem Sprachgebiet, gehörte aber zum damaligen Ungarn. Seine Eltern waren Handwerker, die auch ihren kleinen Acker bearbeiteten, seine Muttersprache das Slowenische.¹ Geographisch gesehen liegt Cankova in der Landschaft zwischen den Alpen, dem kroatischen Zagorje und dem pannonischen Hügelland: ein Übergangsgebiet deutscher, südslawischer und ungarischer Einwirkungen. Was Wunder, wenn diese Landschaft, wo sich zwei südslawische Stämme, das Kroaten- und das Slowenentum begegnen, uns mehrere große Slawisten bescherte: den aus Warasdin (Varaždin) stammenden Vatroslav Jagić, den im slowenischen Dorf Drstelja geborenen Matija Murko und nicht zuletzt unseren Pavel.

Der österreichische Slawist Josef Matl, heute wohl einer der besten Kenner der südslawischen Problematik, bezeichnet die Slowenen „als kleines Volk an der Brandung, in der Überkreuzungszone dreier gegensätzlicher Kulturen, der deutschen, römischen und slawischen Kulturwelt“ lebend, fügt aber gleich hinzu: „Diese Situation hatte aber auch eine positive Folge, daß das kleine slowenische Volk in der Wissenschaft eine internationale Höhe und Leistung erreichte, und darin auch zum Lehrmeister der übrigen Südslawen wurde.“²

Ohne Zweifel ist dies auch die Ausgangs-Situation Pavels, ergänzt freilich damit, daß hier bei Cankova, in der sogenannten *Slovenska krajina*, ungarisch „Wendenland“ (*Vendvidék*) genannt, auch starke ungarische Anregungen vor allem des Lebensstils und der Haltung vorhanden waren. Der dieses Gebiet gut kennende tschechische Slawist Frank Wollman konnte

¹ Vgl. das von Freunden und Schülern Pavels herausgegebene Werk: Pavel Ágoston-émlékkönyv [Gedenkbuch für A. Pavel]. Szombathely 1949, sowie die gute biographische Skizze von VILKO NOVAK in der *Slavistična Revija* (Ljubljana), Jg. 1956., S. 197—200.

² JOSEF MATL: Die Slawen auf dem Balkan. In: *Völker und Kulturen Südosteuropas*. Kulturhistorische Beiträge. München 1959, S. 73.

das noch um 1930 konstatieren.³ Als er später über die Mundart seines Heimatdorfes schrieb, formulierte Pavel selbst die Tatsache, daß das Slowenische von Cankova einerseits stark mit der Sprache der benachbarten slowenischen Dörfer jenseits der Kučnica zusammenhängt, andererseits auch deutsche und ungarische Einflüsse aufweist.⁴

Jedenfalls wuchs Pavel in einer slowenischen Umgebung auf, einer Umgebung, in welcher — wie er später oft darauf hinwies —, alte Sagen, Bräuche und Volksüberlieferungen noch stark lebendig waren. Dieses Erbe hat er zeitlebens nicht verleugnet: immer fühlte er sich mit seinem Dorf, mit der Welt und der Sprache seiner Kindheit verbunden. Eben darum wurde er nicht nur ein glänzender Kenner der südslawischen Volkssprache und Volksdichtung, sondern auch der berufene Vertreter einer kulturellen und geistigen Annäherung der Ungarn und Südslawen. Wenn er auch später gut ungarisch lernte und in einer ungarischen Umwelt arbeitete, zum ungarischen Wissenschaftler, ja Dichter wurde, so sind die Fäden zum Slowenentum nie abgerissen. Auch in schwersten Zeiten fühlte sich Pavel als ein Mann, der berufen ist, Frieden und Eintracht zwischen Ungarn, Slowenen und Kroaten zu stiften.

Das Gymnasium besuchte der junge Pavel zunächst in der nahe gelegenen Stadt St. Gotthard (Szentgotthárd), dann in Steinamanger (Szombathely), in einer Stadt, die sich im 19. Jahrhundert zu einem Wirtschafts- und Kulturzentrum Westungarns ausbildete und die dann Pavels ständiger Wohnsitz wurde. Aber einstweilen kamen noch neue Lehr- und Wanderjahre.

1905 verließ er das Steinamangerer Gymnasium und betrat die damals auf ihrer geistigen Höhe stehende Budapester Universität. Hier studierte er ungarische, klassische und slawische Philologie. Er hatte das Glück, den großen ungarischen Sprachforscher Sigismund Simonyi und den Literaturhistoriker Friedrich Riedl zu hören, die beide um 1900 der gesamten Ungarnkunde neue Wege wiesen. Neben ihnen hörte Pavel den leider jung verstorbenen Professor Ludwig Katona, einen Forscher europäischen Formates, der — von der Romanistik ausgehend — volkskundliches und literarhistorisches Interesse meisterhaft miteinander zu verbinden verstand.

Katona leitete den jungen Slowenen in die damals aufblühende Wissenschaft der vergleichenden Literaturgeschichte ein. Bei Oskar Asbóth, dem größten, bis heute unübertroffenen ungarischen Slawisten studierte er Slawistik, vor allem südslawische, russische und polnische Philologie. Asbóth, der an der Ungarischen Räterepublik teilnahm, wurde 1919 seines Amtes enthoben, von der Gegenrevolution verfolgt und verschwiegen. Asbóth war kein Buchstaben-Philologe, kein amüsischer Pädant, sondern ein Mensch, der für Poesie und Kunst Sinn hatte. In diesen Bahnen schritt auch sein Schüler Pavel fort, der von nun an in seinem ganzen Schaffen Sprach- und Literaturwissenschaft, Volkskunde und Kunstgeschichte vereinigte, und der auch als Lyriker, Übersetzer und Kritiker nicht Unbedeutendes leistete. „Slawische Philologie“ war für Pavel — ebenso wie für den berühmten Jagić — eine „Wissenschaft vom Slawentum“, mit dem Zweck, Sprachforschung, Literaturwissenschaft und Volkskunde zu vereinigen.⁵

³ FRANK WOLLMAN: Severozápadní Jugoslávija (Nordwest-Jugoslawien). Praha 1935., S. 28.

⁴ A. PAVEL: O prekmurskih Slovincih (Über die Slowenen des Murgebietes). In: *Slovenska krajina*. Beltinci 1935., S. 15.

⁵ В. Ягич: История славянской филологии. Санктпетербург 1910, S. 1.

2. Diese drei Hauptzweige erscheinen in den ersten Arbeiten des jungen Pavel. 1909 rezensiert er im „Ungarischen Sprachwart“ (*Magyar Nyelvtör*, Jg. 38., S. 228—232) zwei Bücher seines Meisters Asbóth, mit großer Sicherheit und Selbständigkeit. Er spricht über seinen akademischen Lehrer im Tonfall der Verehrung, ohne jedoch servil oder unkritisch zu werden. Mit Recht sah Asbóth in ihm bald nicht den Schüler, sondern den Kollegen, verbunden im Dienste gleicher wissenschaftlicher und menschlicher Ideale.

1909, das Endjahr seiner Universitäts-Studien ist auch das Jahr des Erscheinens seiner Doktorarbeit über die Lautlehre der slowenischen Mundart von Cankova.⁶ Eine äußerst gründliche, gewissenhafte Arbeit, deren Verfasser schon im vollem Rüstzeug seines philologischen Wissens vor der Öffentlichkeit der internationalen Gelehrtenwelt erscheint. In der Einleitung behandelt Pavel die Dialektgliederung seiner Heimatlandschaft, des *Slovensko Prekmurje*, die sprachgeographische Lage Cankovas, den Einfluß des Deutschen, des Ungarischen und der slowenischen Literatursprache, sowie die Ortsnamen der Gegend. Ein Teil dieser Einleitung ist dann 1935 auch slowenisch erschienen:⁷ wir wiesen schon darauf hin.

Den größten Teil des Buches bildet die Analyse des Vokalismus des Cankovaer Dialektes. Der Verfasser weist immer auf parallele oder abweichende Formen der slowenischen Literatursprache hin, oft auch auf das Altkirchenslawische und Kroatische, ja Tschechische und Russische. Wo über den Vokalismus der häufigen deutschen Lehnwörter gesprochen wird, zieht er zum Vergleich das Mittel-, ja sogar das Althochdeutsche heran. Alles in allem: eine Arbeit von hohem wissenschaftlichem Wert. Dieselben Vorzüge beherrschen auch die Abschnitte über den Konsonantismus, sowie den sehr begrüßenswerten Nachtrag, der fünfzehn slowenische Volkslieder, Balladen und Romanzen in mustergültiger Aufzeichnung bringt, teilweise in Cankova, teilweise in den umliegenden Dörfern aufgezeichnet. Der Liebe zur slowenischen Volkspoese blieb Pavel zeitlebens treu.

Sein Buch wurde — wie Vilko Novak darauf hinweist⁸ — von der internationalen Wissenschaft sehr gut aufgenommen. Asbóth rezensierte die Arbeit in einer polnischen Zeitschrift, und von slowenischer Seite beschäftigten sich keine geringeren Forscher, als Matija Murko, Fran Ramovš und Stanislav Škrabec mit dem Buch. Doch der junge Gelehrte blieb — trotz seines Erfolges — nicht auf den Geleisen einer einseitigen „Linguistik“, sondern erweiterte seine Forschungen auf literarhistorische Gebiete. Eine besondere Anziehungskraft hatte auf ihn jener Fragenkomplex, den der Leningrader Literaturhistoriker Pavel Naumovič Berkov jüngst als die „Probleme der literarischen Traditionen“ bezeichnet hat.⁹

In diesem Problemkreis bewegt sich Pavels 1909 gedruckte Studie über die südslawischen Verwandten der Orpheus-Sage.¹⁰ Der Ausgangspunkt, die eingehende Betrachtung der antiken Orpheus-Sagen zeigt, daß der junge Verfasser auch eine tüchtige altphilologische Schulung besaß. Dann über-

⁶ A. PAVEL: A vashidegkúti szlovén nyelvjárás hangtana. Budapest 1909.

⁷ *Slovenska krajina*, hg. von Vilko Novak. Beltinci 1935., S. 13—15.

⁸ Vgl. V. NOVAK in: *Pavel-émlékkönyv*, S. 38—44.

⁹ Vgl. П. Н. Берков: Об одном отражении „Каменного гостя“ Пушкина у Достоевского. — *Пушкин*, Исследования и материалы. т. II. Москва—Ленинград 1958. S. 394.

¹⁰ A. PAVEL: Az Orpheus-monda rokonai a délszláv népköltészetben. *Ethnographia*, Jg. 1909., S. 321—340.

geht er auf die Orpheus-Thematik in der südslawischen Kunst- und Volksdichtung, zum Beispiel beim großen barocken Ragusaner Ivan Gundulić und betont sehr sinnvoll den engen Zusammenhang antiker und südslawischer Volkstraditionen. Den Übergang vom Griechischen ins Südslawische sieht er bei den Bulgaren des Marica-Beckens: hier lebten — wie das eben Gundulić bezeugt — die Sagen vom „halbgöttlichen Sänger“ Orpheus zähe weiter und übergingen in die Folklore der einwandernden Südslawen. Von den Bulgaren wanderte dann die slawisierte Orpheus-Sage zu den Serben, dann zu den Kroaten weiter, um bei den Slowenen auf den als Nationalhelden verehrten Ungarnkönig Mathias Corvinus, auf den *Kralj Matjaž* der slowenischen Volksüberlieferung übertragen zu werden. Diese „mythologische Transformation“ des Königs Mathias wird von Pavel philologisch und historisch einwandfrei bewiesen. Die These von der Verschmelzung des Orpheus- und des Mathias-Corvinus-Motives wird auch von der heutigen Forschung, etwa von Josef Matl, aufrecht erhalten.¹¹ Das Thema: „König Mathias in der slowenischen Tradition“ wurde aber von nun an ein Lieblingsthema Pavels, das ihn während seines ganzen Lebens begleitete.

Die Orpheus-Studie — mit Übersetzungen aus dem Kroatischen und Slowenischen — hatte Erfolg. Ludwig Katona, der akademische Lehrer Pavels, stellte die Arbeit der Budapester Akademie vor und spornte den Verfasser zu neuen Forschungen an. So entstand seine 1913 gedruckte Studie über die südslawischen Quellen der Bankó-Sage.¹² Es handelt sich hier um eine um 1570 aufgezeichnete altungarische Renaissance-Novelle in Versen. Der namenlose Verfasser der Versnovelle, die die abenteuerlichen Geschicke der als Jüngling verkleideten schönen Tochter des alten Bankó am Ofner Königshof behandelt, behauptet selbst, das Gedicht nach einer kroatischen Vorlage verfaßt zu haben. Neuerdings wollte zwar der ungarische Forscher Ludwig Vargyas, geleitet von einer übertriebenen „Gallomanie“, den Ursprung dieses Themas und vieler ähnlicher Balladen- und Romanzen-Themen in Frankreich suchen,¹³ indessen glauben wir eher den sachlichen und unvoreingenommenen Forschungen Pavels, der die Existenz vieler Motive dieser Bankó-Sage in der serbokroatischen Volksdichtung auffand und auch auf ganz ähnliche Bearbeitungen hinwies, so auf eine Romanze des Kraljević—Marko-Zyklus (*Sestra Marka Kraljevića dvori cara*). Diese Romanze wurde in Dalmatien aufgezeichnet: dort entstand nach Pavels Meinung auch die Bankó-Novelle. — Wir haben keinen Grund, dieser Beweisführung zu mißtrauen. Warum entfernte französische Vorbilder suchen, wenn nahegelegene südslawische Parallelen da sind?

3. 1913, im Erscheinungsjahr dieses Aufsatzes wird Pavel zum Gymnasiallehrer in der südwestungarischen Stadt Dombóvár ernannt, wo er bald eine Familie gründet. Vorher wirkte er zwei Jahre in Siebenbürgen, am Gymnasium zu Torda. Dombóvár ist eine stille, verträumte Kleinstadt — damals eher noch ein Dorf —, indessen hätte Pavel wohl auch hier arbeiten können, wenn nicht der Krieg dazwischen gekommen wäre. Er kam auf die polnisch—russische Front, wo er auch schwer verwundet wurde. Allerdings hatte er im

¹¹ Vgl. J. MATL: Österreichische Herrscher und Heerführer in der Volksmeinung und im Volkslied der Südslawen. — *Österreichische Ost-Hefte*, Jg. 2 (1960), S. 261.

¹² A. PAVEL: A Bankó leányáról szóló széphistória délszláv forrásai. *Egyetemes Philológiai Közöny*, Jg. 1913., S. 104—112.

¹³ Vgl. *Ethnographia*, Jg. 1960., S. 223—236.

Dienst Gelegenheit, mit Russen und Polen zusammenzukommen und dabei seine slawistischen Kenntnisse aus eigener Anschauung zu bereichern.

Die Verbindung mit seinem Meister Asbóth hielt er auch in diesen schweren Jahren aufrecht. Sehr interessant sind in dieser Hinsicht Asbóths Briefe an Pavel, die sich heute im Besitz der Familie befinden. Am 13. Oktober 1913 spricht Asbóth seine Hoffnung aus, daß Pavel 1919 — wenn der Lehrstuhl frei wird — eine Budapester Professur für kroatische Sprache und Literatur erhalten wird können. Auch am 9. März 1917 spornt er seinen Schüler zu kroatischen und slowenischen Studien an, und wünscht, Pavel möge sich mit seiner „wendischen Formenlehre“ habilitieren. Aus dem Brief Asbóths vom 22. Jänner 1918 wird es wiederum klar, daß Pavel schon damals an die Veröffentlichung einer kompletten „wendischen Sprachlehre“, d. h. einer Grammatik des slowenischen *Prekmurje*-Dialektes zu Schulzwecken plante. Leider konnte unser Gelehrte diesen interessanten Plan weder damals, noch ein Vierteljahrhundert später verwirklichen.

Für Asbóths sprachwissenschaftliche Zeitschrift *Nyelvtudomány* verfaßte Pavel zwei größere Aufsätze mit slowenischer Thematik: „Die Sprache der neueren wendischen Literatur“¹⁴ sowie „Wendische Textsammlung und die Geschichte der bisherigen Sammeltätigkeit“.¹⁵ Pavel gebraucht hier die Form „wendisch“ (*vend*), obwohl er es wußte, daß diese „Wenden“ eigentlich ein Zweig des Slowenentums sind. Indessen wollte er mit dieser — im damaligen Ungarn üblichen — Terminologie nicht einer *divide et impera*-Politik dienen, höchstens einer etwas „partikularistischen und regionalistischen“ Einstellung huldigen. Wir werden zu diesem Thema noch zurückkehren, da die Problematik auch in Pavels späterer Laufbahn auftaucht.

Der erste Aufsatz beschäftigt sich aus philologischem Blickpunkt mit jener kulturellen Bewegung, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts von einigen slowenischen Geistlichen des *Prekmurje* inauguriert wurde, vor allem vom Landpfarrer Josef Klekl und dem Domherrn Franz Ivanóczy. Es handelt sich eigentlich um „ein Aufblühen einer katholischen Variante der Literatur“, wie ihn der südslawische Literaturhistoriker Anton Slodnjak in der ganzen „vaterländisch-sozialen Phase der Slowenischen Moderne“ zwischen 1905 und 1918 konstatierte.¹⁶ Klekl und sein Kreis brachte zwar hauptsächlich Zeitschriften und Periodika meist religiösen Inhaltes heraus (*Marijin list*, *Novine*, *Kalendar*), indessen hatte die ganze Bewegung auch einen kulturpolitischen Hintergrund und strebte dazu, das slowenische Bewußtsein der unter ungarischer Herrschaft stehenden „Wenden“ zu stärken. Im Dienste dieser Idee wollten sie das „Wendische“ auch sprachlich der in Laibach und in den größeren Zentren Kärntens und der Krain gesprochenen „österreichisch — slowenischen“ Literatursprache annähern.

Diese Entwicklung hat nun Pavel mit einiger Sorge erfüllt, zwar nicht so sehr aus politischem, wie vielmehr aus wissenschaftlichem Grund. Er betonte zwar in seiner Darstellung der Kleklschen Bewegung die Einheit der slowenischen Sprache, wies aber gleichzeitig auf die „wendische“ Sonder-

¹⁴ A. PAVEL: A legújabb vend irodalom nyelve. *Nyelvtudomány*, Jg. 1916, S. 1—27, 102—116.

¹⁵ A. PAVEL: Vend szöveggyűjtemény s az eddigi gyűjtések története. Ebenda, Jg. 1916., S. 161—187, 263—282.

¹⁶ Vgl. ANTON SLODNJAK: Geschichte der slowenischen Literatur. Berlin 1958, S. 273.

entwicklung, auf die lokalen und regionalen Traditionen hin. Es handelte sich letzten Endes darum, daß Pavel gewisse Eigentümlichkeiten seines heimischen Dialektes (so z. B. den Gebrauch der Vokale *ö* und *ü*, und Ähnliches) nicht einer etwas papiernen „Schriftsprache“ opfern wollte. Die slowenische Literatursprache bezeichnete er sogar als „pädantisch und gekünstelt“ (*tudákos és mesterkélts*). Ohne Zweifel ein übertriebenes Urteil, geleitet jedoch nicht von „magyaronischen“, chauvinistischen Gefühlen, sondern von der ehrlichen Angst um das Verschwinden des geliebten Heimatdialekts, um das Ärmerwerden an slawistischen Forschungsmöglichkeiten, da ja die Mundarten des *Slovensko Prekmurje* viel Archaisches, Urtümlich-Slawisches bewahrten. Die slowenische Schrift- und Literatursprache ging aber trotzdem ihre Wege, und Pavel, als ehrlicher Mensch und gewissenhafter Philologe, mußte sich dem Urteil der Geschichte beugen. In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen sagte er selbst zu seinem jungen Freund Vilko Novak, dem jetzigen Ethnographen der Universität Laibach (Ljubljana), daß er seine Ansichten von 1916 schon als überholt betrachtet.¹⁷

Auch in seiner „Wendischen Textsammlung“ will Pavel noch das Recht seines Heimatdialektes zur Eigenständigkeit verteidigen, indessen ist hier das Wertvollste die Sammlung selbst: vier slowenische Volksmärchen aus Cankova und seiner Umgebung, wortgetreu aufgezeichnet, mit ungarischer Übersetzung begleitet. *Der Tote holt sich seine Geliebte*: so ist das erste Märchen betitelt, mit deutlichen Anklängen an das Lenoren-Motiv. *Wie holte sich ein Mensch seinen Taufschein aus der Hölle?* — heißt die zweite Volkserzählung, in einigen Motiven (das Erblühen des Holzklotzes) an die Tannhäuser-Sage, anderswo an die mittelalterlichen Sagen der „Höllenvanderung“ (etwa des ungarischen Ritters Lorenz Tar) erinnernd. Die dritte Erzählung: *Der Graf von Gréd und die drei Schwestern* erinnert mit dem in das Fluß ausgesetzten, dann aufgefundenen Kind an die bekannte biblische Moses-Geschichte, die vierte: *Die Räuber und der Zauberer-Student* gehört zum beliebten ungarisch-kroatisch-slowenischen Typus der *grabancijaš dijak* — Geschichten.

Wertvoll ist auch jener Passus der Einleitung, wo Pavel auf die früheren Sammler hinweist, so auf den jungverstorbenen Bauernsohn Stefan Kühár (1882—1915), der Theologiestudent war, dann aber, schwer lungenleidend, auf den Priesterberuf verzichten mußte und die letzten, zurückgezogenen Jahre seines kurzen Lebens der Sammlung und Veröffentlichung slowenischer Volkssagen und Volksüberlieferungen widmete.

4. Im großen Jahr 1919, während der Ungarischen Räterepublik schloß sich Pavel, als fortschrittlich denkender Mensch, der Kommunistischen Partei Ungarns an. Damals lebte er noch in Dombóvár und spielte in den Revolutionstagen auch im öffentlichen Leben der Stadt eine große Rolle. Der Sieg der Gegenrevolution brachte nun ihn und seine Familie in eine geradezu katastrophale Lage. Als „Kommunist und Vaterlandsverräter“ wurde er von den Herren der Horthy-Aera einem Disziplinarverfahren unterworfen. Als „belastender Umstand“ galt die Tatsache, daß der Pädagoge Pavel sich für die Lyrik des großen revolutionären Dichters Andreas Ady begeisterte und außerdem von der jugoslawischen Regierung eine — allerdings nicht angenommene — Einladung nach Laibach als Gymnasiallehrer und Privatdozent erhalten hat. Pavel drohte erst die Entlassung aus dem ungarischen Schul-

¹⁷ Vgl. *Pavel-émlékkönyv*, S. 38—44.

dienst, dann die Strafversetzung nach Miskolc. Nur nach langem Hin und Her konnte er soweit erreichen, daß er statt Miskolc nach Steinamanger (Szombathely) kam. Hier, in der geliebten Stadt seiner Jugend vergingen nun die weiteren Lebensjahre unseres Gelehrten. Warum ging er denn nicht nach Jugoslawien — könnte man fragen, da ja Cankova seit 1918 zum neuem „Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen“ gehörte und da er außerdem die Laibacher Einladung in der Tasche hatte? Pavel wußte jedoch gut, daß das als „Jugoslawien“ auftretende „großserbische Königreich“ der Karadjordjević-Dynastie ebenfalls kein allzu fortschrittlicher Staat war: außerdem verknüpften ihn Lehrjahre und Familienverbindungen immer mehr mit Ungarn. Irgendwie stand er „zwischen den Völkern“, hierin seinem älteren Zeitgenossen, dem Ödenburger (Soproner) Pädagogen und Museologen Johann Reinhold Bünker (1863—1914) ähnelnd.¹⁸

Von der pädagogischen Tätigkeit zum Museum: so verlief sowohl Bünkers, als auch Pavels Lebensweg: und beider Weg stand unter dem Leitbild der Landes- und Volkskunde. Bünker interessierte sich selbst für Slowenisches und Polnisches, Pavel aber fand, als sich die Gemüter um ihn beruhigten, in Steinamanger eine günstige Wirkungsstätte: erst als Gymnasiallehrer, dann als Direktor des Museums. Das alte Eisenburger Komitat (*Vas megye*) hatte zwar 1918—1920 einen beachtlichen Teil seines Gebietes an Österreich und Jugoslawien abgetreten: noch immer blieben aber slowenische, kroatische, deutsche Siedlungen auf ungarischem Gebiet, sodaß einem vergleichend interessierten Volkskundler und Philologen viel Raum zur Forschung da war. Die ganze Tätigkeit Pavels im letzten Vierteljahrhundert seines arbeitsamen Lebens dient aber dazu, dem Chauvinismus zu überwinden und eine sachliche Betrachtungsweise zu fördern.

Pavel begann nun seine volkskundlichen und philologischen Wanderfahrten in der näheren und fernerer Gegend Steinamangers. Als gebürtigen Slowenen interessierten ihn besonders jene neun slowenischen Dörfer, die auch nach der Grenzziehung von 1920 bei Ungarn blieben. Die Aufzeichnungen über diese Wanderfahrten befinden sich heute im Archiv des Savaria-Museums und sind — soweit sie Pavel nicht selbst in seinen Arbeiten veröffentlichte — noch unpubliziert.

Sehr interessant ist ein Blick in diese Manuskripte. Meist mit Bleistift, scheinbar unregelmäßig und „unordentlich“ hingeworfene Zeilen auf kleineren oder größeren losen Blättern, doch welche tiefe Einblicke, welche gründliche Beobachtungen! Hinter der scheinbaren „Systemlosigkeit“ verbirgt sich ein umfassendes Wissen, eine außerordentliche Fähigkeit, die Dinge richtig zu sehen und zu beurteilen. Neben der Volkssprache und der Volkspoesie interessierten unseren Forscher auch andere Zweige der Volkskultur. Er zeichnete sogar Volkslieder in Notenschrift auf. *Pavel je družil v sebi umetnika, znanstvenika in praktika* (Pavel vereinigte in sich den Gelehrten, den Künstler und den Praktiker) — konstatierte Vilko Novak sehr richtig.¹⁹

Unter dem Pseudonym „Sinek Martinek“ veröffentlichte Pavel zwischen 1907 und 1917 in verschiedenen Organen Gedichte in seiner slowenischen Heimatmundart (vgl. *Slovenec*, 29. VIII. 1936). Um 1930 ging er dann zur

¹⁸ Vgl. LEOPOLD SCHMIDT: Die Entdeckung des Burgenlandes im Biedermeier, Eisenstadt 1959., S. 117.

¹⁹ V. NOVAK in: *Slavistična Revija*, Jg. 1956., S. 198.

ungarischen Dichtung über und gab zwei Lyrik-Bände heraus. Ohne eine eingehende literarhistorische Würdigung geben zu wollen, müssen wir doch auf diese beiden Bände *Vak völgy ölén így zsolozsmázok* (So psalmodiere ich im Schoß des blinden Tales, 1933) und *Felgyújtott erdő* (Der entzündete Wald, 1936) kurz hinweisen, da sie zum Wesen des Menschen Pavel gehören und zur Erkenntnis seines geistigen Antlitzes sehr wichtig sind.

Beide Bände — die sprachlich und formal durchaus auf der Höhe ihrer Zeit stehen — verkörpern einen barock-manieristisch gefärbten Expressionismus mit starken sozialen Ober- und Untertönen, oft auch mit slawischen Volksmotiven, obzwar Pavel ungarisch dichtet. (Viele seiner Gedichte wurden dann ins Kroatische und Slowenische übertragen, so wie er selbst zeitlebens ein berufener Übersetzer südslawischer Dichtung und Prosa war.)

„Im Klassischen erscheint das Sein als das Bergende, Ord nende, Gründende, Gestaltgebende, im Manierismus als das Bedrohliche, Schreckenerregende, Zerbrechende, Behaustheit Versagende“ — sagt der deutsche Ästhetiker und Kunstkritiker Gustav René Hocke.²⁰ Nun, im diesen Sinne ist auch der barocker Expressionist Pavel durchaus als ein „moderner Manierist“ zu bezeichnen, als ein Vertreter der „ersten Welle“ jenes lyrischen Stiles, der in der heutigen Poesie Europas von den Polen bis zu den Franzosen, von den Südslawen bis zu den Deutschen so interessante Blüten entfaltet. Zitieren wir bloß eine Strophe aus dem Gedicht *Rámzuhant a város* [Die Stadt stürzte auf mich], die im Band „Der entzündete Wald“ (S. 15) steht:

*Valami névtelen, lőcslábú Rémület
hasalt élém, amint
egy keskenyedrű utca partjain
rozmaringos poggyászommal megálltam.
A párkányok, a tűzfalak
részezen felém tántorogtak,
s a gazdátlan, hebehurgya zűrzavar
csaholt körül harapós ebként.
S a következő pillanatban
reámzuhant...
reámzuhant a Város.*

*Ein namenloses, dachsbeiniges Entsetzen
legte sich vor mir auf den Bauch, als ich
auf den Ufern einer schmalbettigen Gasse
mit meinem rosmaringeschmücktem Gepäck stehen blieb.
Die Gesimse, die Brandmauern
torkelten betrunken mir entgegen,
und das herrenlose, strudelige Chaos
klefferte mich herum, als ein bissiger Hund.
Und im nächsten Augenblick
stürzte...
stürzte auf mich die Stadt..*

²⁰ GUSTAV RENÉ HOCKE: Manierismus in der Literatur. Sprach-Alchimie und esoterische Kombinationskunst. (Rowohlts deutsche Enzyklopädie, 82—83.) Hamburg 1959, S. 76.

Das „Bedrohliche, Schreckenerregende, Zerbrechende“ des manieristischen „Seinsverständnisses“ erscheint hier in ausgeprägtester Weise. Nicht umsonst treten auch makabre Motive, Vorahnungen und Beschwörungen des Todes, in Pavels Lyrik auf. Indessen ist dies alles nicht bloß ästhetisch ausgerichtet, sondern wurzelt in der tiefsten Problematik Pavels, der sich nach 1919 lange als ein Verfemter, Verfolgter fühlen mußte. Was Wunder, wenn selbst um 1930 soziale, ja sozialistische Töne in seiner Dichtung erklingen.

Ebenfalls im „Entzündeten Wald“ stehen zwei Gedichte: *Új hősré vár* (Sie — d. h. die Welt — erwartet einen neuen Helden, S. 40—41) und *Sötétedik* (Es wird dunkel, S. 75—76). Das erste Gedicht erwartet und verherrlicht den neuen Helden der Menschheit, der „im Arbeiterkittel und barfuß ankommt“ (*munkászubbonyban s mezítláb érkezik*), im zweiten erblickt der Dichter unter den abendlichen Heimkehrern der Stadt voll Mitleid und Bedauern „die Verworfenen der Stadt... die ohne Herd, bruderlos ewig Umherirrenden“ (*A Város elvetéltjei... tűzhelytelen, testvértelen örökös kőrbolygók*). Diese und ähnliche Gedichte sprechen eine deutliche Sprache, und beweisen es, daß Pavel — obzwar er in der Zwischenkriegszeit aus Existenz- und Familienrücksichten manchmal Zugeständnisse machen mußte — im innersten Herzen immer ein links eingestellter, auf den Fortschritt und den sozialistischen Humanismus orientierter Mensch blieb. Ein gutes Gedicht lügt nicht, und Pavel schrieb gute Gedichte!

Neben dem Dichter ruhte auch der Wissenschaftler nicht, und im Jahre 1927 ergab sich schon eine Gelegenheit, wenigstens einen Teil seiner slowenischen Forschungen zu veröffentlichen. Dies geschah in seinem Aufsatz „Küchen mit offenem Herd bei den ungarländischen Slowenen“.²¹ Die Volksgruppe, über die unser Gelehrte hier spricht, sind die slowenischen Einwohner jener vorher erwähnten neun Dörfer bei St. Gotthard, in der ungarisch-jugoslawisch-österreichischen „Dreiländerecke“: Rábatótfalu, Szakonyfalu, Apátistvánfalva, Orfalu, Újbalázsfalva, Permise, Ritkaháza, Alsószőlőnk, Felsőszőlőnk.

Der Hauptzweck seiner volkskundlichen Wanderfahrten in diese Gegend war die Erforschung und wissenschaftliche Systematisierung der Überreste der alten slowenischen *dívatna tűha* (rauchende, d. h. mit einem offenem Herd versehene Küche). Mit der volkskundlichen Forschung verbindet Pavel die philologische Erschließung. Er arbeitet mit der Methode der *Wörter und Sachen* und betrachtet die einzelnen Gegenstände (z. B. das Inventar der slowenischen Bauernküche) im Zusammenhang mit ihren Namen. Diese sehr nützliche Methode verwendet Pavel auch in seinen späteren volkskundlichen Forschungen. Dabei fehlt auch das „musische“ Motiv nicht. Pavel ist kein trockener, pädantischer Schilderer, er weiß das geschriebene Wort zu meistern und gibt seinen Untersuchungen und Darstellungen den poetischen Rahmen eines Reiseberichtes. Schönheit der Voralpenlandschaft, malerische Lage der Dörfer: dies alles klingt diskret, aber eindringlich im Aufsatz an.

5. Nach 1927 gibt es wiederum eine etwa sieben Jahre dauernde Zäsur im gelehrten Schaffen Pavels. Seine allgemeine Lage hat sich zwar schon gebessert, indessen geben ihm die pädagogische Tätigkeit, dann die Leitung

²¹ A. PAVEL: Nyílttűzű konyhák a hazai szlovénoknál. In: *A Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának Értesítője*, Bd. 19., Jg. 1927., S. 129—144.

der städtischen Bibliothek und des Savaria-Museums viel Arbeit und lassen keine Zeit zur wissenschaftlichen Produktion übrig. Doch auch die so verbrachte Zeit war keine vergeudete. Seine Schüler am Gymnasium liebten und schätzten ihn, die volkkundlichen Sammlungen des Museums wuchsen an und auch die Bibliothek bereicherte sich. Es war eine gute Idee Pavels, die privaten Büchereien verarmter Adelsgeschlechter aus der Umgebung kaufweise oder geschenkweise für die Bibliothek zu erwerben. Wertvolle Bestände kamen so nach Steinamanger — sie befinden sich heute in der sorgenden Obhut der Berzsenyi-Bibliothek — für eine Stadt, in der im 17. Jahrhundert die Gegenreformation festen Fuß faßte und die im 18. Jahrhundert Bischofsitz wurde, erstaunlich viele Drucke der Reformation und der Aufklärung. Der moderne Forscher kann unter diesen Beständen viel Beachtenswertes finden.

1934 gelang es dem sehr aktiven Pavel eine Zeitschrift, die *Vasi Szemle* (Eisenburger Rundschau) zu gründen, die später als *Dunántúli Szemle* (Transdanubianische Rundschau) fortgeführt wurde, und bis zum tragischen Jahr 1944 elf Jahrgänge erreichte. Eine imposante Leistung unter den kulturpolitischen Verhältnissen des damaligen Ungarn!

Pavel, der ein glänzender Organisator war, und der es verstand, die Menschen in den Dienst einer Idee zu stellen, gestaltete seine Zeitschrift zu einem zentralen Organ der Westungarn-Forschung. Aus dieser Zielsetzung erwuchs organisch die Verbindung mit Österreich einerseits, mit den Südslawen (vor allem mit den Slowenen und Kroaten) anderseits.

Erstaunlich viel Slawistisches finden wir in Pavels Zeitschrift, die oft fast zu einem ungarischem „Archiv für slawische Philologie“ wurde. Mit Laibach (Ljubljana) und Agram (Zagreb), mit slowenischen und kroatischen Wissenschaftlern, Schriftstellern, Künstlern stand unser Gelehrte in ständiger Verbindung. Frucht dieser Beziehungen waren seine vielen Berichte und Aufsätze aus dem Kreise der Slowenistik und Kroatistik, sowie der ungarisch—südslawischen Kulturbeziehungen.

Hier müssen wir einer schönen, edlen Gelehrtenfreundschaft gedenken, zwischen Pavel und dem ihm gleichaltrigen, zum Glück noch unter den Lebenden weilenden slowenischen Kunsthistoriker France Stelè. Der slowenische Gelehrte, der in der sibirischen Kriegsgefangenschaft des ersten Weltkrieges auch ungarisch lernte, ist ein guter Kenner der Welt-Kunst, meist aus eigener Anschauung.²² 1932 und 1940 besuchte er auch Ungarn, stieg bei Pavel in Steinamanger ab, besichtigte in seiner Begleitung die Fresken des spätgotischen slowenischen Malers Johannes Aquila in der Dorfkirche zu Velemér und berichtete über seine Ungarn-Erlebnisse in sehr sympathischer Art in der slowenischen Zeitung *Slovenec*. Pavel dagegen rezensierte in vornehmem und sachverständigem Ton zwei Hauptwerke Stelès: die *Monumenta artis Slovenicae* und die *Umetnost zapadne Evrope* (Die Kunst Westeuropas).²³

Der kunstsinnige und kunstverständige Pavel befreundete sich auch mit dem 1939 in Ungarn lebenden und schaffenden slowenischen Maler, Božidar Jakac, widmete ihm einen schwungvollen kleinen Aufsatz und sprach die Hoffnung eines weitgehenden ungarisch—südslawischen Kunst- und

²² Vgl. EMILIJAN ČEVČ: France Stelè — umetnostni zgodovinar (Der Kunsthistoriker Fr. St.). Laureae F. Stelè septuagenario oblatae. *Zbornik za umetnostno zgodovino*, N. V., V/VI, Ljubljana 1959., S. 5—19.

²³ Vgl. *Vasi Szemle*, Jg. 2., S. 116 und 287—8, Jg. 3., S. 302—3.

Kulturaustausches aus.²⁴ Es ist nicht Pavels Schuld, daß diese schönen Pläne nicht ausgeführt werden konnten.

Aus der slowenischen Gelehrtenwelt hatte Pavel vor allem mit dem Linguisten Fran Ramovš, dem Historiker Milko Kos, dem Literaturhistoriker Mirko Rupel enge Verbindungen. Ramovš' *Kratka zgodovina slovenskega jezika*, I (Kurze slowenische Sprachgeschichte), Ramovš' und Kos' *Brižinski spomeniki* (Freisinger Denkmäler), Rupels Monographie über den barocken Prediger Janez Svetokriški—Tobija Lionelli — all diese Bücher hat er fachmännisch und doch liebevoll besprochen, dabei immer auf die ungarisch—slowenischen Querverbindungen hinweisend.²⁵

Interessant ist Pavels wiederholt wiederkehrende Rubrik *Hungarica in Slovenia (et in Croatia* — müßten wir hinzufügen). Hier finden wir u. a. Besprechungen des kroatischen Organs *Obitelj* (Die Familie) mit Hinweisen auf die Artikel ungarischen Inhaltes in dieser Zeitschrift; dann eine Würdigung des *Prekmursko Muzejsko Društvo* (Museumsverein des Prekmurje), in dessen Verlag zwei Studien des verdienten Lokalhistorikers Ivan Zelko und des uns schon bekannten Vilko Novak erschienen sind. Bei der Besprechung des *Mladi Prekmurec* (Der junge Murländer) weist Pavel auf Begabung und Bedeutung des slowenischen Erzählers Miško Kranjec hin, dann rezensiert er mit viel Anerkennung die fortschrittliche Zeitschrift *Sodobnost* und gibt wertvolle Hinweise auf das grundlegende Buch des slowenischen Slawisten Franc Grivec: *Slovenski knez Kocelj* (Der Slowenenfürst Kocelj).²⁶

Das ist ein Problemkreis, das nicht nur auf der Höhe der Zeit steht, sondern auch in die Zukunft weist. Der als Mensch und als Dichter gleich sympathische Miško Kranjec entwickelte „sich bald zum führenden sozialen Realisten“: sein Schaffen erweiterte „nicht nur den Stoffkreis der slowenischen Erzählung, sondern bereicherte auch ihre stilistische und gedankliche Fülle“ (Anton Slodnjak). Pavel korrespondierte zwischen 1935 und 1940 auch mit Kranjec. Drei seiner Briefe gab jüngst Franc Zadavec heraus.²⁷ Auch Ivan Zelko führte in der Nachkriegszeit mit erfreulichem Eifer seine lokalhistorischen Forschungen fort. Es gelang ihm, interessante Querverbindungen zwischen der Siedlungsgeschichte und der romanischen Architektur des *Prekmurje* zu finden.²⁸ Die von Pavel gelobte *Sodobnost* war aber eine marxistisch orientierte Zeitschrift. Aus ihrem Kreis kamen viele Mitkämpfer des antifaschistischen Partisanen-Krieges.

Vilko Novak, dessen Name wiederholt auftauchte, betrachtete sich als einen Schüler Pavels. Um 1930, als sich die Verhältnisse in Südosteuropa einigermaßen konsolidierten, wurde auch der Verkehr zwischen Ungarn und Jugoslawien leichter. Pavel nahm mit Freude die Gelegenheit wahr, sein Heimatdorf zu besuchen, und dann bis in die slowenischen Alpen oder bis zur Adria vorzustoßen. Novak befreundete sich während diesen Jugoslawien-Reisen mit Pavel, besuchte ihn auch in Ungarn, würdigte in der Zeitung *Slovenec* regelmäßig seine Tätigkeit und hielt 1956 bei der Steinamangerer

²⁴ Vgl. *Dunántúli Szemle*, Jg. 7., S. 217.

²⁵ Vgl. *Vasi Szemle*, Jg. 5., S. 269.

²⁶ Ebenda, Jg. 6., S. 103—105.

²⁷ SLODNJAK, Geschichte der slowenischen Literatur, S. 351. Vgl. auch F. ZADAVEC: Trije Pavlovi dopisi Mišku Kranjcu. *Svet ob Muri*, Jg. 3 (1958), S. 258—259.

²⁸ Vgl. IVAN ZELKO: Romanska arhitektura in naselitvena zgodovina Prekmurja. *Laureae Fr. Stelè oblatae*, S. 235—244.

Pavel-Feier (wobei eine Gedenktafel enthüllt wurde) die Festrede. Überhaupt wußte Pavel junge, heranreifende Talente für seine Arbeit heranzuziehen, so etwa den ungarischen Historiker Heinrich Fodor, der selbst zum Mitarbeiter der *Vasi Szemle* wurde und seinen Meister 1940 auch zu einer Vortragsreise nach Slowenien begleitete.

Die Zeitschrift Pavels ist eine wahre Fundgrube slawistischer Beiträge. Indessen war er auch als Mitarbeiter Budapester Zeitschriften gern gesehen und veröffentlichte in ihnen wichtige Aufsätze nicht nur über kroatische, und slowenische, sondern auch über bulgarische Literaturprobleme. 1938 würdigt er z. B. in der linksgerichteten Budapester Zeitschrift *Literatura* den großen bulgarischen Realisten Elin Pelin.²⁹ Zwei Jahre später schreibt er ein Sammelreferat über einige Anthologien moderner kroatischer Lyrik, wobei er mit großer Hochschätzung über Miroslav Krleža spricht, den Dichter und Schriftsteller, der schon damals zu den Führern der kroatischen Literatur gehörte, heute aber unzweifelhaft der Dichterstern Jugoslawiens ist.³⁰

Pavels Lieblingsgestalt in der modernen südslawischen Literatur war der große slowenische Dichter und Erzähler Ivan Cankar (1876—1918). Mehrere Werke Cankars übersetzte er ins Ungarische, unter anderem den berühmten Roman *Hlapec Jernej in njegova pravica* (Der Knecht Jernej und sein Recht). Dieses realistische Meisterwerk, erfüllt von bitterer Gesellschaftskritik, erlebte auch nach Pavels Tod mehrere neue ungarische Ausgaben, sowohl in Ungarn, als auch in Jugoslawien. Pavel, der ein glänzender Übersetzer war, voll philologischer Gründlichkeit, aber auch poetischen Schwunges, schuf damit eine Spitzenleistung, im Dienste nicht nur der ungarisch—slowenischen Freundschaft, sondern auch der Vertiefung der weltliterarischen Kultur Ungarns. Die Übersetzung wurde von der ungarischen Kritik sehr günstig aufgenommen. Kein geringerer, als Josef Turóczi-Trostler, dieser hervorragende Fachmann der Weltliteratur würdigte Pavel als einen „vorzüglichen Kenner südslawischer Welt, der mit geübter Hand die Brücke zu schlagen vermag zwischen zwei Sprachwelten.“ (*Pester Lloyd*, 14. VIII. 1937.) — Auch ein ausgezeichnete Cankar-Aufsatz stammt aus Pavels Feder, den er 1937 in der Budapester Zeitschrift „Der Westen“ (*Nyugat*), einem Organ der progressiven und demokratischen Intelligenz veröffentlichte.³¹ In knapper Kürze, aber umso eindrucksvoller würdigt er hier die dichterische Größe Cankars, seinen revolutionären Geist, seine betont soziale Haltung. Auch jene Verfolgungen werden plastisch geschildert, denen Cankar, der kühne Neuerer, von Seiten der slowenischen Bourgeoisie und des Klerus ausgesetzt war. Sehr richtig bestimmt Pavel die literarhistorische Stellung des großen Slowenen, indem er ihn neben Tolstoj, Čechov und Gorkij stellt. (Pavel war zeitlebens ein guter Kenner der russischen Sprache, ein echter Freund der russischen Literatur.)

6. Anfang 1941, einige Wochen bevor Ungarn in den faschistischen Raubkrieg gegen Jugoslawien und die Sowjetunion eingetreten war, gelang es Pavel, sich als Privatdozenten der slawischen Philologie an der Universität Szeged zu habilitieren. Er war schon 55 Jahre alt: die wissenschaftliche Öffentlichkeit Ungarns konnte sich nunmehr nicht vor der Anerkennung seiner opfervollen Lebensarbeit abschließen. Und Pavel setzte auch in den

²⁹ A. PAVEL: Elin Pelin, a bolgár Gorkij. *Literatura*, Jg. 13 (1938), S. 273.

³⁰ Ders.: Horvát lírai antológiák. *Katolikus Szemle*, Jg. 54 (1940), S. 123—124.

³¹ A. PAVEL: Cankar Iván. *Nyugat*, Oktober-Heft 1937., S. 281—283.

schweren, von Slawenhaß erfüllten Kriegsjahren seine Arbeit mutvoll fort. Fünf Semester hindurch — vom I. Semester des Studienjahres 1941/42 bis zum I. Semester des Jahres 1943/44 — hielt er in zwei Wochenstunden Vorlesungen an der Universität Szeged über das Thema „König Mathias in der slowenischen Volksüberlieferung und Literatur“. Aus den Vorlesungs-Verzeichnissen der Universität sehen wir, daß Pavel dieses Kolleg hauptsächlich für Studenten der Literatur und Philologie, der Geschichte und Volkskunde hielt. Es gelang ihm wirklich aufmerksame Schüler zu erziehen, in schweren Zeit in ihnen den Sinn für die slowenische Dichtung und für die ungarisch—südslawischen Kulturbeziehungen zu wecken. Der Szegeder Schriftsteller Stefan K. Nagy gedachte noch 1956 mit Dankbarkeit der wertvollen Szegeder Kulturarbeit und wissenschaftlichen Tätigkeit Pavels.³²

Er wohnte weiterhin in Steinamanger (Szombathely), mußte also allwöchentlich die lange Bahnreise nach Szeged und zurück absolvieren, in den in jeder Hinsicht schweren Jahren des zweiten Weltkrieges. Er brachte aber gern dieses Opfer und hatte den Plan, aus dem reichen Material seiner Vorlesungen ein Buch herauszubringen. Das baldige Ableben des Gelehrten vereitelte leider diesen Plan, und das wertvolle, unersetzliche Manuskript (an die 400 Maschinenseiten!) ist nach seinem Tode verloren gegangen. Nur ein résuméartiges Fragment seiner Arbeit konnte er noch zu Lebzeiten veröffentlichen, in der Fünfkirchner (Pécsér) Zeitschrift „Unser Schicksal“ (*Sorsunk*), unter dem Titel „König Mathias und die Slowenen“.³³ In knappen Zügen wird hier die slowenische volkstümliche Mathias-Tradition geschildert, ihre Hauptschöpfungen kurz analysiert, die mythischen und historischen Wurzeln dieser Überlieferung aufgedeckt und dann auf das Mathias-Motiv bei Ivan Cankar hingewiesen.

Diese Mathias-Problematik steht auch im Mittelpunkt jenes Aufsatzes, den Pavel 1943 in deutscher Sprache veröffentlichte: „Ungarn und die Slowenen“. Der Aufsatz erschien im Sammelband „Ungarn und die Nachbarvölker“.³⁴ Aber nicht nur vom slowenischen Mathias-Mythos spricht hier Pavel, sondern auch von anderen Aspekten der ungarisch—slowenischen Wechselseitigkeit. Sehr richtig weist er auf die *Gegenseitigkeit* der kulturellen Beziehungen und Einflüsse hin: „Dieser Einfluß war von Anfang an gegenseitig, obwohl es sich aus der Natur der Sache ergibt, daß in der ersten Zeit der slowenische Einfluß stärker war, da ja das Ungartum, das den christlichen Glauben angenommen und sich der christlich-abendländischen Gemeinschaft angeschlossen hatte, die umformenden Einflüsse zunächst durch die Vermittlung jener Völker erhielt, mit denen es im Karpatenbecken in unmittelbare Berührung kam. Es ist bekannt, welch bedeutsamer Anteil in dieser Hinsicht dem Slowenentum zukam, besonders in den grundlegenden Fragen der Bekehrung, sowie der europäisch-christlichen Kultur und Staatsordnung.“³⁵

Dieser sachliche, echt wissenschaftliche Ton durchzieht die ganze gelungene Abhandlung, auch jene Teile, wo ungarische Kultureinflüsse behandelt werden. Beachtenswert sind auch hier die Hinweise auf Ivan Cankar und

³² ST. K. NAGY: Délszláv művek magyarul (Südslawische Werke ungarisch). *Tiszatáj* (Szeged), Jg. 1956., S. 418—421.

³³ A. PAVEL: Mátyás király és a szlovének. *Sorsunk*, Jg. 1942., S. 197—202.

³⁴ *Ungarn und die Nachbarvölker*, hg. von St. Gál. Budapest 1943., S. 123—140.

³⁵ Ebenda, S. 124.

Miško Kranjec, sowie die Bibliographie, in der fast alle Größen der slowenischen Wissenschaft figurieren: Ivan Grafenauer, Franc Grivec, Ljudmil Hauptmann, France Kidrič, Milko Kos, Vilko Novak, France Stelè. Lauter Gelehrte, die nicht nur europäische Berühmtheit besitzen, sondern mit denen Pavel auch persönliche Verbindungen hatte.

Auch der Dienst an slowenischer Dichtung wird in diesen schweren Jahren des faschistischen Krieges fortgesetzt. Es ist kein Zufall, daß Pavel gerade in den Jahren 1941—43 eine ganze Reihe von Schöpfungen ausgesprochen fortschrittlicher slowenischer Dichter und Schriftsteller übersetzt und in verschiedenen ungarischen Zeitschriften veröffentlicht: Aškerc, Levstik, Prežihov Voranc, Oton Zupančič. Auch aus der serbischen Volkspoesie publiziert er Übersetzungen, mit interessanten einleitenden Bemerkungen. In einer Zeit chauvinistischen, von den Faschisten geschürten Serbenhasses war das eine große Tat! Außerdem gab Pavel in seiner Zeitschrift Raum dem jungen, fortschrittlichen slowenischen Dichter Rudolf Branko, der vor den deutschen und italienischen Faschisten nach Ungarn flüchtete und hier einige schöne Petöfi-Übersetzungen schuf. Es waren gerade betont revolutionäre Gedichte Petöfis, die der junge Slowene übersetzte. Pavel veröffentlichte sie im Jahre 1943: wiederum eine entschlossene, mutige Tat!³⁶

Im Herbst 1942 schloß Pavel das Manuskript seiner ungarisch geschriebenen „Wendischen Grammatik“ (*Vend nyelvtan*) ab. Es umfaßt an die 200 Maschinenseiten und ist die erste komplette, wissenschaftliche Bearbeitung des slowenischen Dialektes der Murgegend, seiner Phonetik, seiner Laut-, Formen- und Satzlehre. Im Vorwort spricht der Verfasser davon, daß er jetzt einen Auszug aus jenen Forschungen geben will, die er zwischen 1906 und 1916 trieb und die sich mit der slowenischen Mundart seiner Heimatlandschaft beschäftigten. Wir selbst wiesen darauf hin, daß er schon 1918 an die Möglichkeit einer solchen Veröffentlichung dachte. Das Thema lag ihm besonders nahe, da ja seine Muttersprache eben die „wendische“ Mundart von Cankova war.

Jetzt, im Jahre 1942 mußte er allerdings gewisse Konzessionen machen, nicht von einer „slowenischen“, sondern von einer „wendischen“ Grammatik sprechen und auch die alte, schon längst überholte „ungarische“ Orthographie verwenden. Trotzdem betonte er im Vorwort, daß das „Wendische“ nur eine Abart des Slowenischen ist und entschuldigte sich wegen der „notgedrungenen Unfachmäßigkeiten“. Das alles hing aber mit der politischen Lage zusammen. Anläßlich des faschistischen Feldzuges gegen Jugoslawien geriet Horthy-Ungarn 1941 wiederum in den Besitz des *Slovensko Prekmurje*, des „Wendenlandes“. Freilich wurde alles getan, um das slowenische Bewußtsein der Bevölkerung zu schwächen, ja zu vernichten. Das Slowenische wurde im Unterricht bloß als „Behelfsmittel“ geduldet. Endziel war die völlige Magyarisierung. Leider gab es auch Renegate, slowenische „Magyaronen“, die diesen Prozeß förderten und die auch vor den dümmsten Geschichtsfälschungen nicht zurückschreckten, so vor der These von der angeblichen „keltischen“ Herkunft der *Prekmurje*-Slowenen.³⁷ — Pavel wollte dagegen den slowenischen Charakter, das slowenische Volk seiner Heimatlandschaft

³⁶ A. PAVEL: Újabb szlovén Petöfi-fordítások (Neuere slowen. Petöfi-Übersetzungen). *Dundántúli Szemle*, Jg. 1943., S. 323—325.

³⁷ Vgl. MIROSLAV KOKOLJ: Prekmursko šolstvo v času okupacije. *Svet ob Muri*, Jg. 3 (1958), S. 271—307.

retten. Daher entschloß er sich, nicht von „slowenischer“, sondern von „wendischer“ Sprache zu reden, um damit weniger Anstoß bei den nationalistischen Elementen Horthy-Ungarns zu erregen. Indessen erkannten die Chauvinisten seine wahre Absicht, schlugen in der Presse und bei den Behörden Lärm und vereitelten die Ausgabe der Pavelschen „wendischen Grammatik“, sehr zum Schaden der Wissenschaft, da ja hier wertvollstes Mundarten-Material verarbeitet wurde. Zum Glück blieb wenigstens das Manuskript erhalten und befindet sich heute im Archiv des Savaria-Museums.

Intensiv beschäftigte sich Pavel in diesen Jahren auch mit volkskundlichen Problemen des Eisenburger Komitates. Ungarische, südslawische, ja auch deutsche Probleme tauchen in seinen diesbezüglichen Arbeiten auf, die überall die Methode der „Wörter und Sachen“ verwenden. 1942 erschien sein Aufsatz über den Fang des Krammetvogels im „Wendenland“ und im Órség,³⁸ 1949, schon aus dem Nachlaß, die Studie über „Kürbisanbau und Ölpressung in der Gemeinde Szalafő“.³⁹

Der Slawenfreund, Humanist und fortschrittlich gesinnte Gelehrte knüpfte in den Kriegsjahren auch mit den heimatvertriebenen Polen Beziehungen an. Er sprach ja gut polnisch und interessierte sich für polnische Sprache und Literatur. Am 19. Dezember 1943 veröffentlichte die in Budapest erscheinende Zeitung der vor dem Faschismus geflüchteten polnischen Patrioten *Więści Polskie* [Polnische Nachrichten] einen Bericht des Schriftstellers Franciszek Persowski über seinen Besuch im Savaria-Museum und über die Begegnung mit Pavel, der den Gast in seiner Muttersprache begrüßte und im Gespräch den *Pan Tadeusz* zitierte. Begeistert denkt Persowski an diese Begegnung:

Czyż może być coś bardziej miłego dla nas, jak właśnie tych pare wierszy, wypowiedzianych ustami Węgra. Niespodzianka miłsza, aniżeli wszystkie zabytki muzealne. Tu mówi żywa dusza narodu. Wyraża swe uczucia słowami, jak my, stęsknionego wieszczą naszego. Bo profesor Pavel poznawał też Polskę, poznawał ją w najcelniejszych przejawach jej ducha.

[Was könnte uns lieber sein, als eben diese Paar Verse, ausgesprochen durch den Mund eines Ungarn. Eine liebere Überraschung, als alle musealen Altertümer. Hier spricht die lebende Seele des Volkes. Sie drückt ihre Gefühle, die auch die unsrigen sind, durch den Mund des sehnsuchterfüllten Sehers aus. Professor Pavel kannte auch Polen, er lernte es in den wertvollsten Kundgebungen seiner Seele kennen.]

So fühlte und dachte Pavel in den Jahren des Faschismus, in den Jahren, wo der Feind alles Slawische auszutilgen versuchte. Und im Katastrophenjahr 1944 zeigte er den größten persönlichen Mut, als er alles versuchte, um die Slowenen seiner Heimatlandschaft vor den pfeilkreuzlerischen Terror-Aktionen zu retten. Sein mutiger Einsatz hat auch Erfolge gehabt.

Am 29. März 1945 vertrieb die siegreich vordringende Sowjet-Armee die Faschisten aus Steinamanger. Die Stunde der Befreiung ist gekommen! Für unseren Gelehrten eröffneten sich neue Möglichkeiten, neue Perspektiven. Er plante eine russische Grammatik, eine südslawische Balladen-Sammlung

³⁸ A. PAVEL: Rigászás a Vendvidéken és az Órségben. *A Néprajzi Múzeum Értécsítője* [Anzeiger des Volkskunde-Museums, Budapest], Jg. 1942., S. 141—163.

³⁹ *Ders.:* Töktermelés és olajütés Szalafőn. *Ethnographia*, Jg. 1949, S. 139—154.

und hoffte, nunmehr zum Ordinarius der slawischen Philologie an der Universität Szeged ernannt zu werden. Indessen überfiel ihn eine tückische Krankheit und im Dezember 1945 mußte er ins Spital. Noch im Krankenzimmer arbeitete er, schrieb Briefe, empfing Besuche, entwarf Pläne. Doch seine Kräfte waren schon gelähmt, sein Zustand verschlechterte sich und Anfang 1946 verschied er. Seine schönen Pläne konnten nicht verwirklicht werden, aber auch so wirkt das, was er im Leben leistete und leisten konnte, imposant. Das Lebenswerk Pavels ist und bleibt ein bedeutsames Dokument nicht nur der ungarischen Slawistik, sondern auch der ungarisch—slawischen Wechselseitigkeit. Es wäre nunmehr eine lohnende Aufgabe, den ganzen Nachlaß dieses großen Gelehrten zu ordnen, Ungedrucktes herauszugeben, den erhaltenen Briefwechsel zu veröffentlichen und so sein Bild noch mehr abzurunden, noch anschaulicher zu gestalten.

Der Schatzfund von Tokaj und seine byzantinisch-slawischen Beziehungen

Z. KÁDÁR

Zum Problemkreis der ungarisch—slawischen Wirtschafts-, Gesellschafts- und Kulturbeziehungen im östlichen Teil des Karpatenbeckens finden wir die meisten Dokumente im Raum der oberen Theiß. Im Gebiete des Nyírség und Szamoslát, das zu den ältesten Siedlungsgebieten des Ungartums gehört, können wir — laut Stefan Kniezsa — das Erscheinen slawischer Siedlungen ohne Zweifel in den Zeitraum vor dem 11. Jahrhundert setzen.¹ Andererseits führte der Weg von Kiew nach Pest und weiter nach Westen durch dieses Gebiet, vor allem auf der Flußlinie der Theiß. Archäologische Ergebnisse beweisen es, daß dieser Weg die Hauptverkehrsader des ungarländischen Handelsnetzes im 10. Jahrhundert war.²

Die Erforschung dieses Gebietes kann deshalb zur weiteren Erleuchtung der ungarisch—slawischen ethnischen Symbiose führen,³ vor allem aber zur Erhellung der ungarisch—slawischen, besonders ungarisch—russischen Handels- und Kulturbeziehungen in der Periode nach der ungarischen Landnahme. Wenn wir aber den Denkmälerbestand des zu untersuchenden Gebietes in einen weiteren osteuropäischen Rahmen stellen wollen, so müssen wir freilich auch der größten Kultur- und Wirtschaftsmacht des hochmittelalterlichen Osteuropas, Byzanz, genügend Beachtung schenken.

Die Aufgabe dieses kleinen Aufsatzes kann freilich die Aufdeckung aller Fäden des weitverzweigten Problemkreises nicht sein. Allein, wir wollen uns im Zusammenhang mit einer bestimmten Fundgruppe ausführlicher mit der Frage befassen, wie sich das mit Byzanz und der slawischen Welt zusammenhängende archäologische Material des zu untersuchenden Gebietes in das osteuropäische Handels- und Kulturnetz eingliedert. Mit archäologischen Funden spezifisch ungarischer Prägung befassen wir uns nur dann, wenn dieselben zusammen mit byzantinischen oder slawischen Gegenständen ge-

¹ I. KNEZSA: Magyarország népei a XI. században [Die Völker Ungarns im 11. Jhd.], Szent István-émlékkönyv [Sankt-Stefans-Festschrift], Budapest 1938, 413. — Die slaw. Ortsnamen des Nyírség und der Theiß—Szamos-Gegend vgl. ebenda, 412, ferner E. MOÓR: Die slawischen Ortsnamen der Theißebene. ZONE, VI., 25 ff., 108 ff.

² GY. LÁSZLÓ: Budapest a népvándorlás korában [Budapest zur Zeit der Völkerwanderung]. In: Budapest története [Die Gesch. von Bp.], I. 2. Budapest 1942, 802

³ Zur Klärung der ethnischen Probleme ist auch die Hilfe der anthropologischen Forschung wichtig. Das Anthropologische Institut der Debrecener Kossuth-Universität plant eine anthropologische Bearbeitung der auf dem Gebiet von Szabolcs-Szatmár und Hajdu-Bihar gefundenen Friedhöfe des 9—11. Jahrhunderts, mit besonderer Beachtung der Anthropologie des Slawentums.

funden wurden, da ja dieses Gebiet aus dem Blickfeld der Archäologie des landnehmenden Ungartums schon ausführlich bearbeitet wurde.⁴

Eine vollständige Monographie der bisher entdeckten slawischen Funde der oberen Theißgegend konnte noch nicht erscheinen, da Géza Fehér, der gewesene Extraordinarius der Universität Debrecen, vor Abschluß seiner diesbezüglichen Arbeit starb. Der uns zu Verfügung stehende Rahmen verbietet es, uns mit dem ganzen Fundmaterial dieses Gebietes zu beschäftigen. Daher wollen wir unsere Bemerkungen auf einen wichtigen Fund beschränken.

Aus dem Material eines einzigen Fundes kann man freilich nur dann Folgerungen schließen, wenn wir es mit verwandten Funden in Beziehung stellen und das Wesentliche dabei hervorheben. Da unsere Hauptaufgabe die Erhellung der byzantinisch—slawischen Beziehungen ist, an Hand einer archäologischen Analyse der Funde aus dem Raume der oberen Theiß, mußten wir als Mittelpunkt der Untersuchung einen solchen Schatzfund wählen, dessen Charakter neben den slawisch oder ungarisch erscheinenden Stücken vor allem die byzantinischen Stücke bestimmen. Bei der Auswahl der vergleichenden Materials führte uns ebenfalls dieses Prinzip.

Der Fund, mit dem wir uns in diesem Aufsätze beschäftigen wollen, ist in der Fachliteratur als „Schatzfund von Tokaj“ bekannt. Im Jahre 1896 kam das Material — durch einen Antiquitätenhändler — in die Sammlung des Ungarischen Nationalmuseums. Der Verkäufer behauptete, der Schatzfund stamme aus der Gegend von Tokaj. Er besteht aus etwa hundert Stücken, größtenteils aus Schmuckgegenständen, aber wir finden auch drei byzantinische Gewichte mit den dazu gehörenden Klammern, sowie zwölf byzantinische Münzen.

Laut Joseph Hampel, der den Fund veröffentlichte, stammten die Gegenstände aus verwüsteten Gräbern,⁵ indessen überzeugte er sich später davon, daß sie in Tongefäßen gefunden wurden, daß es sich also um einen verborgenen Schatz handelt.⁶ Wir bringen nun die erste photographische Veröffentlichung des für ungarische Verhältnisse außerordentlich reichen Schatzfundes. In Betracht der Photographie erübrigt es sich, Detailbeschreibungen eines jeden Gegenstandes zu bieten. Unser Ziel soll vielmehr eine Charakterisierung der zusammengehörenden Gegenstandsgruppen sein, sowie ihr Vergleich mit den wichtigsten Analogien.

Eine der reichsten Gruppen des Schatzes bildet die aus fünfzehn Stücken bestehende, gelenkige Gürtelschmuckgarnitur. Es handelt sich um blätterförmige Gegenstände aus Silberblech, die tiefer liegenden Teile sind vergoldet, die höheren bewahrten die Originalfarbe des Silbers. Sie bestehen aus zwei miteinander verbundenen Teilen, beide sind herzförmig, der obere Teil wirkt blumenartig, der untere ist in der Mitte durchbrochen und endet

⁴ Wir denken vor allem an die Forschungen von J. HAMPEL, A. JÓZSA, L. KISS, N. FETICH und Gy. LÁSZLÓ. Vgl. außerdem noch J. BANNER—I. JAKABFFY: A Középdunamedence régészeti bibliográfiája a legrégebbi időktől a XI. századig [Archäol. Bibliographie des mittleren Donaupraumes von der ältesten Zeit bis zum 11. Jhd.] Budapest 1954, 514 ff.

⁵ B. KÖVÉR (J. HAMPEL) in: Archaeologiai Értesítő (Arch. Ért.), 1897 (XVII) 233, sowie HAMPEL: A régebbi középkor emlékei Magyarhonban [Denkmäler des älteren Mittelalters in Ungarn], Budapest 1897, II, 495. [gekürzt: RKEM.]

⁶ J. HAMPEL: A honfoglaláskor hazai emlékei [Die ungarländ. Denkmäler der Landnahmezeit]. In: A magyar honfoglalás kútfoi [Quellen der ung. Landnahme, gekürzt MHK], Budapest 1901. Kap. VI, ferner derselbe: Altertümer des frühen Mittelalters in Ungarn [gekürzt: AFMU], Braunschweig, 1905, II, 489.

in einer Palmettenspitze (Inventarnummer 10/1896. 5—16; 110/1896. 9—11. h. 8, Größe: 3,5 cm, Gesamtgewicht 1960 gr.)⁷ (Tafel I—IV.)

Unter den ungarländischen Analogiestücken können wir die einfacheren, nicht durchbrochenen des Fundes von Tolnaszántó erwähnen;⁸ die fast genaue Kopie des unteren Gliedes finden wir in den Grabfunden von Székesfehérvár-Demkóhegy (Stuhlweißenburg)⁹ und Rákospalota.¹⁰ Weitere Analogien sind aus dem Friedhof von Szeged-Bojárhalom bekannt.¹¹ Zum oberen Glied stehen in formeller und technischer Hinsicht die blumenförmigen Silberornamente des Fundes von Benepusztá bei Kecskemét am nächsten.¹² Ähnliche Gegenstände sind auch aus dem ungarischen Fundmaterial der Südukraine in Kiew bekannt. Den Prototyp dieser Gegenstände sucht Nándor Fettich im archäologischen Material der Avarenzeit: sie kommen auch unter den Funden der sog. Minusinsk-Steppenkultur des 9. Jahrhunderts vor.¹³ Bezeichnend für die Verbreitung des Typus ist die Tatsache, daß er in abgewandelter Form auch im fernen Norden, im Schatz von Vårby (Schweden, 10. Jahrhundert) vorkommt.¹⁴

Stücke von verwandter Technik, doch kleineren Maßstabes sind die silbernen Kleiderschmucke in vierblättriger Rosettenform. Ihre Spitze endet in einem Dreipaß, in den inneren Winkeln sieht man je eine Beule, unten aber vier Ohren zum Anhaften. Vier solche Stücke gab es im Schatzfund. (Inventarnummer 105/1896 1—4, Höhe 4,9 cm, Breite 4,4 cm.) (Tafel V., Abb. 1—4.)¹⁵ — Aus dem erwähnten Fund von Székesfehérvár-Demkóhegy kennen wir die fast vollkommene Analogie dieses Typus.¹⁶

In ähnlicher Weise spiegeln den künstlerischen Geschmack des landnehmenden Ungartums jene kleinen, runden Silberplatten, in deren Mitte ebenfalls eine Blume mit vier Blättern zu sehen ist. Die Blätter werden durch gebogene, senkrecht gegliederte Streifen miteinander verbunden. Hinten gibt es vier Öhrlein zum Anheften.¹⁷ Aus dem Tokajer Fund sind acht Stücke bekannt (Inv. Nr. 10/1896, 1—8. Durchmesser: 2,3 cm, Gewicht je 3,5 gr, zusammen 26 gr.) (Taf. V., Abb. 5—12). Die nächsten Analogien kennen wir aus dem Fund von Bodrogvécs.¹⁸ Mit dem Fund von Bodrogvécs eng ver-

⁷ B. KÖVÉR (J. HAMPEL), Arch. Ért., 1897 (XVII), 234, Abb. I., J. HAMPEL, RKEM II, 494, Taf. CCCXXXVIII A., sowie: MHK, 568, Taf. XXVI, 1—2 und AFMU, II, 490, A, Fig. 1—2 a. — Photographien zuerst publiziert in: Magyar Múvelődéstörténet [Ung. Kulturgesch.], hg. von S. DOMANOVSKY, Bd. I., Budapest o. J., 85.

⁸ B. KÖVÉR (J. HAMPEL), Arch. Ért. 1897 (XVII), 234, sowie HAMPEL, AFMU, I 758, Fig. 2312.

⁹ B. KÖVÉR (J. HAMPEL) a. a. O., 234. Hampel, AFMU, I, 759, Fig. 2313.

¹⁰ HAMPEL, MHK, 192—193.

¹¹ B. KÖVÉR (J. HAMPEL), a. a. O., 234. Hampel, AFMU, I, 759, Fig. 2314. Gy.

LÁSZLÓ: A honfoglaló magyar nép élete [Das Leben des ung. Volkes der Landnahmezeit]. Bupaest 1944, Taf. XVI. Á. Cs. Soós: Die Ungarn. Archäologische Funde aus Ungarn, hg. v. E. B. THOMAS. Budapest 1956, 376—377.

¹² B. KÖVÉR (J. HAMPEL), a. a. O., 234.

¹³ N. FETTICH: A honfoglaló magyarság fémművészége — Die Metallkunst der landnehmenden Ungarn. Archaeologia Hungarica XXI (Textband), Budapest 1937, 219. Tafelband ebenda: XXIII, 1—10.

¹⁴ FETTICH, a. a. O., Textb. 219, Taf. bd. XX. 1—6, XIX. 14.

¹⁵ Ders. Textbd. 238, Taf. bd. LXXXVI. 1, 5, 6.

¹⁶ B. KÖVÉR (J. HAMPEL), a. a. O., 234, Abb. I, 3—4. Hampel, MHK, 568, Taf. XXVI, 3—4, sowie AFMU, II, 490. A. 3—4.

¹⁷ HAMPEL, AFMU, I. 747, Fig. 2248, III. Taf. 395, 28—29.

¹⁸ B. KÖVÉR (J. HAMPEL), a. a. O., 234, Taf. II, sowie MHK, 568, Abb. XXVI und AFMU, II, 490. B.

wandt sind auch jene einundzwanzig vergoldeten Bronzeagraffen mit zwei Ohren, die nach Hampels umfassender Publikation in das Ungarische Nationalmuseum kamen und die er darum nur später und nur kurz erwähnt.¹⁹

Die erwähnten Schmuckstücke sind rhombusförmig. Ihre Spitzen werden durch kreisförmige, ihre Seiten durch perlenförmige Ornamentik verziert. Hinten gibt es auch hier zwei Ohren (Taf. III., Abb. 18—25, Inv. Nr. 65/1897, 7—28, Maßstab: Höhe 2,1 cm, Breite 1,2 cm, ausgenommen die Nr. 8., bei uns: Taf. VI., Abb. 2., hier die Höhe 1,9 cm, die Breite 0,9 cm). Von diesen Schmuckgegenständen stellte schon Elek Kada fest, daß sie zur Verzierung des Hemdkragens dienten.²⁰ Mit ihrer Rekonstruktion und ihrer Bedeutung befaßte sich Gyula László eingehend.²¹

Von den vielen Analogien erwähnen wir die topographisch nahe liegenden, in den Gräbern von Basahalom bei Tiszaeszlár (Komitat Szabolcs-Szatmár) gefundenen ähnlichen, jedoch einfacheren Stücke aus der Zeit der ungarischen Landnahme.²² In den erwähnten Funden fand man auch viele als Kleiderschmuck dienenden Knöpfe,²³ die gute Analogien zum großen, mit einem Ohr versehenen Knopf des Schatzes von Tokaj (Inv. Nr. 65/1897, 8., Durchmesser: 1,55 cm, Länge 2,1 cm, Taf. VI., Abb. 12), sowie zum ebendort gefundenen kleinen Knopf (Inv. Nr. 65/1897, 5—6, das Bild der beiden Hälften: Taf. VI., Abb. 21 a—b, Maßstab: Höhe 1,7 cm, Breite 1,1 cm)²⁴ darbieten.

Hier müssen wir auch eine kleine Silberperle erwähnen (Inv. Nr. 65/1897, 3—4., Durchmesser 7 mm, Tafel VI., Abb. 13 a—b). Auch ein Halsband-Bruchstück gibt es im Schatzfund. Fragmente eines silbernen Halsbandes werden an der Oberfläche durch eine sich schief windende Riefelung geschmückt. Dies ist eine Art, die von den zur Landnahmezeit übrigen zwirbelten Halsringen abweicht²⁵ (Inv. Nr. 105/1896, 19., Durchmesser — in verstümmelter Form — 6,9 cm, Dicke 3,75—4,5 mm, Gewicht 10 gr. Tafel VII., Abb. 9.). Von einem anderen silbernen Ring, dessen Oberfläche nunmehr ganz glatt ist, kennen wir nur drei Fragmente, aber zwei von ihnen sind leider verschollen²⁶ (Taf. VII., Abb. 8.). Zu den Halsring-Fragmenten gehörte auch eine Knoten-Endung, als allgemeines Verbindungsglied der gezwirbelten Halsringe.²⁷ Leider ging auch dieses Glied verloren und wurde bei der Neuordnung der Magazine nicht aufgefunden.

Eine eigentümliche Gruppe des Tokajer Schatzfundes bilden fünf S-förmige Haarringe. Sie sind aus dickem Silber gefertigt und an ihrem zurück-

¹⁹ HAMPPEL, AFMU, I. 748, Fig. 2256, II. 467. Fig. 1.

²⁰ HAMPPEL, Arch. Ért., 1897 (XVII), 279. Zu den Analogien aus Bodrogvécs vgl. ders., AFMU, II, 467, Fig. 7—8.

²¹ E. KADA, Arch. Ért., 1912 (XXXII), 326.

²² Gy. LÁSZLÓ: A koroncói lelet és a honfoglaló magyarok nyerge. — Der Grabfund von Koroncó und der altung. Sattel. Arch. Hung., XXVII, 120.

²³ I. DIENES, Acta Arch. Acad. Scient. Hung. 7 (1956), 272, LXIX, t. 5—20. LXX, t. 3—14, LXXI, t. 7—8.

²⁴ Ebenda, LVII. t. 7 und LXXI. 38—39. Vgl. auch HAMPPEL, AFMU, II, 490, Fig. 3.

²⁵ B. KÖVÉR (J. HAMPPEL), a. a. O., 235, Taf. III. Abb. 3., sowie HAMPPEL, MHK, 569—570, Taf. XXVII, C. 3., sowie AFMU, I, 390, 393: Fig. 1064, II. 491: Fig. C. 3, 492.

²⁶ Z. VÁŇA: Madafi a Slované ve světle archeologických nálezů X—XIII. století. Slov. Arch. II, 1954, 587, T. I, 3, 58.

²⁷ KÖVÉR (HAMPPEL), a. a. O., 235, Abb. III. 6., sowie HAMPPEL, MHK, 572—3, T. XXVII, C. 6. und AFMU, II, 491—2: C. Fig. 6.

gebogenem Ende mit „Rippen“ versehen²⁸ (Inv. Nr. 94/1896, 1—5, Durchmesser 2,4—2,9 cm, Dicke 0,5 cm. Taf. VII., Abb. 1—5.). Mit diesem Typus beschäftigte sich die neuere Forschung viel. Der reiche Geldfund des durch Gyula Török entdeckten Friedhofes von Halimba-Cseres, wo es ebenfalls solche Haarringe gab, legte die Chronologie der Entwicklung dieses Typs auf eine sichere Grundlage.²⁹

Auf Grund einer umfangreichen Materialkenntnis befaßten sich Alán Kralovánszky³⁰ und Béla Szóke³¹ mit der Entwicklungsgeschichte dieses Typs. Sie stellen fest, daß der einfache, S-förmige Haarring eine neue Variante alter Trachtformen bei den Völkern des Karpatenbeckens sei und in den sechziger-siebziger Jahren des 10. Jahrhunderts erscheine. Laut Szóke ist dieser Schmuckgegenstand weder für das landnehmende Ungartum, noch für die hier vorgefundene slawische Bevölkerung bezeichnend, sondern für das einfache Volk des sich entfaltenden ungarischen Staates, das in Tracht und Sprache schon zu einer Einheit verschmolzen wurde.³² Über die S-Haarringe des Tokajer Fundes meint Szóke, daß sie aus dem Gebiete jenseits der Karpaten stammen, da man die kleinen und aus dickem Draht gefertigten S-Haarringe dort besonders schätzte. Aus diesen Gegenden gerieten die dicken Haarringe einerseits in den Tokajer Fund, andererseits in die March—Neutra-Gegend und nach Halimba.³³

Was nun die im Friedhof von Halimba gefundenen S-Haarringe und ihre Chronologie anbetrifft, so stellte Gyula Török nach vollendeter Ausgrabung fest, daß man vor Mitte des 11. Jahrhunderts keine solchen S-förmigen, gerippten und dicken Haarringe verfertigte. Nach dem Zeugnis des erwähnten Friedhofes, wo Török neunhundertzweiunddreißig Gräber fand,³⁴ entstanden Schmuckstücke solcher Art nach der Herrschaft der Könige Andreas I. und Béla I., aber noch vor Béla II., das heißt, in der Zeit zwischen 1060—1130.³⁵ Nach seinen Forschungen in Prag, Warschau, Krakau und in den Städten der Elbe-Gegend meint auch Török, dieser Typus melde sich zuerst im Karpatenbecken. Das von ihm in diesen Städten erforschte Material ist vor allem für das 12. Jahrhundert charakteristisch, indessen fand er in Ungarn den Typus schon zu Beginn der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts.³⁶

Bedeutend im Zusammenhang der slawisch—byzantinischen Verbindungen sind die verschiedenen silbernen Ohrgehänge des Schatzes von Tokaj. Sie können in drei verschiedene Gruppen geteilt werden: a) fünf Paar kleine Gehänge mit einem Kügelchen versehen, b) ein Paar Halbmond-Gehänge, c) sieben Paar Gehänge von größerem Ausmaß, am unterem Bogen mit größeren und kleineren Granulationen, sowie mit Filigranarbeit geschmückt. Stücke desselben Typs figurieren an der Ausstellung des Historischen Mu-

²⁸ KÖVÉR (HAMPEL), a. a. O., 239, VII, Abb. 3—7. HAMPEL, MHK, 572—3: T. XXIX. D. 3—7. Ders. AFMU, II. 492—3, G. Fig. 3—7. J. ERNYEI, Arch. Ért. 1914 (XXXIV), 143, T. II. 3—7, 144. A. KRALOVÁNSZKY, Studia Slavica V (1959), 341, 359.

²⁹ Gy. TÖRÖK, Folia Archaeologica, VII (1954), 95. Ders.: Die Bewohner von Halimba—Cseres nach der Landnahme. Leipzig 1959, 5.

³⁰ KRALOVÁNSZKY, a. a. O., 327.

³¹ B. SZÓKE, Arch. Ért. 1959 (LXXXVI), 41.

³² SZÓKE, ebenda, 42.

³³ SZÓKE, ebenda, 44.

³⁴ TÖRÖK, Die Bewohner von Halimba—Cseres, 6.

³⁵ Ebenda, 6—12, Abb. 13—14.

³⁶ Briefliche Mitteilung des Autors.

seums als „Lockenringe“³⁷ (Inv. Nr. 65/1896, 2 a—b), Höhe 3,8—3,35, Breite 2,8—2,4 cm, bzw. 110/1896, 13, Höhe 2,4, Breite 1,6 cm, 14: Höhe 2,55 cm, Breite 2,35 cm, 15: Höhe 3,45 cm, 16: Höhe 3,8 cm, Breite 2,5 cm, 17: Höhe 2,6 cm, Breite 2,7 cm, 18: Höhe 2,8, Breite 2,4 cm. Tafel VIII.)

Unter den zehn Stücken des ersten Typs können zwei Gruppen unterschieden werden. Die erste gehört zu den sogenannten „Gehängen mit Trauben-Anhängsel“ (Taf. VIII, Abb. 1—3, 6, 9—10). Hier wird der Filigranschmuck des Unterteils meistens in der Form dreier Ringe untergebracht, wobei der oberste Ring der kleinste ist. Ein Ohrgehänge-Paar, das stark beschädigt ist (Taf. VIII, Abb. 4—5) wird dagegen in der Mitte des Unterteils mit Granulationschmuck versehen: die eierförmigen Motive bestehen oben und unten aus kleinen Dreiecken. Zwischen ihnen gibt es auch deltaförmige Schmuckmotive, die mit ähnlicher Technik verfertigt sind. Ein Paar ist so sehr beschädigt, daß das Dekor des Unterteils fast vollständig fehlt (Taf. VIII, Abb. 7—8).

Alle fünf Paar Ohrgehänge weisen an ihrem runden Teil rechts als Schmuckmotive kleine Kreise auf, die aus kleinen Körnchen bestehen. Fünf weitere Stücke weisen auch auf der anderen Seite solche Motive auf (Tafel VIII, Abb. 1—10). Die meisten Stücke besitzen auch oben ein Dekor in Pyramidenform, das aus mehreren zusammengeschweißten Kügelchen besteht.

Fast komplette Analogien der Tokajer Gehänge mit Trauben-Anhängsel bilden im archäologischen Material des Karpatenbeckens die Funde von Törökkanizsa—Stara Kanjiža³⁸ und Vác (Waitzen).³⁹ Mit den näheren und entfernteren Analogien der Tokajer Gehänge befaßte sich jüngst Zdeněk Váňa ausführlicher.⁴⁰ Er führt diesen Typus auf die byzantinische Kunst zurück. Ohne Zweifel ist das aus dem slawischen Friedhof von Zalavár bekannte Prachtexemplar eines goldenen Ohrengehänges mit Trauben-Anhängsel die Schöpfung eines byzantinischen Goldschmiedes.⁴¹ Die ebenfalls sehr reichen Varianten dieses Typus in den Gräbern von Staré Město⁴² werfen aber das Problem auf, ob alle Stücke byzantinische Original-Erzeugnisse sind oder ob gewisse von ihnen von lokalen slawischen Meistern stammen. Im Falle des Tokajer Schatzes ist es sehr schwer, diese Frage zu beantworten. Beweisgründe von gleichem Gewicht können sowohl für den byzantinischen, als auch für den lokalen oder für der nördlich-slawischen Ursprung der Stücke herangezogen werden.⁴³

Die kunstgewerblichen Gegenstände aus den Ausgrabungen von Staré Město sind für die künstlerischen und technischen Probleme des Tokajer Schatzes auch darum außerordentlich wichtig, weil wir sowohl dort, als auch

³⁷ KÖVÉR (HAMPEL), a. a. O., 236, IV, Abb. 1—10. HAMPEL, MHK, 569, T. XVII. C. 1—10, sowie AFMU, I, 356: Fig. 939—941, II. 491—2, D. Fig. 1—10. L. NIEDERLE: Manuel de l'antiquité slave, II. Paris 1926, fig. 133. Ders.: Rukovět slovanských starožitností, Praha 1953, 437, Abb. 142 (nach ihm byzantinisch).

³⁸ J. HAMPEL: Ujabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről [Neue Studien über die Denkmäler der Landnahmezeit]. Budapest 1907, 150, T. 38. 6.

³⁹ Ders. AFMU, II, 610. III. Taf. 411 (das ähnlichste Gehänge: Abb. 5.).

⁴⁰ VÁŇA, a. a. O., 69, T. IV. 8—18 (davon Tokajer Funde: 9—11). Vgl. ebenda 63, 78.

⁴¹ Á. Cs. SOÓS, Die Slawen. In: B. E. Thomas, a. a. O., 350—351.

⁴² V. HRUBÝ: Staré Město. Praha 1955, 228., T. 24. 2—3, 11, T. 34. 1—4, T. 55, 1—8, T. 57, T. 9—10, T. 58. 1—6, T. 64, 3—4, 7—8, 11—12, 23—24, T. 66, 3—6, T. 67, 1—2, 6, 8—9, 16—22, T. 75, 3, T. 79, 3.

⁴³ KRALOVÁNSZKY, a. a. O. (mit weiterer Literatur).

hier Ohrengelänge in der Gesellschaft solcher Knöpfe vorfinden, die als Schmuck Granulation und kleine Körnchen aufweisen. Der zerbrochene Knopf von Tokaj wurde aus Silber gefertigt (Inv. Nr. 65/1896, 4. Höhe 1,9 cm, Breite 2,85 cm. Taf. VI., Abb. 20).⁴⁴ Ein ähnlicher Knopf ist außer Tokaj im Karpatenbecken allein aus einem in Kolozsvár (Cluj—Klausenburg), in der Zápolya-Straße gefundenen Grab der ungarischen Landnahmezeit bekannt.⁴⁵ Laut Béla Szőke können diese Gegenstände sowohl aus Rußland als auch aus Mähren stammen.⁴⁶

Aehnlicher Provenienz sind im Tokajer Fund die beiden silbernen Gehänge in Halbmondform. An ihrem Unterteil läuft ein Filigranschmuck in zwei, am oberen Teil in einer Reihe entlang. Die Mitte wird ebenfalls durch eine doppelte Filigranreihe betont. Aus dieser Reihe zweigen zwei Filigranreihen in S-Form ab. Filigranreihen in ähnlicher Schlangenform zweigen auch aus den beiden Hörnern des Gehänges ab. Am unteren Bogen waren vier Öhrchen angebracht: sie dienten zur Befestigung längerer, herabhängender Kettchen. Nur zwei solche Öhrchen blieben erhalten (Inv. Nr. 105/1896, 17—18, Höhe 4,3, Breite 5,9 cm, Gewicht 17,5 gr. Taf. IX., Abb. 1—2).⁴⁷ Nach der Meinung von Béla Szőke stammen diese Tokajer Stücke aus Wolhynien oder aus der Kiewer Gegend.⁴⁸ Ein ähnliches, im Friedhof von Oroszvár-Rusovce gefundenes Stück soll dagegen aus Mähren stammen.⁴⁹ Die slawische Nachahmung eines byzantinischen Vorbildes scheint auch jenes Gehängepaar mit Ketten-Anhängsel und Filigranschmuck zu sein, das im aus dem 10. Jahrhundert stammenden Friedhof von Csombord-Ciumbrud gefunden wurde. Árpád Dankanits und Stefan Ferenczi bringen dieses Stück ebenfalls mit den Funden von Staré Město in Zusammenhang.⁵⁰

Wir sehen, daß dieser Typus von den sogenannten Lunula-Gehängen abweicht. Alán Kralovánszky war der Meinung, daß Hampel irrtümlich von Lunulen im Tokajer Schatz spricht, denn die als solche bezeichneten Exemplare gehören zu solchen Ohren- und Haarschmuckstücken, die eine Halbmondform besaßen, deren Anhänger aber abgebrochen ist. Das soll also zu einer falschen Bestimmung geführt haben.⁵¹ — Indessen ist es zu

⁴⁴ KÖVÉR (HAMPEL), 236, T. IV, 11. HAMPEL, MHK, 569—570, T. XXVII, Abb. 11 Ders. AFMU, I, 400: Fig. 1094, II. 492, 491: D, Fig. 11. NIEDERLE, Manuel, fig. 133 Ders. Rukovět, Abb. 142. VÁŇA, a. a. O., 70—72, T. 6—7.

⁴⁵ I. KOVÁCS: Közlemények az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából. [Mitteilungen aus der Münz- und Antiquitätensammlung des Siebenbürg. Museums], II. 1. (1942), 98, T. V. 11. SZŐKE, a. a. O., 44.

⁴⁶ SZŐKE, ebenda, sowie VÁŇA, a. a. O., 70. Sehr reichhaltig ist das mährische Fundmaterial, vgl. J. POULÍK: Staroslovanská Morava. Praha 1948, 55, und: Velkomoravské hradiště Mikulčice. Gottwaldov 1959, 13, Abb. 2—3. 15. Nach V. HRUBÝ, a. a. O., 57, T. 5—6, 64, T. 1—2, 66, T. 1—2, 73, T. 5—6 handelt es sich um Stücke byzantino-orientalischen Charakters.

⁴⁷ KÖVÉR (HAMPEL), a. a. O., 237, Abb. V. HAMPEL, MHK, 570—1, T. XXVIII. E. Ders.: AFMU, I, 371: Fig. 995, II. 492: E. VÁŇA, a. a. O., 69, T. IV. 20. NIEDERLE, Manuel, fig. 133, Rukovět, Abb. 142.

⁴⁸ SZŐKE, a. a. O., 43.

⁴⁹ Ebenda.

⁵⁰ A. DANKAVITS—I. FERENCZI: Săpăturile arheologice de la Ciumbrud. Materiali si cercetări arheologice, VI (1959), 608—9, fig. 10. Vgl. auch die Gehänge Fig. 11 und 13, sowie HRUBÝ, a. a. O., 244, T. 37, Abb. 7—9. Ausführlich befaßt sich mit diesem Typus L. NIEDERLE: Příspěvky k vývoji bizantských sperků ze IV—X. století. Praha 1933, 140, Abb. 70. Wichtig hier bes. die Skizzen 5—10, davon 6. aus Tokaj! Ferner POULÍK, Staroslovanská Morava, 47.

⁵¹ A. KRALOVÁNSZKY, Arch. Ért., 1959 (LXXXVI), 76, Anm. 8.

bemerken, daß Kralovánszkys Kritik an Hampels Ausführungen nicht ganz berechtigt ist, denn schon Hampel stellte fest, daß die Anhängeringe fehlen.⁵² Auch Hampel suchte die Analogien unter den halbmondförmigen, mit Anhängeringen versehenen Gehängen der ungarländischen Funde.⁵³

Die eigenartigsten Gegenstände des Tokajer Schatzes sind jene Ohrgehänge (nach einer anderen Meinung: Schläfenringe) von großem Maßstab,⁵⁴ die in der Fachliteratur als „Ohrgehänge vom Tokajer Typ“ genannt werden.⁵⁵ Von ihnen befinden sich sieben Paare im Ungarischen Nationalmuseum. Zwei Paare besitzen die gleiche Form, nur in verschiedener Größe (Inv. Nr. 24/1897, 1—2, Durchmesser 5,2 cm, Gewicht 64,4 gr, bzw. Inv. Nr. 24/1897, 3—4, Durchmesser 5,7 cm, Gewicht 78,15 gr. Taf. X., Abb. 1—4.). Diese Silbergehänge sind mit einem glatten, offenen, aus zylinderförmigem Draht gefertigten Ring versehen. Der Ring ist unten mit einem eierförmigen Knopf in Filigran dekoriert, an beiden Seiten mit feinem Drahtschmuck, das wieder mit zwei Kugelbändern begrenzt wird (Inv. Nr. 24/1897, 5—6, Durchmesser 5,2 cm, Gewicht 68 gr. Taf. IX., Abb. 5—6.).

Die dritte Variante unterscheidet sich von den Vorhergehenden insofern, daß hier der Drahtschmuck des Unterteiles durch je zwei Bänder begrenzt wird, die aus kanellierten Kügelchen bestehen (Inv. Nr. 24/1897, 7—8, Durchmesser 5,5 cm, Gewicht 71,1 gr. Taf. XI., Abb. 1—2.). Eine noch reichere Variante bilden jene beiden Schmuckstückpaare, bei denen die Grenze des Drahtdekors am Unterteil je ein mit Löcherreichen durchbrochener Knopf bildet (Inv. Nr. 24/1897, 9—10, Durchmesser 5,8 cm, Gewicht 65,35 gr. Taf. XI., Abb. 3—4., bzw. Inv. Nr. 24/1897, 11—12, Durchmesser 5,8 cm, Gewicht 87,55 gr. Taf. XII., Abb. 1—2.). Am stärksten dekoriert ist jenes Gehängepaar, wo wir an beiden Seiten ein ovalförmiges Schmuckglied, sowie ein kanelliertes Drahtwerk und eine Ledernadel finden (Inv. Nr. 29/1897, 1—2., Durchmesser 33 cm, Gewicht 33 gr. Taf. XII., Abb. 3—4.).

In seinen Untersuchungen betonte schon Hampel die Verwandtschaft dieses Typus mit russischen Schmuckfunden aus dem 10—11. Jahrhundert, sowie auch jene Tatsache, daß der Typus in der südslawischen volkstümlichen Goldschmiedekunst bis zum 20. Jahrhundert fortlebte.⁵⁶ Eine ähnliche Meinung äußerte jüngst über den Tokajer Schatzfund auch Mirjam Čorović—Ljubinković. Allerdings betonte sie einseitig bloß die balkanischen Zusammenhänge und veröffentlichte mehrere Funde aus dem Gebiete des Nordbalkans, die fast genaue Analogien der Tokajer Filigranjuwelle darbieten.⁵⁷

⁵² KÖVÉR (HAMPSEL), a. a. O., 237.

⁵³ HAMPSEL, AFMU, I, 371: 992—6.

⁵⁴ KÖVÉR (HAMPSEL), a. a. O., 238, Abb. VI. HAMPSEL, MHK, 570, T. XXVIII, F. 1—7. Ders.: AFMU, I, 370: Fig. 988—991, II, 492—3: Fig. 1—7. Erste photograph. Veröffentlichung bei Z. KÁDÁR: Byzantinische Denkmäler in Ungarn. In: E. B. THOMAS, a. a. O., 396—7. Leider wurden hier irrtümlich zwei analoge Stücke unbekanntem Fundortes als Glieder des Fundes betrachtet. (Vgl. das provisorische Inventar der mittelalt. Abteilung des Ung. Hist. Museums, Nr. 102.) In einer nicht sehr gelungenen Zeichenreproduktion bringt neuestens die ganze Gruppe M. ČOROVIĆ—LJUBINKOVIĆ: Naušnice t. z. tokajskog tipa. Rad 3, Novi Sad 1954, 82. Einzelne Teile publiziert von E. VARJÚ in DOMANOVSKY: Magyar művelődéstörténet, I, 332, sowie von NIEDERLE, Manuel, Abb. 133, Rukovět, Abb. 143 und Váňa, a. a. O., 69, T. IV, 21—2.

⁵⁵ So neuestens ČOROVIĆ—LJUBINKOVIĆ, a. a. O., 81.

⁵⁶ KÖVÉR (HAMPSEL), Arch. Ért., 1897 (XVII), 239.

⁵⁷ ČOROVIĆ—LJUBINKOVIĆ, a. a. O., 82—3.

Neuerdings befaßte sich Béla Szóke mit den granulierten und filigrangeschmückten Gehängen des Tokajer Schatzfundes. Auch er sucht die Verwandtschaft am Balkan und im südrussischen Gebiet: die Stücke des Tokajer Fundes kamen nach seiner Meinung aus dem Territorium jenseits der Karpaten.⁵⁸ Es ist möglich, daß jene beiden, ähnliche Formen aufweisenden Gehänge des Ungarischen Historischen Museums, die an unbekannter Stelle gefunden wurden, aus der gleichen Werkstatt stammen, wie die von uns untersuchten Exemplare des Tokajer Schatzfundes (vgl. Taf. IX., Abb. 4—5). Ein anderes Gehänge, ebenfalls an unbekannter Stelle gefunden, kam 1897 als Kaufobjekt in das Museum (Inv. Nr. 109/1897, Gewicht 47,5 gr, gekauft von A. Reschl.). Dieses letztere Stück ist mit den großen geschmückten Gehängen des Tokajer Fundes verwandt, weil am Unterteil zwischen zwei kleineren Kugeln eine längere, ovale Kugel zu sehen ist, und weil die Wand der Kügelchen aus dünnen geflochtenen Drähten zusammengeschweißt wurde, weil wir also mit Filigranarbeit zu tun haben. Acht weitere Kügelchen dienten als Dekor: die Mitte wird von je vier Kügelchenreihen umfaßt, wobei größere und kleinere Kügelchen miteinander abwechseln, wir also eine Granulationstechnik vorfinden (Taf. IX., Abb. 3.). Dieser Typ wird von der Forschung in das 10—11. Jahrhundert datiert, lebt jedoch — wie erwähnt — auch später weiter.⁵⁹

Unter den weiteren Stücken des Schatzfundes müssen wir das Bruchstück einer Bronzefibel erwähnen (Inv. Nr. 65/1898, 8), das jedoch — laut der jüngsten Magazinrevision des Historischen Museums — leider nicht mehr vorhanden ist, kunsthistorisch unwichtig, doch von wirtschaftsgeschichtlicher Bedeutung sind zwei aus Ringen bestehende Goldketten. Die kleinere besteht aus vier dünnen, offenen Ringen (Inv. Nr. 65/1896, 1, Taf. VII., Abb. 7.).⁶⁰ Die andere besteht aus sieben größeren, ebenfalls offenen, aus glattem Zylinderdraht gefertigten Ringen: zwischen ihnen ist ein kleinerer, herzförmiger Ring untergebracht (Inv. Nr. 119/1896, 3—10, Durchmesser 2,4, bzw. 1,5 cm, Gesamtgewicht 9,5 gr. Taf. VII., Abb. 6.).⁶¹ Herzförmige Ringe sind typische Schmuckstücke der Vorzeit, besonders der zweiten Periode der Bronzezeit,⁶² damals wurden solche Ringe auch als Tauschobjekte verwendet.⁶³ Wahrscheinlich figurierten die beiden Goldketten nicht als Juwelen, sondern bloß als Wertgegenstände im Schatzfund.

Unbekannte Bestimmung besaß ein Silberstab, der nach Hampels Meinung wahrscheinlich als Rohmaterial zu betrachten war⁶⁴ (Inv. Nr. 110/1896, 20, Länge 9,3 cm, Breite 0,5 cm, Gewicht 16,5 gr). Auch dieses Stück ging verloren und konnte während der Magazinrevision nicht vorgefunden werden.

Eine hohe Bedeutung in wirtschaftsgeschichtlicher Hinsicht haben die zum Schatzfund gehörenden byzantinischen Gewichte. Für die Chronologie sind dagegen die ebenfalls byzantinischen Münzen sehr wichtig.

⁵⁸ Szóke, a. a. O., 43.

⁵⁹ Darüber neuestens ČOROVIĆ—LJUBINKOVIĆ, a. a. O., 81, Abb. 4—11.

⁶⁰ KÖVÉR (HAMPPEL), a. a. O., 239: 1. HAMPPEL, MHK, 572—573, T. XXIX. G. 1. Ders.: AFMU, II, 492—3: G. Fig. 2. J. ERNYEI, a. a. O., 143, T. II. 1.

⁶¹ KÖVÉR (HAMPPEL), a. a. O., 239: 2. HAMPPEL, MHK, 572—3: XXIX, G. 2., sowie AFMU, II, 492—3: G. Fig. 2. ERNYEI, a. a. O., 143: T. II. 2.

⁶² Chronologische Bestimmung durch Amalie Mozsolics.

⁶³ Vgl. u. A. F. TOMPA: Óskor. Vezető a Régészeti Gyűjteményben [Urzeit. Führer in den. archäolog. Sammlungen]. Budapest, Ung. Nationalmuseum, 1938, 41, Abb. 79.

⁶⁴ KÖVÉR (HAMPPEL), a. a. O., 235, T. III. 1, sowie MHK, 569, T. XXVII, C. 1, 570 und AFMU, II, 491: C. Fig. 1, 492.

Drei byzantinische Bronzegewichte gehören zum Tokajer Schatz. Die qualitativste Ausführung zeigt ein viereckiges Geld-Gewicht, das an beiden Seiten schräg abgeschnitten wurde (Inv. Nr. 65/1896, 11., Höhe 3,0, Dicke 0,8 cm. Taf. XIII., Abb. 12.). An der Oberseite befindet sich ein mit feinen, zum Teil schraffierten Linien eingeritzter zweireihiger Kranz, an vier Stellen mit kleinen Ringchen. Der Kranz umfaßt das roher ausgearbeitete, mit Silber eingelegte und mit eingeritzten Linien gerahmte Zeichen NIB unter einem griechischen Kreuz (NOMICMATA IB, das heißt 12 solidi bzw. 2 Unzien). In den Ecken und oberhalb des N befindet sich je ein eingezaites Kreisichen.

Ödön Gohl, der das Stück publizierte, wußte es nicht, daß das Stück zum Tokajer Fund gehört. Er spricht von einem „unbekannten Fundort“,⁶⁵ obwohl an der Hinterseite die Inventarnummer zu lesen ist. Hampel überging allerdings bei seiner Veröffentlichung des Tokajer Fundes alle Gewichte! — Das Stück ist ein Unikum unter den ähnlichen Funden Ungarns. Wir kennen zwar aus der Avarzeit, aus den Goldschmiedegräbern von Kunszentmárton⁶⁶ und Jutas⁶⁷ byzantinische exagia, das heißt Münzgewichte mit Kranz, Buchstaben und Kreuz. Indessen sind diese letzteren Stücke aus dem 7. Jahrhundert, mit einer anderen Kreuzform und mit anders geordneten Buchstaben. Ein ähnlich signiertes exagium aus Sizilien publizierte Paolo Orsi: dort fehlt jedoch der Kranz.⁶⁸ Ein anderes exagium besitzt unter dem Kreuze die Signatur ΝΓ.⁶⁹

Das andere byzantinische Gewicht des Tokajer Fundes ist eine kleine viereckige Bronzeplatte (Inv. Nr. 65/1896, 12.). Die sehr knappe Beschreibung des Inventars, die nicht einmal die Maße angibt, erschwert es uns, dieses Stück zu identifizieren. Wahrscheinlich handelt es sich um jenes kleinste Bronzegewicht in der Münzensammlung des Historischen Museums, auf dem ein eingeritztes H erscheint⁷⁰ (Länge 0,6 cm, Dicke 0,2 cm. Gewicht 1,31 gr, also ein Triens-Gewicht: Taf. XII., Abb. 13.).

Das dritte Gewicht ist — laut des Inventars — scheibenförmig und aus Bronze. An der Oberfläche sollen die Zeichen N und Δ vorhanden sein, Maße werden nicht angegeben. — In der Münzsammlung befindet sich ein einziges Bronzegewicht in Scheibenform. Dieses unpublizierte Stück entspricht einem Gewicht von 3 Unzien, bzw. 18 solidi. An ihm sieht man ein eingeritztes N und andere unleserliche Zeichen (Taf. XIII., Abb. 14.). Im ungarländischen Fundmaterial befindet sich ein einziges, ähnlich aussehendes byzantisches Bronzegewicht in Scheibenform, doch dieses Stück wurde im avarischen Goldschmiedegrab von Kunszentmárton gefunden.⁷¹ Auch eine Bronzeklammer wurde dabei gefunden (Inv. Nr. 65/1896, 9.), doch das letztere Stück ging inzwischen verloren.

⁶⁵ Ö. GOHL, Arch. Ért., 1901 (XXI), 196, Abb. 2. Ders., Numizmatikai Közlemények [Numismat. Mitteilungen] 1913 (XII), 58: 3.

⁶⁶ D. CSALLÁNY: A kunszentmártoni avarkori ötvössir. Ein Goldschmiedegrab aus der Avarzeit zu Kunszentmárton, Ungarn. Szentes 1933, 41, 51, 53, T. II. 23—24, T. VII. 1—2.

⁶⁷ RHÉ—FETTICH: Jutas und Öskü. Praha 1951, 58, Taf. VIII. 18.

⁶⁸ P. ORSI: Byzantina Siciliae. Byzant. Zeitschrift 1912 (XXI), 207, nr. 11. fig. 36

⁶⁹ ORSI, ebenda, 207, nr. 8, fig. 38. Weitere Analogien bei GOHL, Arch. Ért. 1901 (XXI), 199. Vgl. nach ein Gewicht aus Dalmatien, mit ΝΙΗ-Zeichen im Kranz: J. KUBITSCHKEK: Gewichtstücke aus Dalmatien. Arch. Ep. Mitt. XV (1892), 89: 2.

⁷⁰ GOHL, Arch. Ért. 1901 (XXI), 198, nr. 6, Abb. 6. Ders.: Numizmatikai Közlemények 1913 (XII), 59, Nr. 7. Abb. 7.

⁷¹ D. CSALLÁNY, a. a. O., 41, 43, 51, 53, T. VI, 12, 12 a.

Sehr wichtig für die Chronologie, sowie für die ethnischen und wirtschaftlichen Beziehungen des Tokajer Fundes sind jene byzantinischen Goldmünzen, die sich mit den von uns untersuchten Stücken im demselben Gefäß befanden. Elf Goldmünzen gehören zum Fund. Das größte intakte Stück ist der solidus des Kaisers Romanos I. und seines Sohnes Christophoros (921—927?). An der Vorderseite werden die beiden Herrscher dargestellt, an der Rückseite der thronende Christus⁷² (Inv. Nr. 119/1896, Taf. XVI., Abb. 1 a—b.).

Die anderen zum Schatzfund gehörenden Goldmünzen (Inv. Nr. 119/1896, 12—21.; Taf. XIII., Abb. 2—11.) sind in kleinerem oder größerem Maß beschnitten, doch so, daß das Pantokrator-Bildnis der Rückseite am Antlitz nicht beschädigt wurde. Die so verstümmelten Münzen datierte Hampel in die Zeit der byzantinischen Kaiser Nikephoros II. und Basileios III. (963—964):⁷³ diese Meinung wurde auch von der Fachliteratur angenommen.⁷⁴ Im Zuwachskatalog der Münzsammlung des Budapester Historischen Museums bemerkte jedoch schon Elemér Jónás, daß Hampels Bestimmung betreffs der letztgenannten zehn byzantinischen Münzen unrichtig sei, weil dieselben nur Münzstücke aus der Zeit Konstantins VII. Porphyrogennetos und seines Sohnes Romanos II. (945—959) sein können. Eine gründlichere Untersuchung der Münzen bestätigt diese Auffassung.⁷⁵

Das alles ist darum sehr wichtig, weil Dezsó Csallány auf Grund eines Vergleiches mit den byzantinischen Münzen des Tokajer Fundes die byzantinischen Bronzemünzen-Nachahmungen aus Szegvár (Kom. Csongrád) in die Zeit der Kaiser Nikephoros II. und Basileios II. datierte.⁷⁶

Wenn wir die von Ludwig Huszár sorgfältig zusammengestellte Chronologie der aus dem 10. Jahrhundert stammenden und in Ungarn gefundenen byzantinischen Münzen studieren, dann kommen wir zur Feststellung, daß der Weg der Verbreitung byzantinischen Geldes in dieser Zeit bei uns vor allem die Theißlinie ist (vgl. Karte 2), und daß dieser Weg im wesentlichen mit der Verbreitung des arabischen dirhem identisch ist.⁷⁷ Zu beachten ist auch der Umstand, daß byzantinische Münzen aus der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts bei uns fehlen. Das weist auf eine vorübergehende Unterbrechung der byzantinischen Beziehungen nach 959 hin.⁷⁸

Im 10. Jahrhundert ist also der Verbreitungsweg der byzantinischen Münzen und des arabischen dirhem identisch (Karte 2.). Auch das ist zu beachten, daß um 960 die Benutzung des dirhem und des byzantinischen

⁷² KÖVÉR (HAMPÉL), a. a. O., 240, Abb. VIII: 1, sowie MHK, 572—3: XXIX: H. 1. und AFMU, II, 494: H. Fig. 1. L. HUSZÁR, Acta Arch. Acad. Scient. Hung. 5. (1955) 101 nr. CCXXXV. Vgl. W. WROTH: Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum. London 1908, II, T. LIII, Nr. 1.

⁷³ KÖVÉR (HAMPÉL), a. a. O., 240, Abb. VIII. 2—11, sowie MHK, 572, 573: T. XXIX. 2—11, und AFMU, II, III. 494: H. Fig. 2—11.

⁷⁴ So J. EISNER: Slověnsko v práveku. Bratislava 1953, 256, L. HUSZÁR, a. a. O., ČOROVIC—LJUBINKOVIĆ, a. a. O., 82.

⁷⁵ Vgl. W. WROTH, a. a. O., II, 459, LIII. 12—14.

⁷⁶ D. CSALLÁNY, Numizm. Közlemények 1939—40 (XXXVIII—XXXIX), 24. HUSZÁR, a. a. O., 96, nr. CXCVI.

⁷⁷ HUSZÁR, a. a. O., Karte.

⁷⁸ Vgl. GY. LÁSZLÓ, a. a. O., 803. HUSZÁR, a. a. O., 105—6. Vgl. auch die Karten bei R. JAKIMOWICZ: Sur l'origine des parures d'argent trouvées dans les dépôts du moyen âge. Wiadomości Archeologiczne, 1933 (XII), T. X—XII.

Geldes auf einmal aufhört.⁷⁹ Aus der Unterbrechung der ungarländischen dirhem-Benützung folgert Gyula László, daß unter dem Fürsten Géza der durch den Verecke-Paß führende Weg gesperrt wurde, weil ja in Südrußland noch bis zum Ende des 10. Jahrhunderts der dirhem vorherrscht.⁸⁰

Unzweifelhaft ist andererseits die Tatsache, daß seit der Mitte des 10. Jahrhunderts die kulturelle und wirtschaftliche Bedeutung des nördlichen Balkans anwächst. Bekannt sind die Worte des Fürsten Swjatoslaw: „Kiew gefällt mir nicht, ich will in Perejaslawez an der Donau leben, dort ist die Mitte meines Landes, weil sich dort all das Gute anhäuft: von den Griechen Gold, Stoffe, Wein und verschiedene Früchte, auch von den Tschechen, von den Ungarn Silber und Pferde.“⁸¹ Die wachsende Wichtigkeit des Südhandels seit der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts kommt auch darin zum Ausdruck, daß die nächsten autentischen Analogien der großen Filigranringe, dieser typischsten Schmuckstücke des Tokajer Fundes, aus dem Nordbalkan, aus der Gegend der unteren Donau stammen. Kein Wunder, daß Mirjam Corović-Ljubinković auch Tokaj für eine Stadt in Südungarn glaubte.⁸²

Indessen wird Tokaj bzw. seine Umgebung infolge seiner Lage, seiner lokalen Energien dennoch eher mit dem Nordosten verbunden. Béla Szóke stellt richtig fest, daß die östlichen Handelswege durch den dirhem-Fund von Huszt (Chust) und Tokaj gekennzeichnet sind, ferner durch den etwas ungewiß datierbaren Fund von Tibolddaróc.⁸³ Mechthildis Nees, die den letzteren Fund publizierte, hält ihn, wegen den vielen frühmittelalterlichen Gegenständen, besonders Schmuckstücke und Juwelen (was ansonsten als Grabfund aufgefaßt werden könnte) für den verborgenen Schatz eines Graberschänders.⁸⁴ Bei Tokaj geben neben den Juwelen die byzantinischen Gewichte einen klaren Hinweis darauf, daß wir es hier nicht mit der Beute eines Räubers, sondern mit dem Vorrat eines Kaufmannes zu tun haben.

Wichtig für die Beurteilung des Tokajer Fundes ist jene Feststellung von Béla Szóke, daß diese Vorrat- bzw. Schatzfunde — wie auch die auf anderen Wegen in das Land gelangende Ware — immer am Randgebiet des Landes, in den „Pforten“ des Handels zu finden sind.⁸⁵ Er hat dafür gleich zwei Erklärungen: die überzeugendere ist jene, laut dessen die vom Ausland gekommene Ware durch einheimische Händler übernommen und im Lande verkauft wurde.⁸⁶ Weil aber, wie gesagt, der Tokajer Schatzfund sowohl nordöstliche, als auch südliche Einflüsse aufweist, kann auch die Möglichkeit bestehen, daß wir mit dem Vorrat eines solchen Kaufmannes zu tun haben, der einen Transitverkehr durch Ungarn, zwischen Kiew und dem Balkan, durchführte. Wir dürfen die von V. A. Rybakov mit Nachdruck betonte Tatsache nicht vergessen, daß Kiew im 10. und 11. Jahrhundert sowohl mit Westeuropa, als auch mit Byzanz und mit der Gegend des Kaspischen Meeres

⁷⁹ Vgl. L. HUSZÁR, a. a. O., passim.

⁸⁰ LÁSZLÓ, a. a. O., 806. Vgl. RYBAKOV in: VORONIN—KARGER—TICHANOV: Die materielle Kultur der alten Rus. Berlin 1959, 358.

⁸¹ A. HODINKA: Az orosz évkönyvek magyar vonatkozásai [Ung. Beziehungen der russ. Jahrbücher]. Budapest 1916, 50—51 (über das Jahr 969). Vgl.

⁸² ČOROVIĆ—LJUBINKOVIĆ, a. a. O., 87—92. Anders EISNER, a. a. O., 256, der die Analogien der Gehänge in der Karpatoukraine sucht.

⁸³ B. SZÓKE, a. a. O., 45.

⁸⁴ M. NEES, Arch. Ért. 1932—33 (XLVI), 172—4.

⁸⁵ SZÓKE, a. a. O.,

⁸⁶ Ebenda.

in regem Handelsverkehr stand (Karte 1.).⁸⁷ Auch László wies darauf hin, daß Ungarn bis zur Mitte des 10. Jahrhunderts jenem Handelssystem angehört, dessen Fäden bis China, Persien, Perm, Byzanz und zur Ostsee reichen.⁸⁸

Ein weiteres Problem ist, ob der Weg durch den Verecke-Paß nach Kiew im 11. Jahrhundert, vor allem unter der Herrschaft des russenfreundlichen Königs Andreas I. wieder geöffnet wurde? — Gerade bei der Lösung dieser Frage bietet uns der Schatzfund von Tokaj ein äußerst wichtiges Beweismaterial. Die Münzen aus dem 10. Jahrhundert zeigen ja die Spuren einer späteren Benutzung, können also nur als terminus post quem verwendet werden. Allerdings ruhte in Ungarn der Geldverkehr mit Byzanz bis zum 12. Jahrhundert,⁸⁹ aber im Gebiet des benachbarten Rumäniens erneuert sich der Geldverkehr mit Byzanz gerade im letzten Viertel des 10. Jahrhunderts und dauert bis zum 13. Jahrhundert, nachdem hier am Ende des 7. Jahrhunderts ein Stocken eingetreten war.⁹⁰ Wir erwähnten auch, daß die charakteristischen großen Filigranjuwelen des Tokajer Fundes auf eine Verbindung mit der nordbalkanischen Goldschmiedekunst hinweisen. Der „kanellierte“ S-förmige Haarring verweist wiederum klar auf die zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts. Es ist also durchaus möglich, daß in dieser Zeit der Handelsweg durch den Verecke-Paß infolge der Kiewer Beziehungen des Königs Andreas I. wiederum geöffnet wurde.⁹¹ Indessen setzte der Tod des Königs der blühenden Periode dieser auch durch dynastische Interessen besiegelten russisch—ungarischen mittelalterlichen Beziehungen ein Ende: in der sich wandelnden politischen Lage konnte es möglich sein, daß ein Kaufmann, der mit Kiew Verbindungen aufrecht erhielt, seine Ware versteckte. Vielleicht hängt das mit dem Uzen-Einbruch (1068) zusammen. Wir können dabei an die antibyzantinische Politik des Königs Salomon denken, sowie an die Ereignisse der Jahre 1071—1072.⁹²

Es ist bekannt, daß Georg Komoróczy auch unter der Herrschaft König Stefans des Heiligen die Existenz der Vereckeer Handelsweges für wahrscheinlich hielt, doch diese These wurde nicht allgemein angenommen.⁹³ Zweifelsohne fehlen — nach dem gegenwärtigen Stand der Forschung — im Gebiet der oberen Theiß in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts und aus dem 11. Jahrhundert die byzantinischen, arabischen oder russischen Münzfunde. Dieses Fehlen ist jedoch kein sicherer Beweis für eine völlige Unterbrechung des Transithandels in diesen Gebieten. Ein Nordmáramaroser Fund,⁹⁴ das u. A. prachtvolle byzantinische Gehänge enthält, ferner gewisse Funde der frühen Arpadenzeit, so ein byzantinisches Reliquienkreuz aus

⁸⁷ RYBAKOV, a. a. O., 291.

⁸⁸ LÁSZLÓ, a. a. O., 805.

⁸⁹ Vgl. A. KERÉNYI, Numizm. Közlöny, 1949—50 (XLVIII—XLIX), 21. Dort auch weitere Literatur.

⁹⁰ Vgl. I. DIMIAN: Cîteva descoperiri monetare bizantine pe teritorul R. P. R. Studii si cercetări de numismatică, 1957 (I), 189, mit weiterer Fachliteratur.

⁹¹ Gy. MORAVCSIK, a. a. O., 60.

⁹² Ebenda, 67.

⁹³ Gy. KOMORÓCZY: A kereskedelem és ipar Szent István korában [Handel und Industrie zur Zeit Stefans d. Hl.]. Budapest 1938, 28 (mit Karte). Vgl. auch Gy. LÁSZLÓ, a. a. O., bes. 414, 802, 815.

⁹⁴ VÁRJÚ, in DOMANOVSKY, MAGYAR művelődéstört., I, 334 (Abbildung) und 627 (Text) setzt sie in das 12. Jhd.

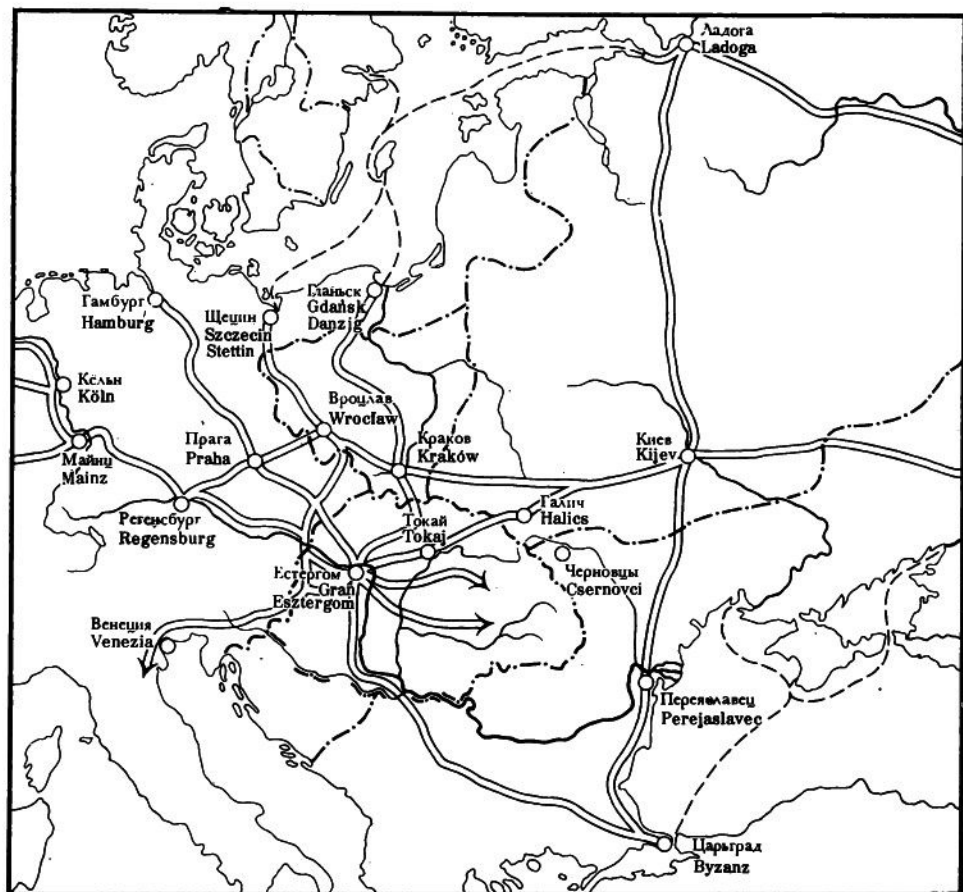
Tiszaeszlár⁹⁵ oder die durch Geldfunde chronologisch festlegbaren Kreuzlein eines Friedhofes des 11. Jahrhundert zu Nyirkárász,⁹⁶ sowie das griechisch beschriftete Weihwasserbecken von Beszterec⁹⁷ machen, es wahrscheinlich, daß der Handel mit byzantinischer Ware im 11. Jahrhundert in der Gegend der Wege zum Verecke-Paß sich neu belebte oder vielleicht überhaupt nicht aufhörte. (Vgl. Karte 3.) — Eine völlig beruhigende Antwort auf diese Frage könnten jedoch nur neue Ausgrabungen geben, besonders auf dem Gebiet des Komitates Hajdu-Bihar. Von größter Wichtigkeit wäre vor allem die Erforschung der Friedhöfe der frühen Arpadenzeit des 11. und 12. Jahrhunderts.⁹⁸

⁹⁵ A. JÓZSA: A szabolcsvármegyei múzeum ós- és középkori tárgyainak ismertetése [Beschreibung der vorzeitlichen und mittelalterlichen Gegenstände des Szabolcser Komitatmuseums]. Nyíregyháza 1899, 68: er datiert das Stück ins 10—11. Jhd. — M. BÁRÁNY—OBERSCHALL: Byzantinische Pektoralkreuze aus ungarländischen Funden. Forschungen zur Kunstgeschichte und christlichen Archäologie, II. Baden-Baden 1953, 217—8 datiert das Stück auf die Wende des 9—10. Jhds. Weil aber der Fund ein Geschenk ist, sind die sicheren Fundverhältnisse unbekannt, und das erschwert die genaue Bestimmung.

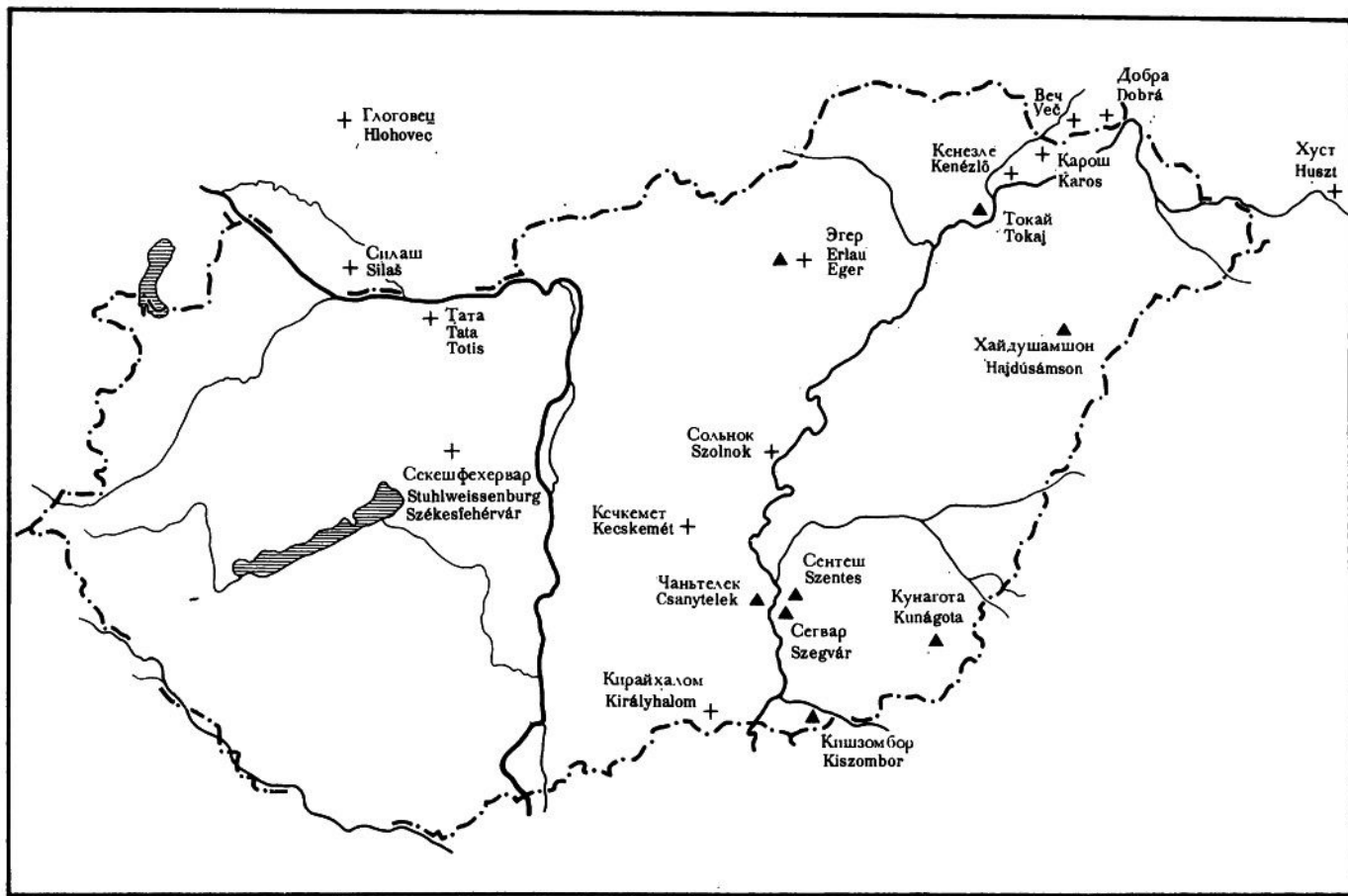
⁹⁶ M. BÁRÁNY—OBERSCHALL, ebenda, 213, 215, Fig. 63 a., 235, Fig. 1., 236. — Im Friedhof: Münzen der Könige Stefan d. Hl., Ladislaus d. Hl. und Peter.

⁹⁷ Z. KÁDÁR, a. a. O., 412—3. (Text und Tafel).

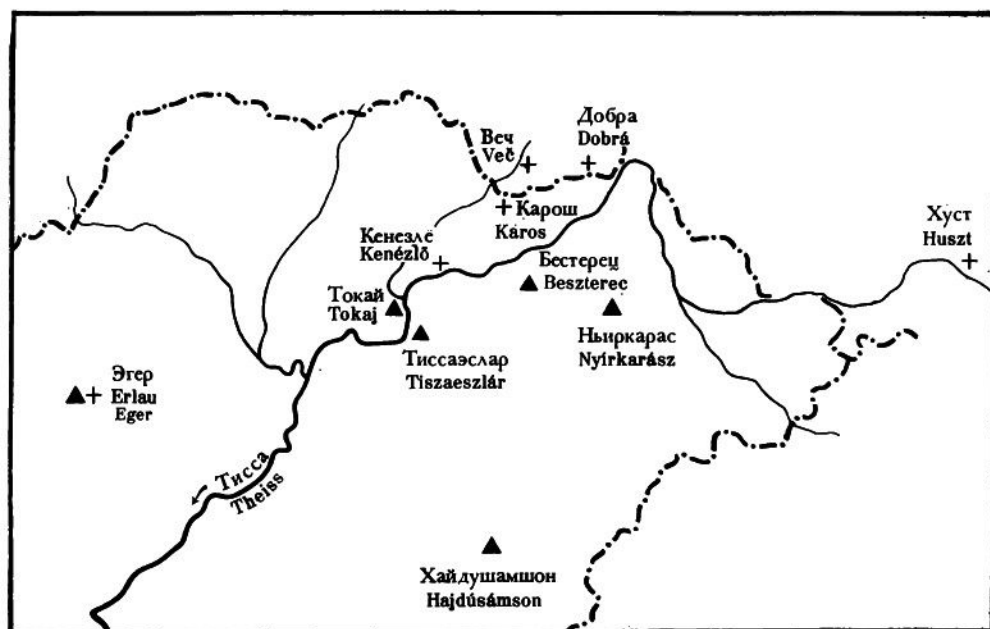
⁹⁸ Bei der Bearbeitung dieses Aufsatzes leisteten mir die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Ungarischen Histor. Museums, vor allem der Münz- und Mittelalter-Sammlung große Hilfe. Ihnen sei nun Dank gesagt!



1. Skizze der Handelswege im 9—11. Jhd. (nach Rybakov und Komoróczy).



2. Byzantinische und arabische Münzfunde des 10. Jhds in Ungarn



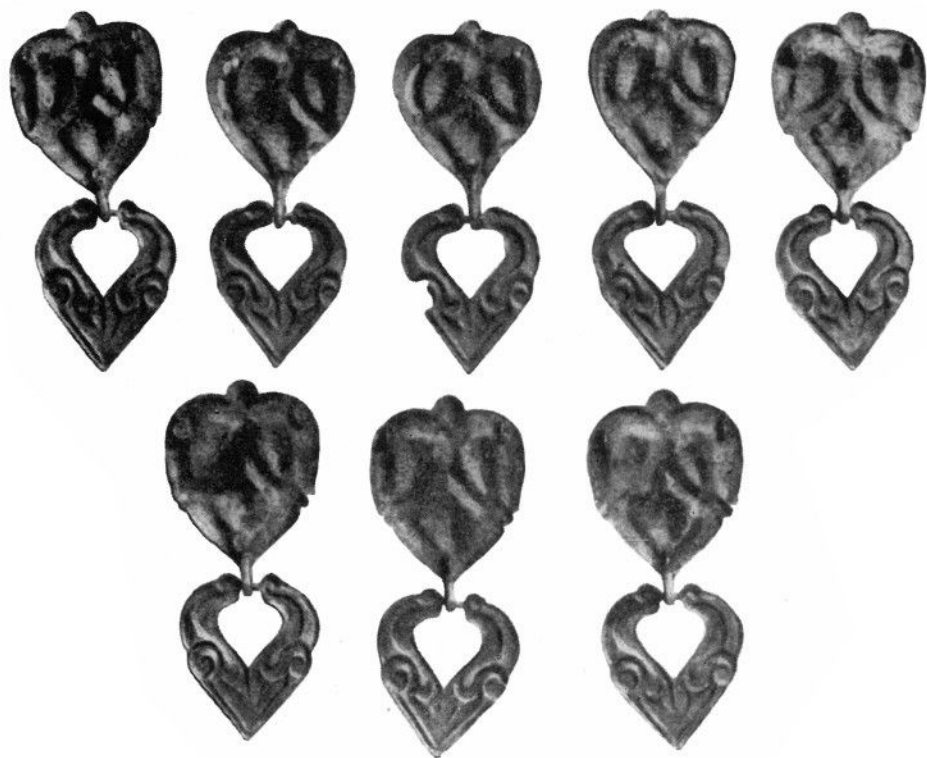
3. Byzantinische und arabische Münzfunde des 10. Jhds in Nordost Ungarn







IV.





1



2



3



4



5



6



7



8



9



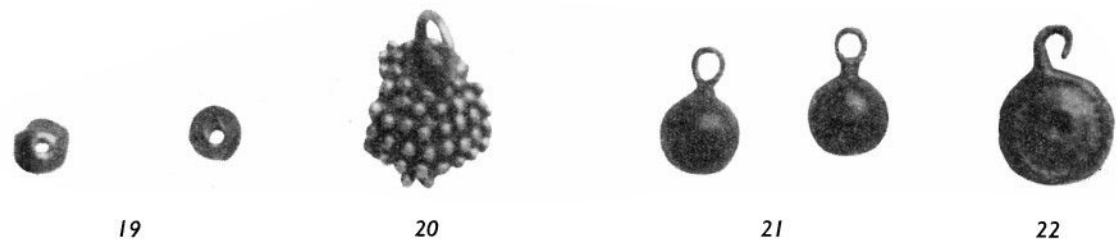
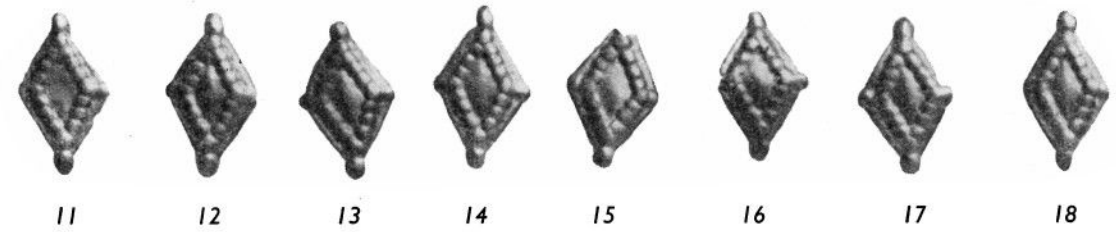
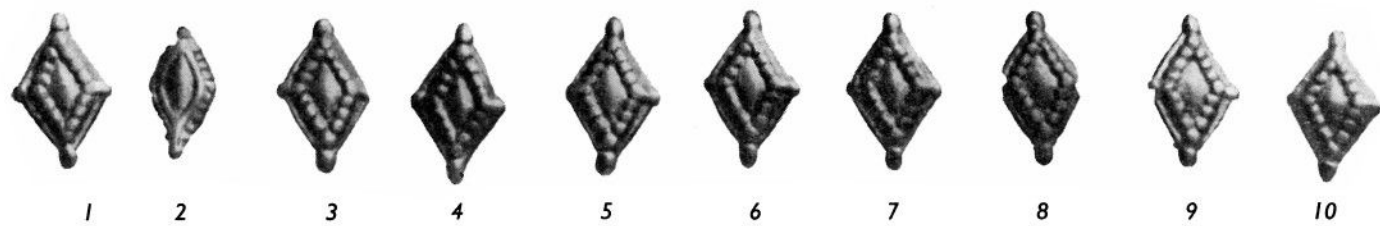
10



11



12





1



2



3



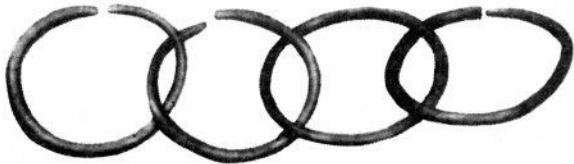
4



5



6



7



8



9

VIII.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



1



2



3

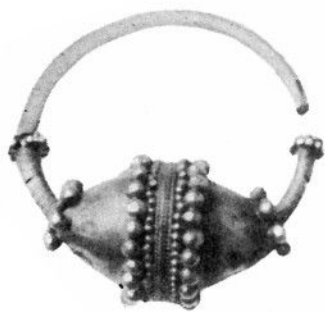


4



5

X.



1



2



3



4



5



6



1



2



3



4



1



2



3



4



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

K otázke maďarských a slovanských hier na mosty

(Poznámky k štúdiu O. ZILYNSKÉHO v Slavii)

Z. UJVÁRY

Detská hra nazývaná v maďarskej odbornej literatúre *hidjáték, hidasjáték*, v nemeckej *Brückenspiel, goldene Brücke*, v slovenskej *hra na kráľovnú, hoja, Ďunda, hoja*, v poľskej *jaworowi ludzie*, bola celkove rozšírená v strednej Európe. Otázkou hier na mosty sa zaoberal v ostatnom čase Orest ZILYNSKYJ (Slavia 1958. 30—70). V svojej štúdiu skúma hry na brány a mosty u slovanských národov. Časť jeho štúdie o hrách na mosty vyžaduje určité doplnenia. Hoci ZILYNSKYJ v názve svojej štúdie naznačil, že sa zaoberá hrami na mosty v slovanskom folklóre, predsa vynechanie maďarského materiálu pokladáme za neodôvodnené. Keby bol zobral pri skúmaní slovanských, najmä slovenských hier na mosty do úvahy aj materiál susedného maďarského národa s využitím výsledkov doterajšieho maďarského bádania, bol by dostal širší a plnší obraz o danej problematike.

Pri hrách na mosty, ktoré patria v základe k jarným hrám mladších, 10—16 ročných dievčat, poznáme v oblasti stredoeurópskych národov viacej variantov. S hrou je úzko spätý piesňový text, ktorý má v obrade hry dôležitú úlohu. Tak hra, ako aj piesňový text sa v areále susediacich národov zhoduje v svojich hlavných rysoch. Slovenský a maďarský piesňový text ukazuje zvlášť nápadnú podobnosť. Táto podobnosť, ba môžeme povedať, že totožnosť je v refréne piesne. Zhody sú tým nápadnejšie a povšimnutiahodné, že hoci sa hra a text vyskytujú u viacerých slovanských národov, predsa ich výskyt je viazaný na slovansko—maďarský jazykový kontakt: vyskytujú sa u Chorvátov, u Slovákov, Ukrajincom a moravských Valachov. U slovanských národov žijúcich mimo Karpatskej kotliny tento variant piesne spojenej s hrou nepoznáme.

1.

Spomínaný refrén v slovenskej piesni znie *Hoja, Ďunda, hoja*, v ukrajinčine *Гоя, дундя, голя*, v moravčine *Hoja, džundža, hoja*, v chorvátčine *Hoja, djundja, hoja*, v maďarčine *Haja gyöngyöm haja* (Plný text piesne porov. KOLLÁR 1953. I. 37—38; MELICHERČÍK 1959. 658; KISS 1891. 208—212; Magyar Népzene Tára 1951. 448—455). Príčinami zhody refrénu, resp. otázkami pôvodu a interferencie sa slovanská odborná literatúra zaoberala iba čiastočne. Aj ZILYNSKYJ, ktorého štúdia je poslednou v danej literatúre, sa otázky pôvodu a interferencie dotýka iba konštatovaním, že k Ukrajincom, najmä k Ukrajincom horného Zemplína sa hra aj s piesňou dostala od Slovákov (ZILYNSKYJ 1958. 55). A. MELICHERČÍK v súhrnnej práci o slovenskom národopise v II. zväzku Slovenskej vlastivedy na viacerých miestach hovorí

o hre *Hoja, Ďunda, hoja*. Poukazuje však hlavne na výklad obsahového značenia hry, kým otázkou pôvodu a interferencie sa nezaobera. (MELICHERČÍK 1943. 273—274, 309—310.) V poslednej chrestomatii Slovenský folklór ne-nachádzame taktiež poznámku o interferencii (MELICHERČÍK 1959. Pozri poznámky k hre Na kráľovnú 760).

Pri skúmaní variantov, značenia, oblastného rozšírenia nemôžeme si nevšimnúť aj otázku pôvodu, najmä v tom prípade nie, ak medzi zvykmi dvoch susedných národov, Slovákov a Maďarov je podobnosť zvlášť nápadná a ak zisťujeme, že táto podobnosť sa vo vzdialenejších oblastiach (napr. v Čechách, na Ukrajine) naraz stráca. Nepozornosť k tomuto problému vyplýva pravdepodobne z toho, že českí a slovenskí bádatelia zaoberajúci sa hrami na mosty už pri zisťovaní geografického rozšírenia hry si nevšimli aj maďarský materiál.

V maďarskej odbornej literatúre sa podrobne zaoberal otázkou variantov, značenia a interferencie maďarských a slovanských, najmä slovenských hier na mosty J. MELICH v štúdiu z r. 1939 (MELICH 1939. 90—111; Pozri aj MELICH 1940. a. 84—86; MELICH 1940. b. 249—250). Posledne sa otázkou zaoberal V. DRÓSZEGI v spojitosti so skúmaním maďarského kultu šamanov (DRÓSZEGI 1958. 406—410; Poučné poznámky k otázke podal BAKOS 1953. 172). Preskúmame predovšetkým podmienky interferencie.

Jednotlivé varianty slovenských a maďarských hier na mosty majú také veľké zhody, že iba na základe formy a textu je takmer nemožné plne určiť smer interferencie. S hrou spojená maďarská pieseň, veršový text — ktorý je základom porovnania — môže byť tak isto prekladom slovenskej piesne, ako aj slovenský prekladom maďarského. Skutočnosť, že text piesne, jej veršová miera, melódia a refrén sú úplne tie isté tak v slovenských, v karpatsko-ukrajinských, chorvátskych ako aj v maďarských variantoch, dovoľuje urobiť uzáver, že majú spoločný pôvod (MELICH 1939. 105). Pretože u Chorvátov, u karpatských Ukrajincov ako aj na Morave je materiál známy riedko, roztratene, iba na jednom-dvoch miestach, najdôležitejšie je preskúmať bližšie slovenský a maďarský materiál.

J. MELICH zdôrazňuje, že uspokojivý výsledok v otázke interferencie nemôže dať vôbec text piesne, ale iba jazyková interpretácia slovenského refrénu *Hoja, Ďunda, hoja* a maďarského *Haja gyöngyöm haja* (MELICH 1939. 108). Poznámky o interferencii uvedeného refrénu nachádzame už v zbierkach zo začiatku minulého storočia: Bohuslav TABLIC v. I. zväzku Poezye z r. 1805 uverejnil slovenský piesňový text so začiatkom *Haja, ěunda, haja!* V poznámke píše: *Negsauli ta slova : haja ěunda haja z uhorského wzata : hēja gyöngyöm hēja?* (TABLIC 1805. XI). Gy. GYURIKOVITS v rukopisnej práci vzniknutej okolo r. 1818 uverejnil slovenský piesňový text s refrénom *Haja ěunda haja* a poznamenal, že *Haja ěunda haja* je pravdepodobne prevzaté z maďarského *Hēja gyöngyöm hēja*. (Musíme poznamenať, že aj u TABLICA aj u GYURIKOVITSA je *haja*, nie *hoja*. MELICH 1940. a. 84—86).

Poznámky TABLICA a GYURIKOVITSA slovenská odborná literatúra nepokladala za potrebné pri hre s refrénom *Hoja, Ďunda, hoja* pripomenúť, napriek tomu, že sa napr. na TABLICA slovenské práce odvolávajú (MELICHERČÍK 1943. 274). Je totiž isté, že podľa preskúmania tohto refrénu nie je nijako potrebné revidovať dávnejšie slovenské mienky týkajúce sa hry a piesne *Hoja, Ďunda, hoja*. Ako sme uviedli, otázku si všimol a dôkladne preskúmal z maďarskej strany J. MELICH. Čo sa týka slov *gyöngyöm* a *Ďunda*, ukázal,

že v slovanských jazykoch teda aj v slovenčine slová so začiatočným *đu-* a *tu-*, — ak nie sú onomatopoeického rázu—sú bez výnimky prevzatiami maďarských slov so začiatočným *dü-, tü-, gyü-, gyö-*. Z toho vyplýva, že z maďarského *gyöngye*, ktoré je v starej maďarčine známe aj v podobe *gyüngye*, v slovenčine prevzatím vznikne zákonité *ďunda* (MELICH 1939. 109). Medzi maďarskými variantmi je známa aj forma *Haja gyöngy a haja* (Kartal, peštianska župa. Pozri LAJOS 1940. 41). Z tejto podoby mohla vzniknúť celkom bežne forma *ďunda*. Do oblasti iných slovanských jazykov sa slovo *ďunda* dostalo prostredníctvom slovenčiny. To ukazuje aj rozšírenie *Hoja, ďunda, hoja* na mimoslovenskom území. Karpatoukrajinské *дюдя* nenachádza sa ani v jedinom poľskom, zakarpatskoukrajinskom, bieloruskom ani veľkoruskom nárečí, ba karpatské *дюдя* sa tiež vyskytuje iba v refréne *Hoja, Ďunda, hoja*. To isté zisťujeme aj pri chorvátskom variante. Refrén chorvátskej ľudovej piesne *hoja djundja hoja* sa vyskytuje iba vo variante známom z obce Köpcsén (mošonská župa). U Chorvátov viacej vzdialených od maďarského a slovenského etnika sa táto pieseň ani refrén nevyskytuje (MELICH 1939. 105). Na moravskom území sa vyskytuje dané slovo vo forme *džundža* (BARTOŠ 1949. 237). V češtine niet fonémy *dž*. Vyskytuje sa iba vo jedinečných slovách cudzieho pôvodu, ako napr. *džbán, džber* (čbán, čber). Je iba v slovenčine a v susedných moravských nárečiach. Na českej oblasti niet vôbec príkladov na výskyt piesne *Hoja, Ďunda, hoja*.

V refréne *haja gyöngyöm haja, Hoja, Ďunda, hoja* maďarské *haja* a slovenské *hoja* predstavuje tiež pravidelnú responziu. Maďarské a v prvej slabike sa objavuje v slovenčine ako *o*. Funkciou *haja, heje, haj, hej* sa podrobne zaoberal K. VISKI. Zdôraznil, že *haja, heje* atď. je takmer nepostrádateľnou zložkou ľudových lyrických piesní, najmä detských piesní, ktoré zachovávajú mnoho starých foriem. Dokazuje, že niekdajším významom *haja, hej* atď. mohlo byť nabádanie, povzbudzovanie, výzva k hre, k pohybu, k činnosti, k spevu, k tancu atď. (VISKI 1943. 49—52). Ak vyjdeme z VISKIHO výkladu, ukáže sa pochopiteľné slovo *haja* v refréne *haja gyöngyöm haja*. Podľa toho by mal refrén tento zmysel: *podme, ďunda, podme! (gyerünk, gyöngyöm, gyerünk!)* Výzvove, citoslovcové *hej, haj* sa prirodzene vyskytuje nielen v maďarčine, ale aj v slovenčine. *Hoja, haja* v uvedenom maďarskom a slovenskom refréne nie súd seba nezávislé.

Musíme poukázať aj na obsah slova *gyöngyöm*, aby sme otázku interferencie bližšie osvetlili. Maďarské slovo *gyöngy* v prívetivej, lichotivej reči znamená *milý, drahý, lúby, pekný* ap. Pri prihovore k osobám sa veľmi často používa, napr. v takýchto výrazoch: *gyöngyöm, galambom* (= miláčik môj, holúbok môj), *édes gyöngyöm* (= drahý miláčik), *gyöngyöm, gyere ide* (= miláčik, poď sem) atď. (MELICH 1939. 109). Slovo *ďunda* zodpovedajúce maďarskému *gyöngy* nemá v slovanských jazykoch svoj význam, z čoho, ako uvidíme, vytvorili pohanskú bohyňu. *Ďunda* vo význame podobnom, resp. zhodnom s významom maďarským sa vyskytuje iba vo východnej slovenčine v Šariši. Tam používajú slovo *ďundík, ďundiček* vo význame *miláčik, milenec* (KOLLÁR 1953. I. 713). V tomto význame je pekne zachované *ďunda* aj v moravskom zázname: *Chyťte si toho zadního ďundů* (ZILYNSKYJ 1958. 52). Tieto údaje taktiež potvrdzujú prevzatie slova *ďunda* z maďarčiny. Ináč aj ZILYNSKYJ poznáva, že najprirodzenejší výklad tohoto refrénu vedie k maďarskému slovu *gyöngy* (ZILYNSKYJ 1958. 57). Škoda len, že v svojej štúdiu otázku nerozvíedol.

Musíme ešte uviesť, že vo význame *gyöngy, gyöngyöm* je známe v maďarčine aj *rózsa, rózsám*. Na podobnosť medzi nimi ukazuje jedna detská hra so spevom v Šomodskej župe, ktorá má refrén:

*Osztopáni malomárok, haja, rózsá, haja ha!
Nem terem az mást mint nádat, haja, rózsá, haja ha!
Nádat terem, leveleset,
Legényeknek szerelmeset, haja rózsá, haja ha!*

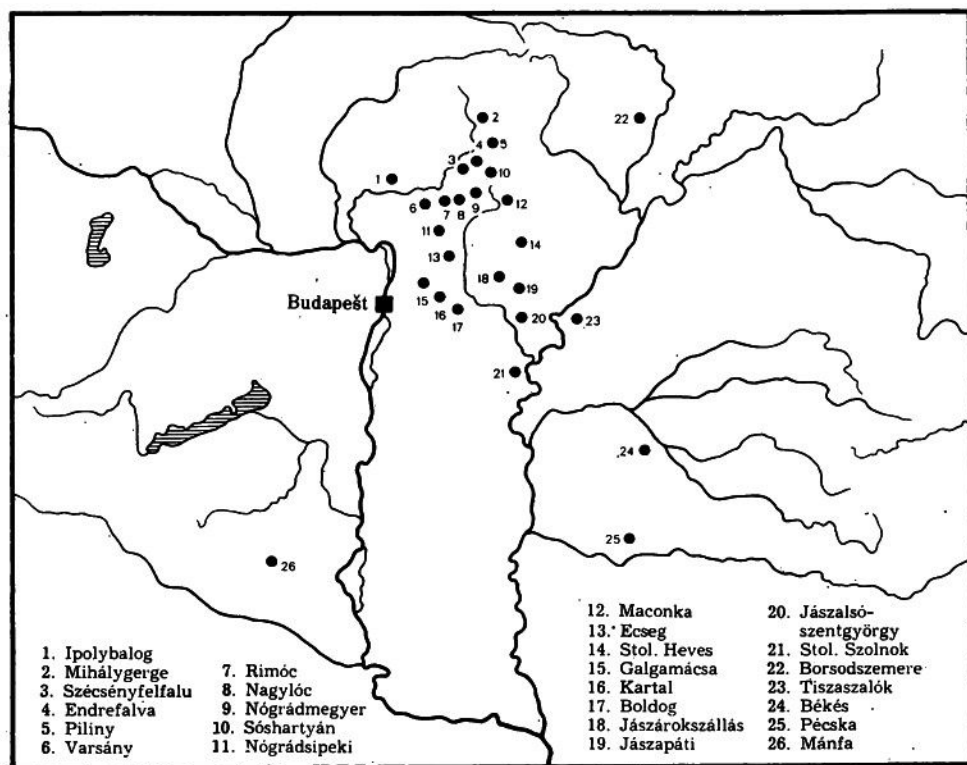
Pieseň je známa vo viacerých variantoch. K nej patriacu hru môžeme pokladať za vzdialený variant *hry na mosty*. Dievčatá sa na dvore alebo na ulici chytia do párov. Pri prechádzke spievajú uvedenú pieseň. Na konci piesne prvý pár zdvihne ruky a popod ne prelezie nasledujúci pár. Potom sa obrátia, zadné idú dopredu a pri závere piesne popod ich zdvihnuté ruky preliezajú ostatné páry. To opakujú toľkokrát, kolkokrát chcú (GÖNCZI 1949. 14). Tieto varianty potvrdzujú, že tak dodatky, resp. refrény *haja gyöngyöm haja*, ako aj *haja rózsá haja* môžeme pokladať v maďarskom folklóre za všeobecne známe a že mali aj majú bezpochyby významnejšiu funkciu ako bezvýznamové slovanské *Hoja, Ďunda, hoja*.

2.

Zistenie geografického rozšírenia hry na mosty s refrénom *haja gyöngyöm haja* prispieva taktiež vo veľkej miere k riešeniu otázky interferencie a pôvodu.

U ZILYNSKÉHO čítame, že u rôznych národov Európy je známych viac ako stopäťdesiat variantov hier na mosty a hier na bránu (ZILYNSKYJ 1958. 30). V tomto počte sú sotva zahrnuté maďarské varianty. Na maďarskej oblasti bola hra na mosty rozšírená takmer všade. Áron KISS v zbierke detských hier z r. 1891 podáva z rozličných miest osemdesiat variantov hry na mosty (KISS 1891. Poznámka 514). Bolo by zbytočné poukazovať na rôzne odvtedy vydané zbierky (Pozri najnovšie Magyar Népzene Tára, zoznam variantov str. 751—754).

Avšak hra na mosty s refrénom *haja gyöngyöm haja* nebola pôvodne známa na celom maďarskom území. Pri jej rozšírení zisťujeme, že je známa v strednom Maďarsku, v peštianskej župe, v solnockej župe a od nej na sever, v hevešskej a v novohradskej župe. Mimo uvedeného územia bola známa hra aj v békešskej, aradskej a baraňskej župe. V posledných troch uvedených župách však nachádzame len po jednom-dvoch záznamoch. Naša pripojená mapka dobre znázorňuje centrum výskytu maďarskej hry na mosty s refrénom *haja gyöngyöm haja*. Na oblastiach viacej vzdialených od tohto centra výskyt hry môžeme zväčša vysvetliť kolonizáciami. Napr. do aradskej župy značne vzdialenej od centra sa hra na mosty dostala sťahovaním Jasov zo solnockej župy (MELICH 1939. 90. K hrám pozri SZEGEDI 1876. 43—44; KÁLMÁNY 1877. 220; KISS 1891. 20). Isté je, že kolonisti si priniesli do nového prostredia aj svoju kultúru. Tak sa dostala zo Slovenska do Nyíregyházy a okolia so slovenskými kolonistami aj hra a pieseň *Hoja, Ďunda, hoja* v 18. storočí (MÁRKUS 1943. 177). Pre rozšírenie *Hoja, Ďunda, hoja* na Slovensku je veľmi poučné aj to, že medzi nyíregyházkymi kolonistami ju zo Slovenska poznali iba tí, ktorí pochádzajú zo Zvolenskej a Gemerskej stolice (MÁRKUS 1943. 177). Z Gemera uvádza hru aj J. CSAPLOVICS (CSAPLOVICS 1821. II. 171).



Výskyt maďarského „Haja gyöngyöm haja”

Pri skúmaní rozšírenia slovenskej hry na mosty vidíme, že *Hoja, Ďunda, hoja* je na Slovensku známa hlavne v susedstve uvedenej maďarskej nárečovej oblasti, kým na východnom a západnom Slovensku je známa len sem-tam, roztratene. Z oblastného rozšírenia môžeme usudzovať aj na moravské záznamy. Na Moravu sa dostala sčasti slovenskou kolonizáciou, sčasti prirodzenou interferenciou na slovensko-moravskej hranici. Interferencia z Trenčianskej stolice, odkiaľ poznáme viacej záznamov *Hoja, Ďunda, hoja* (HOLUBY 1958. 89, 223, 387) smerom na Moravu bola celkom prirodzená.

Podľa zemepisného rozšírenia môžeme teda konštatovať, že centrom a pôvodným miestom hry na mosty s refrénom *haja gyöngyöm haja*, resp. *Hoja, Ďunda, hoja* môžu byť spomínané župy Maďarska, predovšetkým Novohrad a na Slovensku susediaca oblasť. Aj podľa ZILYNSKÉHO (ZILYNSKYJ 1958. 53) centrálnou oblasťou hry na mosty je slovensko-moravská styčná oblasť, avšak s užším centrom v juhostredoslovenskej časti. Lokalizáciu pôvodu na tieto oblasti potvrdzuje aj to, že hra na mosty s refrénom *Hoja, Ďunda, hoja* — ako sme na to už poukázali — nie je známa nikde u Slovanov okrem Karpatskej kotliny (MELICH 1939. 105). Musíme ešte poznamenať, že na Slovensku poznajú *Hoja, Ďunda, hoja* na väčšej oblasti než pôvodne. V slovenských školách sa totiž dlho, ešte r. 1930-tych učilo, že *Hoja, Ďunda, hoja* je predkresťanského, pohanského pôvodu. Tak sa mohla pieseň druhotne rozšíriť na širšie územie (ŠKULTÉTY 1923. KOLOUŠEK 1923).

Pri skúmaní hry na mosty sa vynára aj otázka obsahu, značenia hry. Je to problém predovšetkým pre folklórne skúmanie. Otázka nie je dodnes uspokojivo riešená. Doterajšie názory na zmysel, značenie hry môžu byť rozdelené do niekoľkých skupín.

a) Bádateľia, ktorí hľadali v hre mytologické stopy a symbolické značenie, vychádzajú z toho, že v detských hrách sa skrývajú pozostatky kultúry dávnych dôb, kládli hru na mosty až do pohanských dôb a videli v nej pohanské mýtické rezidua. Napr. MANNHARDT, odvolávajú sa na grécke, židovské a mohamedánske zvyky, konštatoval, že hra na mosty symbolizuje odchod duší do neba alebo do pekla (MANNHARDT 1859. 301—320).

b) V slovanskej odbornej literatúre otázky sa dotkol J. KOLLÁR. Pokladal hru na mosty s refrénom *Hoja, Ďunda, hoja* za pôvodom slovenskú a myslel, že tento ľudový zvyk oslavuje Ladu, bohyňu lásky, manželstva a veselosti (KOLLÁR 1834—1835. I. 397—400. Pozri aj MELICH 1939. 106).

c) K predchádzajúcim sa pripájajú výklady, ktoré hľadajú v hre erotický zmysel. ZILYNSKYJ poukazuje na to, že boli takí bádateľia, ktorí most v hre pokladali za most lásky. Most sa vraj stavia preto, aby mohol cezeň prejsť mládenec k dievčaťu. Obdobne vysvetľovali aj podobnú hru na bránu: ak súhlasia s láskou, otvorí bránu, ak nie, brána zostane zatvorená (ZILYNSKYJ 1958. 31).

d) Na funkciu mostu poukazuje aj výklad ukrajinských autorov, podľa ktorých most symbolizuje manželské spojenie. Motív stavby mostu nachádzame aj v sobášnych zvykoch (ZILYNSKYJ 1958. 30).

e) Na základe toho, že v slovenských a v maďarských hrách na mosty sa vyskytuje text *Poslala nás kráľovná*, resp. *Királyasszony küldött minket*, L. BARTHOLOMAEIDES a Gy. GYURIKOVITS mysleli, že s hrou spojená pieseň sa vzťahuje na kráľovnú Alžbetu, vdovu po kráľovi Albertovi (1437—1439), ktorá vo vojne vedenej proti kráľovi Vladislavovi povolala na pomoc z Čiech Jiskrove vojská (BARTHOLOMAEIDES 1799. 52. GYURIKOVITS 376). Tento výklad prijíma aj Bohuslav TABLIC (TABLIC 1805. XI).

f) Pri výklade značenia a pôvodu nové hľadisko prináša Orest ZILYNSKIJ. Zamieňa mytologické, symbolické výklady. Neprijíma tie výklady, ktoré vytrhávajú z hry iba jednotlivý motív a tak sa snažia vysvetliť celok (ZILYNSKYJ 1958. 31, 37). ZILYNSKYJ tak pri hre na mosty ako aj pri hre na bránu vidí sociálne značenie. Tvrdí, že hra znázorňuje vyberanie mýta. Prechod cez mosty, prechod cez brány miest bol spojený s určitým mýtom. V hre týmto „mýtom“ je po moste prechádzajúce dievča, ktoré oddeľia od ostatných (ZILYNSKYJ 1958. 69, 70).

Medzi rôznymi výkladmi na poli folklóru najviac problémov dával mytologický výklad. Pri výskume slovenských a maďarských hier na mosty má táto otázka rozhodujúci význam. Ján KOLLÁR, pokladajú hru s refrénom *Hoja, Ďunda, hoja* za pôvodom slovenskú, videl v nej vloženú mytologickú stopu slovanských kultúrnych prvkov. KOLLÁROV náhľad sa pokladal dlho za správny. Po výskume MELICHOVOM sa však zmenila otázka pôvodu a aj výklad hry nadobudol iný ráz. MELICHERČÍK v svojej súhrnnej práci o slovenskom folklóre z r. 1943 sa stavia proti mytologickému výkladu (MELICHERČÍK 1943. 274, 309—310). V poslednom vydaní KOLLÁROVÝCH

Spievaneček z r. 1953 redaktor na adresu *Hoja, Ďunda, hoja* zvlášť zdôraznil, že KOLLÁROVA mienka dnes už neobstojí (KOLLÁR 1953. I. 713). Nebude azda nezaujímavé, ak poznamenáme, že V. DIÓSZEGI v knihe o maďarskom kulte šamanov pri zhrňovaní otázky hier na mosty sa do určitej miery kloní k mytologickému výkladu, keď hovorí: „ak vôbec obsahuje mytologické prvky, ak je skutočne rezíduom „pohanstva“, v tom prípade nie je pohan-skou pamiatkou ani slovenskou, tobôž nie slovanskou, ale maďarskou“. (DIÓ-SZEGI 1958. 410.)

Názory BARTHOLOMAEIDESA a GYURIKOVITSA o pôvode, vzniku a vývi-ne hry, resp. piesne, sú taktiež chybné. Na základe jedného slova či výrazu vytvorený záver je labilnou hypotézou. Pri detských hrách môžeme uviesť viacej príkladov na výmenu, zmenu jednotlivých výrazov piesne, resp. jej textu. Môžeme to potvrdiť aj pri piesni sporej s hrou na mosty. V jednom variante piesne na otázku: *Ki népei vagytok?* (Či ľud ste?) je odpoveď *Lengyel László jó királyé*, ale aj *Ferencz József jó királyé* (pozri KISS 1891. 234–242). Tu je jasné, že meno Ferencz József sa dostalo do piesne oveľa neskoršie, na začiatku XX. storočia. Takou sekundárnou cestou sa mohlo volakedy dostať do textu piesne aj meno sv. Alžbety, a to v čase oveľa neskoršom.

Z výkladov hry na mosty sa zdá ZILYNSKÉHO najpriateľnejší. Ak máme v hre skutočne vidieť napodobenie vyberania mýta, v takom prípade, — na základe ZILYNSKÉHO teórie — môžeme predpokladať, že hra mohla vzniknúť všade, kde existovalo vyberanie mýta. To však sotva tak bolo. Hry na mosty u stredoeurópskych národov sa navzájom podobajú v takých mnohých rysoch, že je ťažko predstaviť si ich vznik na rôznych miestach. Prípadne môže ísť aj o to, že interferenciu už vzniknutej hry uľahčili obdobné okolnosti.

Pri týchto otázkach nemožno zanedbávať ani moment obradu hry, resp. to, kedy sa piesne spievajú. To vrhá tiež určité svetlo na funkciu hry. Tak ZILYNSKYJ ako aj iní autori poznamenávajú, že hra na mosty patrí — na to sme už vyššie poukázali — k detským jarným hrám. Na niektorých miestach sa viaže na celkom presný kalendárny deň, na určitý sviatok. V týchto prí-padoch hra, resp. pieseň má celkom inú funkciu ako pri jednoduchých hrách. V Mánfe (baraňská župa) deti sa hrajú v hru na mosty na Veľkú noc. To je spojené s vierou, že tak, ako ďaleko letí hlas piesne, tak ďaleko sa vzdiali krupobitie (BERZE NAGY 1940. I. 116; k hrám porov. Magyar Népzene Tára I. 431; KOMLÓSI 1958. 64). V Ipélskom Balogu (Hont) na Kvetnú nedeľu dievčatá, keď hádžu do vody a ničia zimu symbolizujúcu morenu, chytia sa za ruky a vytvoria bránu, most. Pri speve piesne s refrénom *haja gyöngyöm haja* postupne preliezajú popod zdvihnuté spojené ruky (MANGA 1942. 55). Gy. GYURIKOVITS vo svojom rukopise zo začiatku XIX. storočia píše, že slovenské dievčatá v Trenčianskej doline po štyridsaťdňovom pôste, na Kvetnú nedeľu nosia zvláštnymi stužkami ozdobenú vrbovú vetvu, chodia z domu do domu, spievajú a pritom zbierajú peniaze, vajíčka, koláče a iné dary. Prítom spievajú pieseň s refrénom *Hoja, Ďunda, hoja*. S podobným zvykom nás oboznamuje Jozef HOLUBY. V Bošáckej doline (Trenčiansko) na deň Juraja 24. apríla skladajú veľké ohne na privítanie jari. Mladí chodia z domu do domu a spievajú túto pieseň (HOLUBY 1958. 89):

V Duvidovej čepici
Zaliali sa červíci! Hoja, Ďunda, hoj!
V Duvidkinom čepci
Zaliali sa žrebci! Hoja, Ďunda, hoj!

Pieseň spievaná na deň sv. Juraja s refrénom *Hoja, Ďunda, hoj!* bola známa aj na inej oblasti. O obrade tejto hry uvádza HOLUBY viacej príkladov (HOLUBY 1958. 98, 223, 331, 397).

Ak z hľadiska funkcie hry, resp. piesne zoberieme do úvahy jarné obdobie a spomenuté príležitosti, je isté, že piesni s refrénom *Hoja, Ďunda, hoja* môžeme pripísať hlboké značenie. Pokladáme za možné to, že hra, resp. pieseň patrila do oblasti zvykov symbolizujúcich boj jari so zimou. Už Arnold IPOLYI nadhodil možnosť, že v hrách na mosty sa skrýva myšlienka o odchode zimy a príchode leta (IPOLYI, 1854. 299). Isté je, že tie jarné zvyky, ku ktorým sa viaže *Hoja, Ďunda hoja, haja gyöngyöm haja*, značia odháňanie zlých duchov, víťazstvo nad nimi, začiatok nového ročného obdobia. Jasne to ukazuje nosenie zelenej vetve na Kvetnú nedelu, ohne na sv. Juraja atď. V jednotlivých textoch piesní veľmi konkrétne rysy ukazujú na príchod nového ročného obdobia (MELICHERČIK 1959. 92. Pozri HOLUBY 1958. 397):

*Svätý Jur ide
leto nám nese,
aby tráva rvostla,
tráva zelená.*

S variantmi, úryvkami piesne *haja gyöngyöm haja* sa stretáme aj v piesňach spievaných na sv. Jána (Pozri MARÓT 1939. 283, poznámka). Obrady na deň sv. Jána majú taktiež za cieľ privoľať a uplatniť nové ročné obdobie a s ním spojené sily úrodnosti.

Myslím, že vyššie uvedené momenty nemožno vynechať pri výskume našej otázky. Isté je, že v uvedených prípadoch (Mánfa, Ipelský Balog atď.) funkcia hry *haja gyöngyöm haja* je úplne iná ako v ostatných prípadoch. Nejde o čiru hru. Ide o organickú časť určitého obradu. Pre nás pri výskume daného javu je rozhodujúce to, akú funkciu daný jav splňa. O ZILYNSKYJ sa pokúsil riešiť funkčné problémy hry. Nemôžeme však obchádzať otázky s tým súvisiace. Vyskytnuvšie sa problémy vyžadujú dôkladný funkčný výskum a zavádzajú nás k ďalšiemu bádaniu. Pri riešení jednotlivých otázok určenie geografického rozšírenia — ako to potvrdzujú vyššie uvedené danosti — bolo by tiež prinieslo užitočnú pomoc. Škoda, že príslušnému maďarskému materiálu ani ZILYNSKYJ, ani iní danou otázkou sa zaoberajúci slovanskí bádatelia nevenovali náležitú pozornosť.

Skratky: BAKOS, J. 1953. Mátyusföldi gyermekjátékok. Új Magyar Népköltési Gyűjtemény, VII. Budapest; BARTHOLOMAEIDES, L. 1799. Memorabilia provinciae Csetnek. Pozri MELICH 1940. a. 86; BARTOŠ, F. 1949. Naše děti. Praha; BERZE NAGY, J. 1940. Baranyai magyar néphagyományok, I—II. Pécs; CSAPLOVICS, J. 1821. Topographisch-statistisches Archiv des Königreichs Ungern, II. Wien; DRÓSZEGI, V. 1958. A sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben. Budapest; GÖNCZI, F. 1949. Somogyi gyermekjátékok. Kaposvár; GYURIKOVITS, Gy. Analecta histor.-geograph. Comitatus Trencheniensis. Pozri MELICH 1940. a. 84; HOLUBY, J. L. 1958. Národopisné práce. Bratislava; IPOLYI, A. 1854. Magyar mythologia. Pest; KÁLMÁNY, L. 1877. Koszorúk az Alföld vad virágaiból, I. Arad; KISS, Á. 1891. Magyar gyermekjátékgyűjtemény. Budapest; KOLLÁR, J. 1834—1835. Národné zpiewanky čili písně světské Slováků w Uhrach gak pospolitého lidu tak i vyššich stawů, I—II. w Budjně; KOLLÁR, J. 1953. Národné spievanky, I—II. Bratislava; KOLOUŠEK, B. 1923. Prvovka pre slovenské školy. Bratislava; KOMLÓSI, Sándorné Nagy, P. 1958. Magyar—dél-szláv—német népi gyermekjátékok Baranyában. Pécs; LAJOS, Á. 1940. A magyar nép játéka. Budapest;

MAGYAR NÉPZENE TÁRA, I. Gyermekjátékok. Budapest, 1951; MANGA, J. 1942. Ünnepi szokások a nyitramegyei Menyhén. Budapest; MANNHARDT, W. 1859. Das Brückenspiel. Zeitschrift für deutsche Mythologie und Sittenkunde, IV 301—320; MÁRKUS, M. 1943. A Bokortanyák népe. Budapest; MARÓT, K. 1939. Szent Iván napja. Ethnographia, L. 254—296. (Budapest); MELICH, J. 1939. Adalék a magyarországi hídjátékokhoz. Ethnographia, L. 90—111. (Budapest); MELICH, J. 1940. a. Pótlás az „Adalék a magyarországi hídjátékokhoz” c. értekezéséhez. Ethnographia, LI. 84—86. (Budapest); MELICH, J. 1940. b. Újabb pótlás az „Adalék a magyarországi hídjátékokhoz” c. értekezéséhez. Ethnographia, LI. 249—250. (Budapest); MELICHERČÍK, A. 1943. Slovenský folklór. In: Slovenská vlastiveda, II. Bratislava. MELICHERČÍK, A. 1959. Slovenský folklór. Bratislava; ŠKULTÉTY, J. 1923. Piate, nezmenené vydanie. T. Sv. Martin; SZEGEDI, K. 1876. Hidas játék. Magyar Nyelvőr, V. 43—44. (Budapest); TABLIC, B. 1805. Pozye. Vác; VISKI, K. 1943. Hegedű. In: Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára (Red.: GUNDA, B.). Budapest, 43—54; ŽILYNSKYJ, O. 1958. Hry na vrata a mosty v slovanském folkloru. Slavia, XXVII. 20—70. (Praha);

Содержание

От редакции	3
<i>Й. Домбровский</i> : К вопросу о происхождении глагольных видов в славянских языках	7
<i>Ш. Ондруш</i> : Славянские этимологии IV—V	31
<i>Б. Шулан</i> : Дало ли венгерское —ó славянское ов?	43
<i>Ф. Пап</i> : Трансформационный анализ русских присустановительных конструкций с зависимой частью — существительным	55
<i>З. Хауптова</i> : Дебреценская рукопись церковнославянских литургических миней	85
<i>Э. Иглои</i> : Древнерусский Хронограф Дебреценского университета	95
<i>Л. Каранчи</i> : К проблематике писательской манеры Достоевского	135
<i>Г. Голотина</i> : Архитектоника пьесы Бориса Ромашова «Воздушный пирог»	157
<i>И. Чапларош</i> : «Мазурки Шопена» — рассказ Адольфа Франкенбурга	167
<i>А. Андял</i> : А. Павел, 1886—1946	177
<i>З. Кадар</i> : Токайский клад и его византийско-славянские связи	193
<i>З. Уйвари</i> : К вопросу о венгерской и словацкой «игре в мосты»	211

Table des matières

Préface	5
<i>J. Dombrowszky</i> : Contribution à l'étude de la genèse des aspects verbaux slaves	7
<i>Š. Ondruš</i> : Etymologies slaves, IV—V.	31
<i>B. Sulán</i> : Est-ce que -ó hongrois a donné -ov en slave?	43
<i>F. Papp</i> : «Analyse par transformation» d'un groupe de syntagmes russes	55
<i>Z. Hauptova</i> : Un manuscrit de Debrecen. Textes liturgiques en slave d'église... ..	85
<i>E. Iglói</i> : Un «Хронограф» en ancien russe appartenant à la Bibliothèque Universitaire de Debrecen	95
<i>L. Karancsy</i> : La technique romanesque chez Dostoïevsky	135
<i>G. Golotina</i> : L'architectonique de la pièce de B. Romachev intitulée «Le château de tarte»	157
<i>I. Csapláros</i> : Les mazurka de Chopin et le récit d'A. Frankenburg	167
<i>A. Angyal</i> : Ágoston Pável, 1886—1946	177
<i>Z. Kádár</i> : Le Trésor de Tokay (Éléments byzantins et slaves)	193
<i>Z. Ujváry</i> : Sur les variantes hongroises et slaves d'un jeu d'enfant	211

Tankönyvkiadó Vállalat

A kiadásért felelős: Vágvölgyi Tibor igazgató

Kiadásra előkészítette: Reisinger József

Műszaki vezető: Gortvai Tivadár

Műszaki szerkesztő: Kormánk Béla

A kézirat nyomdába érkezett: 1961. május. Megjelenés: 1961. november

Példányszám: 1200. Terjedelem: 23 (A/5) fv, 111 ábra + 21 melléklet

Készült: monó szedésről, íves magasnyomással, az MSZ 5601-59 és az MSZ 5602-55 szabvány szerint

61/53553 — Akadémiai Nyomda, Budapest — Felelős vezető: Bernát György

NOS
COLLABORATEURS

ANDRÁS ANGYAL
attaché de recherches à la Chaire
de Philologie slave (Hongrie,
Debrecen 10)

GALINA GOLOTINA
professeur adjoint à la Chaire de
Philologie russe (Hongrie, Deb-
recen 10.)

JÓZSEF DOMBROVSZKY
professeur adjoint à la Chaire de
Philologie slave (Hongrie, Deb-
recen 10)

ENDRE IGLÓI
titulaire de la Chaire de Philo-
logie russe (Hongrie, Debrecen 10)

ZOLTÁN KÁDÁR
maître de conférences à la Chaire
de Philologie classique (Hongrie,
Debrecen 10)

LÁSZLÓ KARANCZY
professeur adjoint à la Chaire de
Philologie russe (Hongrie, Debrecen 10)

ŠIMON ONDRUŠ
maître de conférences à l'Uni-
versité Komenský de Bratislava,
ancien maître de conférences à l'
université de Debrecen (Bratis-
lava, Šafarikovo nám. 12)

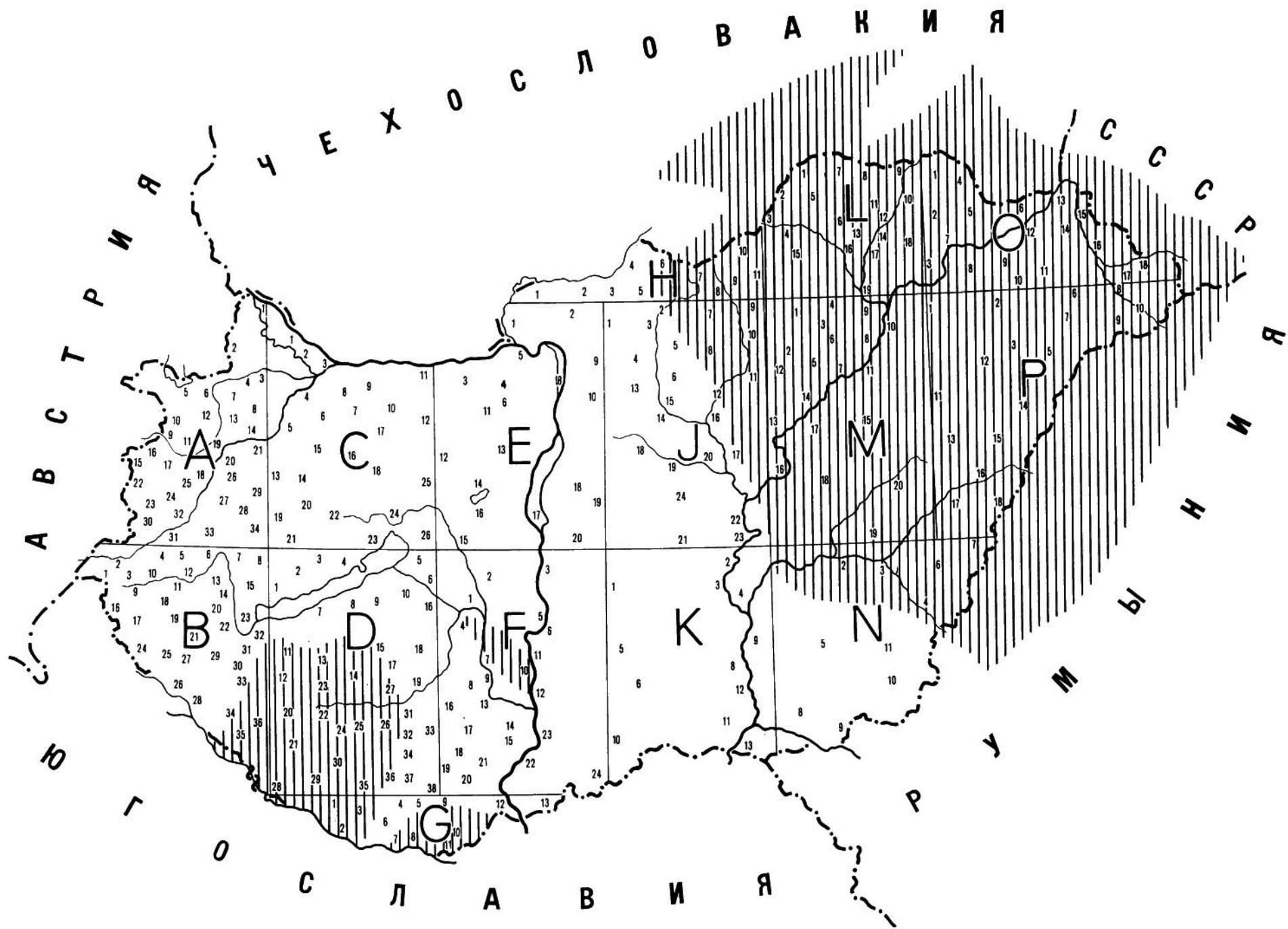
FERENC PAPP
professeur adjoint à la Chaire de
Philologie russe (Hongrie, Debrecen 10)

ZOLTÁN UJVÁRY
professeur adjoint à la Chaire
d'Ethnographie (Hongrie, Debrecen 10)

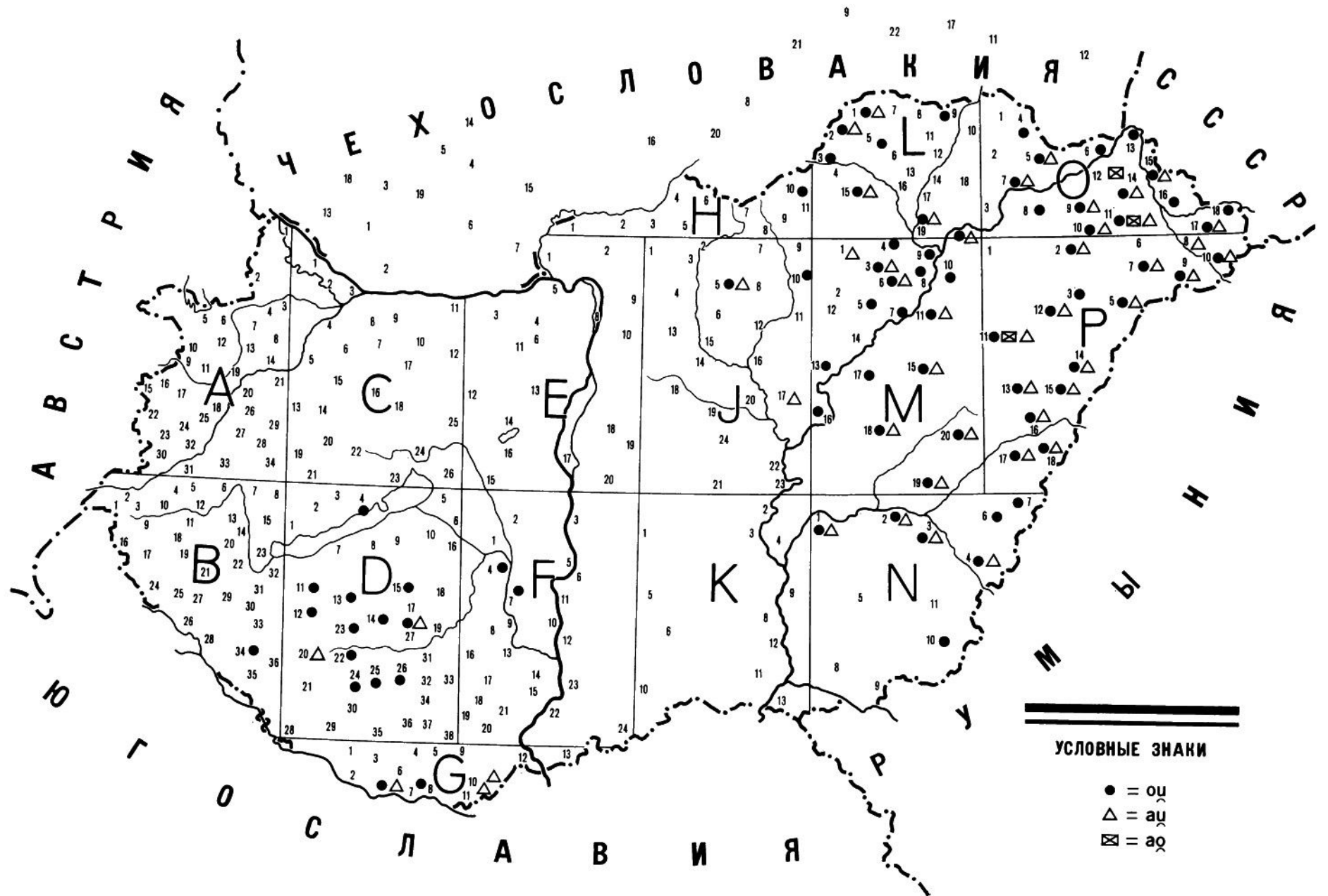
ISTVÁN CSAPLÁROS
ancien directeur de l'Institut
Hongrois et maître de conférences
à l'université de Warsowie
(Pologne, Warsowie 22, Wawelska
26 t. 1.)

ZOÉ HAUPTOVÁ
attachée à l'Institut Slave de
l'Académie Tchécoslovaque des
Sciences (Tchécoslovaquie, Prague,
Velentiská 1.)

BÉLA SULÁN
professeur de l'université,
directeur de l'Institut de Philo-
logie slave (Hongrie, Debrecen 10)



Карта № 1. (см. сноску № 19.)



Карта № 2. (см. сноску № 19.)